

Мятежная совесть

Рудольф Петерсхаген

SHOUT **IT**
SHARE



Annotation

В книге, написанной в форме личных воспоминаний, показан сложный процесс эволюции политических убеждений и взглядов автора, бывшего командира полка немецко-фашистской армии. Автор убедительно и правдиво раскрывает причины, побудившие его пойти по новому пути, стать видным антифашистом, стойким патриотом своей родины, другом Советского Союза и активным борцом против милитаризма. Книга содержит богатый материал о военной и послевоенной Германии, а также о методах работы агентов американской разведки и их западногерманских пособников.

- [Рудольф Петерсхаген](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Крушение и возвращение](#)
 - [Лишение свободы в «свободном мире»](#)
 - [Вторичное возвращение](#)
 - [Примечания](#)

Рудольф Петерсхаген

Мятежная совесть

{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста

Предисловие

В октябре 1956 года мне неожиданно позвонили из Министерства обороны и спросили: нет ли у меня знакомого ректора университета в Германской Демократической Республике?

У многих советских людей, прошедших с боями через Германию, осталось там немало друзей и знакомых. Годы идут, былое тускнеет в памяти, многое из пережитого в дни Великой Отечественной войны забывается. И все же я сразу догадался, о каком ректоре может идти речь, вспомнил старинный немецкий город Грейфсвальд, его памятники, университет и ночную встречу с профессором Энгелем.

В апреле 1945 года 2-й Белорусский фронт форсировал в районе Гартца, южнее Штеттина, реку Одер и продолжал стремительное наступление на гамбургском направлении. На правом фланге фронта наступала Ударная армия генерал-полковника Федюнинского, в состав которой входила и наша Лужская ордена Суворова II степени стрелковая дивизия. 29 апреля дивизия овладела Анклагом и имела задачу взять город Грейфсвальд.

В час ночи на 30 апреля командир одного из полков дивизии полковник Мельников доложил мне, что в распоряжение его части прибыли парламентарии из Грейфсвальда. Я приказал проводить их ко мне в штаб, находившийся в ту ночь в Анкламе, и тотчас доложил о них командиру корпуса генерал-лейтенанту Поленову, который в свою очередь сообщил об этом командующему армией. Переговоры с парламентариями генерал-полковник Федюнинский поручил мне.

Парламентариев доставили в Анклам. Глава делегации доктор Вурмбах предъявил полномочия и представил мне своих спутников – полковника медицинской службы в резерве профессора Катша, куратора Грейфсвальдского университета Кунерта и ректора профессора Энгеля, того самого, который разыскивал меня одиннадцать лет спустя.

– Господин генерал, – произнес доктор Вурмбах, – в нашем старинном городе скопилось много беженцев. В Грейфсвальде находится один из древнейших немецких университетов. Мы просим вас пощадить старинный университетский город, не допустить пролития крови мирного населения. Мы прибыли договориться с вами о сдаче города без боя и о капитуляции гарнизона. Каковы будут ваши условия?

Я ответил, что фашистская армия совершила на моей Родине

неслыханные злодеяния, разрушила и сожгла сотни тысяч сел и городов, расстреляла, повесила, умертвила в душегубках десятки и сотни тысяч ни в чем неповинных людей, чинила насилия и бесчинства над мирными жителями и военнопленными. Но Советская Армия даже в условиях такой жестокой войны верна принципам гуманности. Она всегда стремится избежать пролития крови мирного населения и бессмысленного разрушения сел и городов на территории врага. Судьба города, заявил я, зависит от командования немецкого гарнизона, от самих немцев.

Затем мы предложили следующие условия капитуляции гарнизона и сдачи города.

1. В пять часов утра 30 апреля прекратить боевые действия. С этого момента не должно быть сделано ни одного выстрела.

2. К девяти часам утра 30 апреля снять войска с обороны и сосредоточить их на южной окраине Грейфсвальда, у дороги на Анклам.

3. В десять утра в город придут представители советского командования принимать капитуляцию. За нарушение условий сдачи города отвечают парламентарии и командование гарнизона.

Парламентарии посоветовались, и доктор Вурмбах заявил:

– Господин генерал! Мы принимаем ваши условия и обязуемся выполнить их. Но мы опасаемся, что, узнав о нашей поездке, фашисты попытаются захватить военную и гражданскую власть в городе и помешать нам выполнить условия капитуляции.

Как показали дальнейшие события, эти опасения были не напрасными. Доктор Вурмбах попросил помочь парламентариям вернуться к линии фронта, так как один из автомобилей делегации сломался. По моему приказу начальник штаба дивизии полковник Федоров выделил для парламентариев машину и охрану во главе с моим адъютантом старшим лейтенантом (а не старшим сержантом, как пишет автор) Руденко:

Проводить парламентариев предполагалось до линии фронта, но когда они миновали фронт, Руденко решил последовать с ними дальше, до Грейфсвальда. И не зря. В двенадцати километрах от города у деревни Гансхаген парламентарии едва не столкнулись с мчавшейся из города легковой машиной с вооруженными гитлеровцами. Руденко приказал окружить машину. Фашисты открыли было огонь, но наши автоматчики опередили их. Трое фашистов было убито, а шофер ранен. Судя по рассказу шофера, когда фашисты в Грейфсвальде узнали о намерении коменданта сдать город без боя, они решили выехать навстречу парламентариям и расстрелять их.

Полковник Петерсхаген, военный комендант и начальник гарнизона Грейфсвальда, точно выполнил все наши условия. В

тот же день в городе сдалось в плен около двенадцати тысяч солдат и офицеров фашистской армии. В десять утра 30 апреля в город прибыли командующий армией генерал-полковник Федюнинский и командир корпуса генерал-лейтенант Поленов. В одиннадцать часов в городской ратуше состоялось оформление акта капитуляции. Мне не пришлось присутствовать на этой церемонии – дивизия продолжала наступление на Гриммер, Штральзунд и другие германские города.

И вот одиннадцать лет спустя об этих событиях мне напомнил один из парламентариев – ректор университета имени Эрнста Морица Арндта профессор Энгель, разыскавший меня в канун празднования 500-летия университета. Наряду с деятелями культуры и науки из различных стран на юбилейное торжество в старинном университете был приглашен и представитель Советских Вооруженных Сил. Этот факт свидетельствовал о признании германским народом исторических заслуг Советской Армии, спасшей немецкую национальную культуру от фашизма. Выступая на торжествах, Отто Гротеволь отметил, что мир, а с ним и блага всего трудового народа гарантированы лишь при новом, демократическом общественном строе. Он напомнил также о опасении Советской Армией Грейфсвальда и его старинного университета.

Профессора Энгеля я уже не застал в живых – он не дожил до юбилея, но, как с добрыми друзьями, встретился с новым ректором университета профессором Катшем и бывшим начальником гарнизона и военным комендантом города Рудольфом Петерсхагеном, которому за патриотические подвиги была вручена медаль Эрнста Морица Арндта.

Книга Рудольфа Петерсхагена «Мятежная совесть», изданная в 1957 году в ГДР, вновь напомнила мне эпизоды минувшей войны и позволила заглянуть за кулисы знакомых событий, происходивших по ту сторону фронта, в стане противника. Бывший кадровый полковник германского вермахта, заслуживший в рядах гитлеровской армии «Рыцарский крест», Петерсхаген рассказал на страницах этой книги, что заставило его вопреки приказу Гитлера сдать Грейфсвальд советским войскам без боя.

Рудольф Петерсхаген прошел трудный, извилистый, поистине трагический путь из стана фашистской армии в лагерь создателей демократического строя Германии, в ряды сторонников мира. Сталинград стал поворотным пунктом в сознании Петерсхагена, который командовал под Сталинградом полком и уже тогда понял пагубность гитлеровского похода на Восток. Война проиграна – это почувствовали многие офицеры и солдаты в

Германии после траурного для фашизма дня, дня разгрома и пленения 6-й армии Паулюса. Выходцу из военной среды, Р. Петерсхагену нелегко было порвать с многолетними традициями германского офицерства и в канун полного разгрома гитлеровской Германии сделать шаг, окончательно поставивший его вне милитаристской касты и открывший путь к народу. Этого шага Петерсхагену никак не могут простить его прежние соратники и начальники по фашистской армии, ожившие ныне в рядах бундесвера под крылышком американского империализма. Недаром Петерсхагена так преследовали агенты американской разведки Си Ай Си, заточившие его на долгие годы в американскую тюрьму для военных преступников, где подлинные военные преступники, пользуясь благосклонным вниманием и защитой своих новых покровителей, писали мемуары, а сторонники мира подвергались неслыханным издевательствам.

В послевоенные годы на Западе вышло немало сочинений бывших фашистских генералов и гаулейтеров, битых доблестной Советской Армией. Одна из характерных особенностей этих книг, написанных с явно реваншистскими целями, – стремление свалить всю вину за преступления против человечества на Гитлера и его ближайших подручных и таким образом реабилитировать германский генералитет. Петерсхаген решительно осудил не только Гитлера и его окружение, но и всю фашистскую политику, всю военную касту фашистской Германии. С большой реалистической силой, с едким сарказмом и неопровержимой достоверностью автор книги дает портреты и характеристики многих представителей вермахта – Рейнгардта, Кюхлера, Листа, Мильха, Дитриха, Рейнеке. Какими грязными, тщеславными людишками, бесстыдными карьеристами, бессовестными стяжателями, способными ради личной выгоды продать и перепродать кому угодно интересы немецкого народа, выглядят эти высшие руководители гитлеровского вермахта!

Книга Петерсхагена содержит большой фактический материал, недостаточно широко известный советскому читателю, и является ценным антифашистским и антимилитаристским документом, вскрывающим опасность возрождения фашизма в Западной Германии. Особый интерес представляет вторая часть книги, озаглавленная «Лишение свободы в „свободном мире“, где автор показывает, как американские империалисты в первые же годы после разгрома фашизма кощунственно нарушили союзнические договоры и стали возрождать фашизм.

К книге, разумеется, можно предъявить и определенные претензии. В ней нет анализа истинных причин возникновения войны с Советским Союзом и причин поражения немецко-

фашистской армии. Спорны и некоторые характеристики роли Комитета «Свободная Германия». Но эти отдельные недостатки искупаются большой откровенностью и искренностью повествования, позволяющего судить об эволюции сознания кадрового немецкого офицера на протяжении последних пятнадцати лет – от Сталинграда до полного разгрома фашизма, от плена до возвращения на родину, в Германскую Демократическую Республику, а затем и личного столкновения автора с фальшивой западной «демократией».

Книга Петерсхагена была положительно встречена читателями ГДР и уже выдержала несколько изданий. Немалый интерес представляет она и для советского читателя.

Генерал-лейтенант БОРЩЕВ С. Н.

Крушение и возвращение

В конце июля 1942 года мы вышли из степей между Доном и Волгой, и перед нами, точно мираж, предстала широкая, растянувшаяся на тридцать пять километров индустриальная панорама. Мы были ошеломлены. Сталинград!

6-й армии фельдмаршала Паулюса было приказано во что бы то ни стало овладеть городом. Тем самым предполагалось нанести уничтожающий удар по «колоссу на глиняных ногах».

В последних числах августа передовые части 6-й армии проникли в цеха Тракторного завода. И все же 6-я армия не смогла овладеть городом. Не смогла она и помешать Красной Армии по ночам регулярно переправлять через Волгу свежие войска и боеприпасы. Советская оборона становилась все крепче, а потери немцев росли. В 92-м Грейфсвальдском моторизованном пехотном полку, которым я тогда командовал, количество раненых непрерывно увеличивалось.

В первых числах сентября я тоже был ранен в правую руку, но остался при части.

Несколько дней спустя, когда я лежал в землянке, позвонил командир дивизии и дружески предложил мне: – – Вам необходим покой. Так вот, послушайте. Вскоре сюда должен прибыть радиокomentатор Ганс Фрицше, чтобы подготовить большую передачу «Падение Сталинграда». Предполагается, что от каждого армейского корпуса по берлинскому радио выступит один из награжденных «Рыцарским крестом». Отправляйтесь-ка домой, подлечите рану и заодно используйте свой отпуск – ведь он вам уже давно полагается. А когда понадобится радиокomentатору, то окажетесь под рукой.

Генерал Коллерман решил порадовать меня. Он был старым фронтовиком и хорошо относился к своим подчиненным.

– Когда Сталинград будет взят, вы произнесете в Берлине торжественную речь, а в конце сентября вернетесь к нам для новых подвигов!

Как легко и непринужденно звучало это в его устах! Я был тронут и поблагодарил генерала. А он уловил в моем ответе сдержанную нотку и поинтересовался, что мне не нравится в его проекте. Я не стал скрывать:

– Господин генерал, боюсь, не затянулся бы мой отпуск. Не верится, чтобы Сталинград был взят в ближайшие дни...

– Предоставьте это нам, а сами убирайтесь-ка поскорей отсюда! – шутливо приказал он.

Я ответил ему в тон:

– Слушаюсь, господин генерал!

И через два дня устроил жене сюрприз, появившись в Грейфсвальде.

Прекрасные осенние дни летели неудержимо. Сводки верховного командования ежедневно сообщали о новых успехах. На Эльбрусе – самой высокой вершине Кавказа – водружен флаг со свастикой.

А «падение Сталинграда» все никак не состоится.

О «победном гимне» Фрицше, в котором я должен был выступать солистом, никто больше не вспоминал. Геббельсовские трубы и литавры перестроились на новый лад:

«Героическая борьба до последнего!»

«Сплоченность в беде!»

«Война будет тотальной!»

Как опытный солдат, я понимал, что за всем этим кроются ожесточенные оборонительные бои. Вероятно, наступление провалилось, и немецкое командование вовсе не по доброй воле приняло решение «об отказе от дальнейших завоеваний».

Но в геббельсовском толковании все выглядело иначе. Для наступления нет сил, а Геббельс разъясняет: «Мудрейшее решение всемогущего фюрера! Нам достаточно завоеванного. Надо лишь с толком воспользоваться им». Так от призывов к завоеваниям он переключился на призывы к защите завоеванного. Мало кому эта перемена бросилась в глаза. Большинство усвоило раз и навсегда – для фюрера и рейха жертвовать всем, даже последним. Беду своего фюрера Геббельс превращал в добродетель, а вокруг военных неудач Германии подрисовывал нимб превосходства.

Такая перемена насторожила меня и заставила призадуматься.

В Грейфсвальде многочисленные друзья наперебой приглашали меня в гости, и постепенно я все яснее стал представлять себе настроения в тылу.

Однажды мы с женой были в гостях у генерала авиации Ферстера, который, разумеется, не мог упустить случая поговорить с награжденным участником похода на Восток. Роскошь приема была поразительной даже для довоенного времени. А ведь мы уже третий год вели войну...

Хозяин был одет чересчур тщательно и хотел казаться значительным. Он держался очень уверенно и первый бокал поднял за здоровье «великого полководца и вождя германского народа Адольфа Гитлера».

Я невольно покосился на портрет Вильгельма II со знакомой подписью закорючкой.

– Собственно, я рассчитывал распить с вами бутылочку за взятие Сталинграда, – покровительственно произнес генерал. – Но фюрер, видимо, хочет заманить в ловушку побольше советских войск. Шампанское я все же заморозил. Отличнейшего качества, вывезено из Франции.

Чокаясь со мной, он закатил глаза и прищелкнул языком. Второй бокал генерал поднял за меня. Мне он не давал вымолвить ни слова, а сам болтал без умолку и без стеснения:

– Имею точные сведения с Восточного фронта. Русские плохо вооружены и плохо обмундированы. Они идут в бой только под револьверами комиссаров. Для нас война с ними, должно быть, так же увлекательна, как охота на зайцев в моем силезском имении.

Генерал был в отличнейшем расположении духа, смеялся, хвастал своим «Рыцарским крестом». Этот крест он получил за бомбардировки Южной Англии, хотя в проигранной «битве за Англию» он не слышал ни единого выстрела.

– Слабо вооруженных и плохо одетых русских солдат я видел только в самом начале войны, – не выдержал, наконец, я. – Русский полковник, попавший к нам в плен, сказал мне за бутылкой вина: «Нас захватили врасплох. Кто мог предположить, что Гитлер так коварен и глуп». Я, конечно, понял, что он подразумевает под коварством, – ведь нападение на Советский Союз претило чувствам порядочных военных. 22 июня 1941 года многим из нас было не по себе. Но что этот русский подразумевал под глупостью, тогда мне еще не было ясно. Теперь я, кажется, начинаю понимать...

Наступила мертвая тишина. Генерал заерзал в кресле. Его супруга сделала ему знак. Он поднялся, подошел к телефону и нарочито громко сказал:

– Ничего, фюрер справится!

И старательно накрыл аппарат диванной подушкой. Мое недоумение было встречено всеобщим весельем.

– Вы же знаете, мой дорогой Петерсхаген: «Тебя слушает враг!»{1} Неужели вы забыли о нашем милом гестапо?

Генерала словно подменили. Он сбросил маску дешевого оптимизма и стал серьезно говорить о положении нашей авиации.

– Битву за Англию мы проиграли с тяжелыми для нас потерями в людях и технике. – И он снова взглянул на телефон: – Как хорошо, когда аппарат прикрыт подушкой. Здесь, в тылу, мы приобрели некоторый опыт...

И генерал рассказал о судьбе двух своих подчиненных, молодых офицеров, уцелевших в битве за Англию. Один из них позволил себе остроту, которую генерал сейчас охотно повторил,

о «некоем ефрейторе первой мировой войны, который, к сожалению, не пал смертью храбрых». Второй офицер где-то в ресторане во всеуслышание заявил: «Первую мировую войну Германия проиграла, а вторую мы тоже... выиграем!»

За острословие оба поплатились жизнью.

– В таких случаях не помогает ни чин, ни даже «Рыцарский крест». Об этом можно лишь думать, но уж никак не говорить вслух.

И этот самый генерал в начале вечера торжественно осушил бокал за здоровье фюрера!

Значит, он говорил не всегда то, что думал. Все зависело от подушки. Стоило ей очутиться на аппарате – и генерал сбросил маску. Из-за диванной подушки выглянул человек, ни во что не верящий, но в страхе перед вездесущим гестапо притворяющийся, будто он верит в успех кровавой войны, в которую ввергнута страна. А в это время на фронтах гибли миллионы храбрых, преданных немецких солдат и в самой Германии под градом бомб умирали десятки тысяч беззащитных женщин и детей...

Часы пробили десять. В это время в Германии всегда слушали сводку верховного главнокомандования. Генерал включил радио. Особенно напряженно слушали вести с фронтов: «При отражении террористического налета вражеской авиации на западные районы Германии сбито четырнадцать бомбардировщиков противника. С нашей стороны потерь не было...»

Слушать дальше помешала одна из женщин, вдова летчика. Она возмутилась:

– В день, когда был сбит мой муж, сводка верховного главнокомандования тоже утверждала: «Потерь не было!» Его гибель не сочли за потерю. Кому это нужно?.. Зачем нам Сталинград? За что мы сражаемся?

В отчаянии она не помнила, что говорила. Всем было мучительно неловко.

Я облегченно вздохнул, когда мы вышли на улицу.

– Какой кошмарный вечер! – сказала наша спутница, жена моего бывшего командира полка. – К чему это приведет?

Я молчал.

– Вы думаете, мы проиграли войну?

– Я думаю, что выиграть ее мы уже не можем. Женщины молча взглянули на меня, очевидно потрясенные моими словами.

– Послезавтра я еду в свой полк под Сталинград. Там меня ждут.

Я был недоволен ни своим ответом, ни собою, сознавая, что от сомнений спасаюсь бегством на фронт.

Прошел сентябрь. Наступил день отлета в Сталинград. Я не

хотел напоследок огорчать жену, но от нее не ускользнула моя задумчивость. Она понимала, что я тревожусь за судьбу 92-го Грейфсвальдского полка и всей 6-й армии.

* * *

Командный пункт дивизии я разыскал в глубоком овраге. Из-за жестокого обстрела овраг, казалось, непрерывно трясло, поэтому его прозвали «трясучей балкой». Впрочем, злые языки утверждали, будто прозвище связано с иным – штабные офицеры, укрывшиеся в овраге, якобы вечно дрожали от страха.

Генерал сидел в блиндаже у железной печки, бледный, заметно осунувшийся. Он обрадовался встрече со мной. Мне бросилось в глаза, что от недавней бодрости и энергии генерала не осталось и следа. Он то и дело вытаскивал из уха ватный тампон, нюхал его, передергивался от отвращения и бросал в огонь, произнося: «Фу, черт!» У генерала было воспаление среднего уха, но он и слышать не хотел о госпитале. Убежденный вояка, генерал считал, что должен находиться здесь, пока не падет Сталинград.

В 92-м полку тоже обрадовались моему возвращению. Еще в мирное время, капитаном, я командовал одной из рот этого полка. Меня все знали, и я знал, на кого могу положиться. В части произошло много перемен. Участились неудачи, полк понес большие потери. Солдаты надеялись, что с возвращением командира все изменится к лучшему. Но они ошибались. Истинные причины неудач были значительно серьезнее и заключались прежде всего в растущей мощи Красной Армии. А это изменить я был не в силах.

Настал ноябрь. Погода стояла еще хорошая. Но кто знает – может быть, завтра зеленая степь на много месяцев покроется снегом. Зима в этих краях наступает внезапно, без всякого перехода. Поэтому каждый зарывался в землю как можно глубже. Все понимали, как страшно выбираться отсюда зимой, помня прошлогодний урок «генерала Мороза». Тогда от обмороживания потерь было гораздо больше, чем от обстрела. Как мы завидовали «плохо обмундированным» русским – их валенкам и ватникам!

За время моего отсутствия настроение в полку заметно ухудшилось. Я почувствовал это, когда обходил подразделения полка. Большинство офицеров служили у меня в роте еще солдатами. В мирное время карьера офицера была бы для них закрыта – это считалось привилегией высших классов.

– Как это фюрер, зная все, решился продвинуться до

Сталинграда? Стоило ли нам вообще забираться в эту ужасную страну?»

Прошел слух, что Красная Армия начинает замыкать кольцо вокруг Сталинграда. Слух оказался достоверным – 22 ноября 1942 года мы были окружены.

Все облегченно вздохнули, получив приказ готовиться к прорыву на запад. Нам казалось, что мы справимся с этой операцией. Предложение о прорыве исходило от самого Паулюса. Но Гитлер отклонил его, и все были глубоко разочарованы.

После полного окружения наших войск моему полку поручили создать заслон в северной части котла. Между нами и Волгой находилась только 3-я моторизованная пехотная дивизия. Ее оборона проходила по высокому берегу могучей реки, покрытому виноградниками и бахчами. А на нашем участке – только голая степь да балки, от которых по совершенно плоской равнине тянулись, словно руки, многочисленные мелкие овраги, поросшие кустарником. В одной из таких балок, выходящей на север, расположился штаб полка. Мы вырыли норы в обрыве, на манер береговых ласточек, и чувствовали себя в безопасности, хотя были выдвинуты далеко вперед. Огнем стрелкового оружия нас не взять, а снаряды и мины пролетали над нами и разрывались позади, в большой балке.

Я лежал несколько в стороне, у входа в маленькую балку, и в бинокль наблюдал за степью. Вокруг ни деревца, ни кустика. Голая равнина усеяна разбитыми танками. Черные тела стальных громадин торчали над степью, точно страшные привидения. Некоторые еще дымились.

Неподалеку от меня, скорчившись, сидели солдаты моего штаба. Они болтали, не обращая на меня внимания. Дело мое – я волен слушать или не слушать. Кто-то выразил удивление, что здесь, на «задворках вселенной», в такое время года еще светит солнце. Адьютант полка обер-лейтенант фон Рейбниц, скользнув указательным пальцем по карте, разъяснил:

– К вашему сведению, Сталинград расположен на одной широте с такими городами Великой Германской империи, как Брюнн, Страсбург и Париж...

Ему хотелось прослыть человеком благонадежным, образованным и знающим толк в гуманитарных науках. Солдаты стали с интересом разглядывать карту.

– Н-н-да! Все обернулось иначе, чем мы предполагали... – произнес вдруг радист.

Фон Рейбниц нахмурился. Он недолюбливал этого смышленного паренька, но тот был хорошим радистом. Обер-лейтенант знал, на что намекает радист, – на недавно

сброшенные листовки и прежде всего на советские радиопередачи через линию фронта.

Все молчали, а радист продолжал:

– Во всяком случае ясно: наш Францель жив. Я отчетливо слышал его голос, да и его верхнесилезский говор нельзя не узнать.

– Бог ты мой... Как можно быть таким тупицей! – набросился на него фон Рейбниц. – Еще несколько предательских выступлений, и ему отрежут язык. Ваш «польский друг» умолкнет навеки. Для честного немецкого солдата русского плена не существует!

(Позже этот самый обер-лейтенант фон Рейбниц пренебрег рекомендацией: «во избежание бесчестного плена пойти на героическое самоубийство». Он предпочел стать «бесчестным немецким солдатом». А ныне он офицер армии НАТО.)

На одном из разбитых танков я заметил белый флаг. Все подползли к самому краю оврага. Отчетливо было видно, что какой-то раненый делает отчаянные попытки обратить на себя внимание.

– Этого я еще позавчера заметил! – воскликнул радист. – Тогда он махал рукой, а теперь соорудил флаг.

– Ему уже ничем не поможешь, придется бедняге там помирать, – сочувственно произнес унтер-офицер.

– Если это красный, русский, туда ему и дорога! – изрек верноподданный фон Рейбниц.

Все снова занялись истреблением вшей. Своя рубашка ближе к телу.

– Что это такое? – солдат заинтересовало маленькое насекомое, выползшее под теплые лучи солнца.

– Скорпион или еще какая-нибудь гадость, – заявил обер-лейтенант, рассматривая сквозь большие роговые очки незнакомый ему трофей. – Ничего другого в этой проклятой стране не встретишь.

– Покажите полковнику, он, наверное, знает, что это!

Трофей со всеми предосторожностями был доставлен ко мне.

– Да это же богомол!

Все с любопытством разглядывали кузнечика. Такие не встречаются в наших краях. Богомолы питаются насекомыми.

– Действительно, молится! Как смешно он сложил передние лапки!

– Хорошо, что в этой безбожной стране хоть насекомые молятся, – съязвил обер-лейтенант.

Солдаты взглянули на меня. Они знали, что я не выношу злобных замечаний. Пришлось ответить.

– Разве вы не заметили, что во многих крестьянских избах висят иконы? Значит, люди верят в бога. Не надо бухать в колокола, не заглянув в святцы. А то легко и ошибиться. – Я старался говорить спокойно и примирительно, чтобы не подорвать авторитет адъютанта полка.

Он побурел. А радист не удержался от ехидной улыбки.

Солнце затянуло облаком, и сразу стало прохладно. Все как по команде надели рубахи. Это был последний солнечный день в Сталинграде, а для большинства – последний теплый день в жизни.

Зима пришла внезапно. Белым саваном укрыла она степь и 6-ю армию.

Крайне озабоченный, я отправился к генералу, чтобы доложить о положении на своем участке. Когда я вошел, он сидел все у той же раскаленной печки. Генерал выглядел еще хуже и по-прежнему вынимал ватные тампоны то из одного, то из другого уха. Передергиваясь от гадливости и ругаясь, он бросал их в огонь.

– Хорошо, что вы пришли. Мне надо проинформировать вас о положении на участке дивизии. – После паузы он продолжал как бы про себя, удрученным тоном: – Боюсь, мне придется лечь в госпиталь... до того, как мы возьмем этот чертов город...

Я понял, что генерал хотел подготовить себе заместителя.

Я стал изливать ему душу:

– Господин генерал, о чем там думают?! В степи – ни деревца, ни кустика. Нельзя ни укрыться, ни раздобыть топлива. У солдат нет зимней одежды, а живут они в открытых землянках без печек.

Мы оба невольно взглянули на раскаленную печку – там уютно шумел чайник.

Кто-то резко постучал и тотчас же распахнул дверь. Адъютант дивизии Лейнвебер спросил, может ли генерал принять дивизионного священника; тот еле дышит, потому что добирался сюда под непрерывным огнем перебежками.

Генерал был неверующим и не любил священников. Он помрачнел.

Я хотел было уйти, но генерал настоял, чтобы я остался. А адъютант тем временем втиснул священника в землянку. Мы потеснились. Священник сел на ящик из-под снарядов. Мне показалось, что он очень постарел за последнее время. Без обиняков он заговорил усталым голосом:

– Господин генерал, прошу перевести меня домой. Сил моих больше нет. Только что на перевязочном пункте я закрыл глаза своему старому другу – командиру наших саперов.

Генерал схватил его руку и молча сочувственно пожал.

– Я очень опечален этой новой потерей. Но мы же не можем...

– Господин генерал, дело не только в этом. Скоро мне исполнится шестьдесят лет. Перенос тел павших мне не под силу.

Священник разглядывал свои руки. Мы знали, что не физическая работа сломила его – братские могилы копала приданная ему команда саперов.

– Я уже не знаю, куда девать трупы – и новые и давние. Не успеваешь похоронить одну партию, снова начинается «выравнивание» фронта. Мы отходим, и опять тяжелая, изнурительная работа.

На лице старого священника отразились ужас и отчаяние. Действительно, у него нелегкие обязанности. Проводить в последний путь и оплакать старых добрых друзей, потом выкапывать их, полуистлевших, перевозить и хоронить на новом месте. Потом снова выкапывать... И так изо дня в день. Мы понимали, как это страшно.

Генерал нервно сменил вату в ушах со всеми знакомыми уже манипуляциями. Он оглядел землянку, как бы ища поддержки, взглянул на меня и вернулся к нашему прежнему разговору:

– Между прочим, нас должны скоро сменить. – И затем добавил поспешно, но неуверенно: – Мы еще не окончательно окружены.

– Сменить нас полагалось год назад, – возразил я. – Еще тогда нас должны были отвести на отдых. Но ничего не вышло. Если нас и сменят теперь, все равно перед нашими преемниками и перед всеми войсками под Сталинградом будут стоять те же проблемы. Надо что-то предпринимать, господин генерал!..

Старому служаке наш разговор был явно не по нутру. Больной душой и телом, он цеплялся за мысль, что фюрер, мол, «все знает», что ему мы присягнули и теперь должны беспрекословно подчиняться.

– Разве у нас нет чисто человеческих обязательств по отношению к нашим подчиненным? – пытался я воззвать к его сердцу солдата.

– Вам известно, что командир 120-го полка Зенфт фон Пильзах мною отстранен?! Он был слишком мягок для здешних суровых условий.

Сверху доносился грохот выстрелов и разрывов – суровый аккомпанемент к грозным словам генерала. Дрожала земля, сквозь накат сыпался песок. Мы тревожно поглядывали вверх. В землянке воцарилось неловкое молчание. Я обрадовался, когда священник снова заговорил о своей просьбе.

– Дело не только в бесконечном переносе тел, – сказал он. – Солдаты перестали мне верить. Трудно увязать все эти страшные

события с верой в слово божие. Пока мы двигались вперед, а могилы оставались позади, все шло хорошо. Но теперь, когда больше могил, чем...

– Да вы что, все с ума спятили?! – вскипел генерал. – Да, фюрер поставил перед нами неимоверно тяжелую задачу, но мы с ней справимся, чего бы это нам ни стоило!

Он хотел было снова сменить вату в ушах, но как нельзя более кстати затрещал телефон. Сняв трубку, генерал напряженно слушал. Тщетно я пытался что-либо прочесть в его глазах.

– Петерсхаген как раз у меня, – пробурчал он, положил трубку и обратился ко мне: – Немедленно отправляйтесь в расположение полка. Иван снова атакует танками. Последнее наступление отчаявшихся!

Он пожал мне руку. Священник вышел вслед за мной.

Вскоре мы уже вели тяжелый бой, отражая мощную атаку советских танков. Забыты все разговоры, сомнения, заботы. Я думал только о задаче, стоявшей передо мной как командиром полка.

Казалось, под нами разверзся ад. Танки прорвались к нам в тыл и обстреливали все, что могли заметить. К тому же задул ледяной ветер.

Когда на страшное поле боя опустилась мгла, я лежал в глубокой воронке с раздробленной ногой. Чтобы облегчить мои страдания, полковой врач разрезал сапог и штанину и наскоро обработал рану.

Огонь не давал возможности эвакуировать раненых.

– Я уже доложил генералу, – сказал врач. – Он был потрясен, узнав о вашем тяжелом ранении, и пожелал вам скорейшего выздоровления, а прежде всего – благополучной эвакуации.

Лишь под утро меня доставили на тягаче к месту сбора раненых. Терпя невыносимую боль, я лежал в глубоком рву, выкопанном русскими много столетий назад. Над рвом возвышалась огромная толстая стена. Так русские защищались от вторжения татар. Я тщетно ждал самолета.

Появился старый священник. Опытный фронтовик, он пришел не с пустыми руками, а принес морфий. Мне стало немного легче, и я смог даже выслушать его.

– Верно: мы должны быть послушны богу и фюреру. Но дальше так не может продолжаться. Всю кампанию мы прошли вместе с вами, Петерсхаген. Помните, у Шмидовки... Я тоже был с вами в трудный час... Ваш второй батальон получил приказ принять на себя удар крупных сил русских танков. Это значило дать раздавить себя. Я призывал вас к послушанию и прекрасно помню, что вы мне сказали тогда. Вам пришлось все взять на себя.

Вы решились игнорировать приказ и спасли жизнь сотням людей. Сперва вам грозили трибуналом, а потом наградили «Рыцарским крестом».

Проблема послушания, то есть дисциплины, издавна занимала меня. Мне было ясно, что дисциплина необходима в каждой армии. Но когда-то и где-то наступает предел. Согласно военно-уголовному кодексу солдат не обязан выполнять приказ, который влечет за собой преступление. А что такое преступление? Разве война, затеянная Гитлером, не преступление? Разве можно участвовать в ней, если ты осознал, что она преступна? Но, с другой стороны, мне привили представления, ставшие мне близкими, – об обязанностях, чести, дружбе и храбрости на войне.

Меня терзали сомнения. Совесть моя взбунтовалась. У меня не хватало сил осмыслить эту серьезную проблему и найти удовлетворительный ответ. Уже третий день я ждал самолета. Видимо, его давно сбили. Потеряв сознание, я окунулся во мрак.

* * *

Очнулся я в постели. Возле меня дежурила женщина. Она дала мне попить, сменила компресс на голове и улыбнулась приветливо и ласково. Она была молода и красива, но объяснялась жестами. Ухаживала она за мной старательно. Это была советская медицинская сестра.

Я находился в Сталино, бывшей Юзовке. Новые большие дома этого города немецкие тыловые части облюбовали для своих нужд. Здесь расположились административно-хозяйственные учреждения и госпитали. Все общественные здания города заняли немцы.

Военный госпиталь номер 2607 разместился в здании университета. В маленькой комнате, кроме меня, находилось еще двое офицеров. Я был прикован к постели, а мои товарищи передвигались самостоятельно. Один из них, молодой лейтенант, был ранен в руку, другой, человек постарше меня, не имел никаких видимых ранений. Он был молчалив и замкнут, много читал. Молодой лейтенант был его полной противоположностью – живой, веселый и беззаботный. Он охотно помогал медицинским сестрам, любил пошутить, старался изучить русский язык, чтобы объясняться с ними. Но у него были свои огорчения, о которых он мне вскоре поведал.

Его мучило, что он оказался в тылу, у «пушкарей». Я показал на его руку: вот же доказательство, что и его род войск не

застрахован от несчастных случаев. Его ранило на передовом наблюдательном пункте, выдвинутом в боевые порядки пехоты.

– Вот там была настоящая драка, – оживленно вспоминал он. – А у тыловых крыс – тишь да гладь.

Наш молчаливый бледный сосед, отложив книгу, внимательно прислушивался к разговору. Я спросил лейтенанта: что же его так влечет на передний край? Стремление быть в постоянной опасности, получить ранение, а может быть, даже пасть смертью храбрых?.. Ведь главное – выполнить долг там, куда тебя пошлют.

Такой аргумент несколько смутил лейтенанта. Видимо, над этим он еще не задумывался. Я решил, что на передовую его влечет юношеская жажда приключений. К сожалению, за этим крылось и другое.

– В тылу трудно получить награду, – смущенно признался он.

Он взглянул на свою ленту, продетую сквозь вторую петлю, почти с презрением: у него был «Железный крест» второй степени. Потом он с искренней и наивной завистью посмотрел на мой «Рыцарский крест».

Лейтенант был типичным представителем фашистской молодежной организации «Гитлерюгенд» и свой высший идеал видел в том, чтобы проявить героизм на войне. К тому же война – великолепный случай приобрести награды. Именно такие тщеславные стремления стоили жизни многим сотням тысяч молодых людей.

Я взглянул на нашего молчаливого соседа. О нем я знал очень мало. Ему, пожалуй, за пятьдесят, а он еще капитан. Значит, он из резервистов. Кроме «Железного креста» времен первой мировой войны, у него новый крест «За военные заслуги». Очевидно, он служил в тыловых частях. Мне показалось, что ему хочется вступить в разговор, но тут вошел главный врач, совершавший обход.

Главный врач – маленький толстячок в пенсне, моего звания и примерно моего возраста. Он подошел ко мне с рентгеновским снимком в руках.

– Ничего отрядного. Голень вдребезги раздроблена, а в костях масса осколков. Вас доставили слишком поздно.

На записке, которую повесили мне на шею еще в воронке, стояло: «Обработать не позже чем через сутки». Время было просрочено на пять суток.

– Все осложнилось из-за сильного нагноения. Вам придется долго лежать. Надеюсь все-таки сохранить вам ногу.

Он спросил, не нужна ли мне отдельная палата. Я поблагодарил, но отказался. Тогда он спросил, не нуждаюсь ли я

еще в чем-нибудь. Я попросил как можно скорее переправить меня в Грейфсвальд.

– При вашем состоянии это удастся только позже. Да и то по этапам.

Главврач не преминул указать молодому лейтенанту, что он слишком много бегает, а рука его нуждается в покое.

– Раны на нижних конечностях заживают быстрее, потому что больному волей-неволей приходится лежать.

Обратившись затем к молчаливому пациенту, он сказал:

– Ваш рапорт об отправке на фронт я поддерживаю. Но с некоторыми ограничениями. В действующую армию вам, конечно, нельзя. Вы годны только для нестроевой службы. К тому же вы и не слишком молоды. Правда, теперь к этому подходят не так строго: вы, пожалуй, «ограниченно годны к строевой службе в военное время», то есть годны для службы в тыловых учреждениях или в комендатуре какого-нибудь города. Такой документ я еще могу подписать.

Сперва мне показалось, что капитан доволен заключением главного врача. Но услышав о комендатуре, он вскочил как ужаленный, встал по стойке «смирно» и произнес громче, чем обычно:

– Господин полковник! В тыловые части я пойду охотно. Но в комендатуру – ни за что!

– В вашем возрасте и при вашем состоянии здоровья работа в комендатуре – самая подходящая. А снабжение – дело беспокойное и, я бы сказал, утомительное. А впрочем, как хотите.

– Покорнейше благодарю! – произнес капитан, как бы освободившись от гнета.

Главный врач уже был за дверью.

Принесли еду, как всегда хорошую и обильную. Главный врач старался сделать все возможное для госпиталя. Раздобыть больничные койки, шкафы и тумбочки ему не удалось. Но для нас, фронтовиков, и эта обстановка казалась райской.

Как-то при обходе главный врач раздраженно спросил, довольны ли мы едой. Наша похвала его обрадовала, и он тут же поделился своими неприятностями. Два молодых эсэсовских офицера заявили, что в госпитале плохо кормят. Эти герои тыла получили увечья, наехав в пьяном виде на дерево. Чтобы получить значки за ранение, они потребовали от главврача удостовериться, что пострадали «при участии в боевых действиях». Врач отказался выдать им фальшивый документ – нелепо же приравнивать действие алкоголя к боевым действиям! И теперь эсэсовцы из мести затеяли склоку.

Прошло немного времени, и эти молодчики снова напомнили

о себе. Они подали рапорт на нашего молодого лейтенанта, который тоже хорошо отзывался о питании в госпитале. Лейтенанта обвинили в сожительстве с русской женщиной, а это было равносильно осквернению расы. Мы спросили лейтенанта, в чем дело. Покраснев до корней волос, он признался, что однажды, действительно, хлопнул одну из сестер по мягкому месту – просто так, из озорства. Когда он ездил верхом на своем добром Россинанте, он тоже любил похлопывать его по крупу. Мальчишка был до того смущен, что мы невольно расхохотались. Только главный врач остался серьезен: он лишился своей лучшей помощницы.

– Спасти ее невозможно. Против СД{2} никто не пойдет. Одной жертвой больше или меньше – им безразлично.

Я был потрясен. Какие страшные результаты безобидной шутки! Чтобы оградить лейтенанта от возможных последствий, главный врач с первым же эшеленом отправил его на родину.

Даже молчаливый сосед теперь заговорил.

– Я не могу больше смотреть на это, принимать во всем этом участие. Да и на фронт я стремлюсь только из-за таких негодяев.

Оказывается, раньше он работал в управлении по делам военнопленных. К каждой армии, как он сообщил мне, приставлены так называемые оперативные группы СД, состоящие из эсэсовцев. Приказы они получают непосредственно из ведомства Гиммлера и подчинены командующему армией только в тактическом отношении, но не дисциплинарно. И во время войны и в мирное время их задача состоит в «обезвреживании оппозиционных элементов, разлагающих армию».

– В пересыльном лагере, – рассказывал капитан, – нам было приказано вылавливать в первую очередь комиссаров, евреев и прочих подозрительных лиц и передавать их органам СД. Там строго следили за тем, чтобы они были обезврежены, то есть умерщвлены. «За разложение армии» нашей медицинской сестре грозит та же участь. Может быть, на первых порах они сохраняют ей жизнь для своих грязных целей. В пересыльном лагере нам без конца напоминали, что необходимо как можно больше пленных передавать органам СД или самим убивать. Недавно мы получили приказ – открыть госпиталь для больных сыпным тифом, примерно для двух тысяч русских и евреев. Этот «госпиталь», а вернее ров, окруженный колючей проволокой, надо было устроить далеко за городом, подальше от жилья, в открытом поле. Расстояние между рвом и оградой следовало сделать такое, чтобы охрана не заразилась. Но, с другой стороны, и не очень большое, чтобы можно было без промаха убить любого, кто осмелится вылезти из этого рва смерти. Руководить

строительством предложили мне. Я не видел иного выхода, как сказать больным. А теперь прошусь на фронт. Главному врачу я доверился. Дело будет улажено. Вы же знаете, что командир, который отказывается выполнить такой приказ, исчезает бесследно. Не найдешь поддержки даже у самого генерала Рейнеке – нашего начальника управления по делам военнопленных. Еще до начала Восточной кампании этот Рейнеке издал инструкцию о поведении войск на Востоке. Он приказал «держат русских военнопленных под открытым небом за колючей проволокой». Регулярную выдачу пищи пленным он рассматривал как «неверно понятую гуманность». Кейтель к этому присовокупил, что Восточная кампания – это не благородная война, а война на уничтожение.

Капитан знал все досконально. Он мог назвать номер и дату любого приказа и фамилию начальника, подписавшего его. Такие приказы, говорил он, противоречат Женевской конвенции от 27 июля 1929 года, по которой обращение с военнопленными регламентируется международным правом. Но это ничуть не смущало ни Кейтеля, ни Рейнеке. Они толкали эсэсовцев и работников органов СД на кровавые расправы с беззащитными пленными и мирными жителями оккупированных областей.

Капитан привел много примеров из собственной практики. Меня потрясло, что старый человек, больной, лишенный всякого солдатского честолюбия, не мог вынести мучений совести и был готов променять сравнительно спокойную работу в тылу на опасную и тяжелую службу на фронте. Он бежал от преступлений государственных органов своей родины, чтобы не быть ни соучастником, ни подручным. Другого выхода у него не было. Его рассказы вызвали и у меня тяжелые укоры совести.

* * *

В канун Нового года поступил приказ эвакуировать всех раненых на территорию Германии. Вероятно, предстояли тяжелые бои, а значит, и большие потери. Госпитали прифронтовой полосы надо было освободить. Меня переправили по этапам через Люблин и Берлин в Грейфсвальд. Я все еще был в тяжелом состоянии, и меня положили в авиационный госпиталь, выстроенный в 1938 году.

Здесь мне было хорошо. Я лежал в отдельной палате, выходившей окнами на юг, жена ежедневно навещала меня. По тогдашним временам лучшего нельзя было и желать. Но несмотря на все это, ни свое личное, ни общее положение я бы не назвал

блестящим. Я был в самом прямом смысле этого слова прикован к постели – нога лежала в гипсе, подвешенная на блоке. Но доля простых солдат была куда горше. Если мне, командиру полка, пришлось неделю ждать госпитализации, то сколько солдат под Сталинградом погибало не от ран, а от недостатка элементарной медицинской помощи!.. Из писем я знал, что там назревает катастрофа.

Сводки верховного командования становились все скромней, но в них по-прежнему утверждалось, что «героическая борьба за Сталинград» сохраняет смысл, потому что сдерживает продвижение врага. Западнее же создается новый оборонительный фронт. Однако офицеры и солдаты, прибывавшие из-под Сталинграда, в один голос твердили, что сдержать продвижение бесконечных колонн Красной Армии невозможно. Все силы скованы обороной котла, который непрерывно сжимается. Мучения голодных, замерзающих в степи солдат, днем и ночью находящихся под обстрелом, становятся все нестерпимее.

Лежа в госпитале, я болезненно переживал эти события. 2 февраля 1943 года, когда было сломлено последнее сопротивление 6-й армии под Сталинградом, я тоже сдал и тяжело заболел.

Последствия проигрыша Сталинградской битвы были не только военного, но и психологического характера. Я чувствовал, что армией и населением овладевает глубокий пессимизм. Растут сомнения в фюрере и руководстве. Через жену и других посетителей я поддерживал связь с внешним миром. Многие шли ко мне со своими горестями, заботами и сомнениями. Все чаще возникал вопрос – кто же победит в этой войне?

Чтобы погасить все сомнения и выжать из немецкого народа последние силы, была придумана и пущена в оборот легенда о чудо-оружии, которое якобы изменит ход войны. Все, кому не хотелось думать о близости бесславного конца, ухватились за эту легенду. Осознанное чувство ответственности подменялось верой в чудо-оружие. Многие убаюкивали себя ложью, будто история потеряет всякий смысл, если Германия проиграет войну. Меня тоже терзали эти сомнения.

Однажды меня навестил сослуживец по Грейфсвальдскому полку. Он был унтер-офицером сверхсрочником и теперь дослужился до старшего инспектора{3}. Заболев, он остался служить в своем родном Грейфсвальде, в зенитном училище. Бомбардировщики с красной звездой на крыльях ему были знакомы еще по Сталинграду. Как же удивило его появление такого самолета в мирном небе Грейфсвальда! Но

бомбардировщик сбрасывал не бомбы, как в Сталинграде, а листовки. Все силы были мобилизованы на сбор в уничтожение этих страшных вестников. Хранение листовок было объявлено преступлением, а распространение их каралось смертью.

Оскар Леман – так звали моего сослуживца – рассказывая, напряженно следил за выражением моего лица. Я вопросительно взглянул на него. Он торжествующе ухмыльнулся, расстегнул куртку и вытащил листовку, которую хранил на груди под рубашкой. Это был смелый поступок. Я понял, что он безгранично доверяет мне. Леман сиял: листовка была первой весточкой о судьбе уцелевших солдат нашей 60-й моторизованной пехотной дивизии и входившего в нее 92-го полка. Коротко и ясно в ней сообщалось, где и когда попали в плен сильно поредевшие остатки дивизии и что было предпринято, чтобы вырвать их из ледяного ада. Листовка утверждала, что в плену нашим однополчанам живется хорошо. Затем следовали факсимиле – подписи, которые я, к сожалению, не мог разобрать: листовка была сильно измята, а шрифт слишком мелок. Оскар улыбнулся и вытащил огромную лупу. Теперь я без труда прочитал знакомые подписи. Радость моя была безгранична! Я понял, что просто обязан известить родственников, которые ничего не знают о судьбе своих близких и считают их погибшими.

Это делалось устно через мою жену и Лемана. Тем, кто жил вне города, я написал письма. Родственники стали приходить ко мне в госпиталь.

Вопросы и сомнения были всегда одни и те же. «Можно ли верить русским? Не подделаны ли подписи?» Опасались, что подписи взяты из воинских книжек или других документов убитых. Ведь по широко распространенным в стране представлениям считалось невероятным, чтобы русские сохранили жизнь немецким солдатам, попавшим к ним в плен. И уж совершенно немыслимо поверить, что немецким военнопленным у «злых русских» живется хорошо.

На фронте бывали случаи, когда мы отбивали своих солдат, попавших в плен, особенно раненых. Мы убеждались, что советские солдаты и волосы не тронули на их головах. Основываясь на собственном опыте, я мог рассеять многие сомнения моих посетителей. Чаще всего они уезжали успокоенные. Но у многих снова возникали сомнения, потому что из России они писем не получали, а из английского и американского плена письма доходили. Они не могли знать, что руководители «Третьего рейха» наложили запрет на почту от военнопленных из Советского Союза. На запросы родственников власти отвечали отписками, ничего не говорившими ни уму, ни

сердцу. Этой жестокой мерой поддерживалась басня об ужасах советского плена. В Советском Союзе об этом, конечно, знали. Поэтому письма тех, кто попал в плен под Сталинградом, стали сбрасывать над Венгрией. Таким путем еще во время войны пришла в Грейфсвальд весточка от капитана Кравилицкого. Это подтверждало правдивость листовки.

Сообщать родственникам об их близких я считал естественной товарищеской услугой, хотя и понимал, что официальные инстанции вряд ли это одобряют. Однажды в мою палату зашел главный врач, обладатель золотого партийного значка{4}. Говорили, что его страсть – палить из ружья по воронам. Видимо, он был так поглощен этим занятием, что для больных у него не оставалось времени. Во всяком случае ко мне он не являлся в течение целого года. Может быть, он решил наверстать упущенное?

Вовсе нет! Он считал себя ответственным за настроения больных госпиталя – так он заявил – и потому обязан конфисковать вредную листовку. Я объяснил ему, что влияние листовки весьма положительное, ибо, не будь ее, я бы никогда не познакомился с главным врачом. Кроме того, как друг животных, я чрезвычайно рад: его приход спасет жизнь многим воронам. Несколько смутившись и уже не так уверенно, он потребовал от меня лишь, честного слова, что листовка уничтожена, – вероятно, для того, чтобы поддержать свою репутацию преданного слуги фюрера. Такую позицию все чаще стали занимать люди самых высоких кругов.

Оказалось, что при обыске у семьи фон Гейден в Плеце близ Юкермюнде было найдено мое письмо, в котором я, ссылаясь на листовку, сообщал об их без вести пропавшем сыне. Жена молодого фон Гейдена, страшно перепуганная, тотчас примчалась к моей жене. Но, кроме визита главного врача, ничего больше не последовало, хотя об этом происшествии в городе было много разговоров.

* * *

Наконец я выписался из госпиталя. На фронт меня пока не могли отправить. Я жил дома и ходил в госпиталь на перевязки. От кресла на колесах я отказался, но костыли еще не бросил. Осенью 1944 года мне вручили назначение в верховный военный трибунал, который к тому времени уже перебазировался из Берлина в Торгау. Такая «честь» была для меня тяжелым ударом. Я уже достаточно наслышался об этом заведении. Мне предстояло

ставить свою подпись под смертными приговорами товарищам, которые вслух говорили то, о чем со времен Сталинграда неотступно думал я сам. Этого не допускала моя совесть.

Что же это – ловушка или промах управления кадров сухопутных сил? Многие завидовали мне, но я понимал, что в военном трибунале служить не могу. Кто же выручит меня из затруднительного положения? Я поговорил со знакомым врачом, который все понимал. Он удостоверил, что мне необходимо остаться в Грейфсвальде для дальнейшего лечения. Из Берлина, из управления кадров, ответ пришел быстро. Было приказано принять дела начальника гарнизона Грейфсвальда. На ближайшее будущее мой жребий предопределен. По сей день я благодарен профессору доктору фон Зеему, тогдашнему директору хирургической клиники университета, который помог мне выпутаться из сложного положения.

Начальником гарнизона в то время был призванный из запаса полковник авиации барон фон Пехманн, небольшого роста, щуплый, тонкой кости, с мягкими приятными чертами лица. Дома он любил петь, особенно при гостях. Он исполнял кое-что из Гуго Вольфа или венские народные песенки, аккомпанируя себе на рояле. Его лицо освещалось восторгом, когда он, далеко откинувшись, театральным жестом ударял по клавишам. Его любили, хотя и считали осколком давно минувших «дворцовых времен».

Пехманна решили сместить: у него не было боевого опыта, а Грейфсвальд рано или поздно должен был стать прифронтовым городом. Кроме того, барон разругался с крейслейтером{5} доктором Шмидтом. И, наконец, свои обязанности по отношению к населению он понимал весьма своеобразно.

Начальнику гарнизона подчинялся пост оповещения о воздушной опасности, куда поступали сведения о приближении самолетов противника. Получив такие сведения, пост подавал соответствующие сигналы населению Грейфсвальда.

Пехманн же создал еще один орган оповещения, который предупреждал по телефону в первую очередь все семьи авиационных офицеров. Поэтому во время воздушных налетов все служебные телефоны оказывались занятыми.

1 января 1945 года я принял дела начальника гарнизона Грейфсвальда. Комендатура находилась тогда на улице Ам-Грабен, ныне улица Гете. Тут все шло спокойно и размеренно. Взаимоотношения были чрезвычайно корректными в соответствии с манерами прежнего коменданта{6}. Лишь отпускники с фронта, раненые да пост оповещения напоминали о войне. В мой штаб до последних дней входили полковник запаса

доктор Вурмбах, майор запаса Шенфельд, как и я находившийся еще на излечении, и майор в отставке фон Винтерфельд.

Работать мне было легко, потому что в Грейфсвальде многие знали меня. Я жил здесь с 1938 года. Все это время я служил в 92-м Грейфсвальдском полку, сперва как командир роты, а в последнее время как командир полка. В полку проходили военную службу сыновья жителей Грейфсвальда и его окрестностей. Отсюда – тесная связь с населением, которое хорошо относилось к моему штабу.

Время бежало быстро, и так же быстро откатывались наши войска. Ко мне, как и ко всем комендантам, то и дело поступали «директивы фюрера». Каждый город и каждую деревню фюрер приказывал рассматривать как крепость, которую надо защищать до последнего человека и последнего камня. Были и приказы, адресованные мне лично и касающиеся непосредственно обороны Грейфсвальда, ибо из начальника гарнизона я тем временем превратился в «коменданта крепости Грейфсвальд».

Город был забит беженцами из отданных противнику областей и из разрушенных бомбардировками городов Германии. Сюда же надо добавить тысячи раненых, размещенных в университетских клиниках, школах и прочих общественных зданиях. В начале 1945 года в городе было вдвое больше народу, чем в довоенное время.

Горько было сознавать, что Грейфсвальд с его средневековыми домами, с пятисотлетним университетом и древними церквями превратится в поле боя. Я вспомнил Варшаву, Львов, Днепрпетровск, Ростов, Сталинград... Неужели Грейфсвальд, чудесный силуэт которого прославился на весь мир благодаря его великому сыну художнику Каспару Давиду Фридриху{7}, постигнет такая же страшная участь?

Этого не должно быть! Все во мне бунтовало. Но я тут же останавливал себя: не мы ли превратили полЕвропы в развалины, не мы ли без долгих раздумий пролили реки крови, заставили страдать целые народы? Привыкшие к послушанию и победам, мы рвались к Москве и Сталинграду. А теперь война, точно бумеранг, обрушилась на нас самих. Эти размышления вконец измучили меня. Разве те, на кого мы напали, не любили свою родину так же, как мы свою? Мне было стыдно, что раскаяние проснулось во мне так поздно.

Я решил пойти наперекор Гитлеру и войне, хотя мог сделать это лишь в своей ограниченной сфере деятельности. Зато для жителей нашего города это могло иметь жизненно важное значение. Как осуществить свое решение? Ясного ответа у меня еще не было.

Всеми своими мыслями и сомнениями я привык делиться с женой. Но когда я сказал ей, что собираюсь сдать Грейфсвальд без боя, она испугалась. Отвернувшись от меня, она задумчиво и серьезно посмотрела на портреты двух своих предков: генерал-фельдмаршала фон Линдеквиста и генерал-полковника фон Кесселя. Я тоже взглянул на этих увешанных орденами представителей прусского военного духа, и мы оба подумали, что спасение Грейфсвальда означает разрыв с традициями, которые были проклятием Германии. Для жены этот шаг был особенно тяжел, но она поняла, что он неизбежен. А это было для меня очень важно.

Одному мне было бы не под силу осуществить этот план – необходимы помощники. Кому довериться, кого, быть может, перетянуть на свою сторону?

В конце января 1945 года в моем штабе случилось на первый взгляд незначительное происшествие. Но в жизни бывает, что какая-нибудь мелочь влечет за собой крупные последствия. Дело касалось майора в отставке фон Винтерфельда, о котором я уже упоминал. В городе все его знали и любили за врожденную любезность. Незадолго до начала войны ему было поручено организовать местную противовоздушную оборону. И сейчас, работая в моем штабе, он отвечал за этот же участок работы. Несмотря на преклонный возраст, он служил старательно и с умом. На случай воздушного нападения в Грейфсвальде необходимо было наладить и противопожарную службу. Фон Винтерфельд решил проверить готовность к противовоздушной обороне военно-морской обсерватории, которая размещалась в нынешней средней школе, напротив здания комендатуры. Начальником обсерватории был капитан 1 ранга, то есть офицер в моем чине. Капитан 1 ранга и майор фон Винтерфельд пришли к убеждению, что обсерватории недостает огнетушителей. Они единодушно возмущались этим, и фон Винтерфельд дал себе волю: он доверительно сказал собеседнику, что мы не знали бы забот, «если бы 20 июля не сорвалось»{8}. Фон Винтерфельд поехал домой, а капитан 1 ранга тотчас явился ко мне и ошарашил официальным письменным рапортом о «высказывании майора в отставке фон Винтерфельда, направленном на разложение армии». Рапорт он подал мне как коменданту. Мне следовало передать его по инстанции в военный трибунал. Я попробовал уговорить капитана 1 ранга, заметив, что речь идет о пожилом, шестидесятилетнем человеке и пр. Но капитан 1 ранга, человек с жестким лицом, фанатично преданный режиму, настаивал на передаче рапорта в военный трибунал. Между прочим, он пожаловался мне, что зол на майора, человека

пожилого и сугубо штатского, не только за это: майор осмеливался обращаться к господину капитану 1 ранга на «вы», а не в третьем лице{9}. Тщеславный моряк считал себя оскорбленным. Возможно, это и послужило основным поводом для рапорта, который ставил жизнь Винтерфельда под угрозу.

Надо было искать выход. В тесном кругу сослуживцев я упрекнул Винтерфельда в неосторожности, не касаясь при этом существа крамольного высказывания. Доктор Вурмбах и майор Шенфельд, присутствовавшие при разговоре, великолепно поняли мою политическую позицию. Я решил задержать рапорт. Технически это было не так просто: капитан 1 ранга настойчиво справлялся о движении и последствиях своего доноса, а он мирно покоился в моем сейфе. Мы позаботились, чтобы воинственный охотник за скальпами удостоверился по журналу исходящих в мнимой отправке рапорта. Господину капитану 1 ранга приходилось считаться с тем, что положение в стране тяжелое и потому могут быть задержки. На этом он успокоился. Так время оказалось нашим помощником, и Винтерфельд был спасен.

Но важнее, чем само происшествие, были его последствия: в политическом отношении лед был сломан. Два офицера моего штаба действовали со мной заодно, в антифашистском духе. Сознательно нарушая приказы Гитлера и подвергая себя угрозе преследования, они не дали хода рапорту о человеке, обвиненном в государственной измене, и спасли его от смерти. Для меня это был перст судьбы.

Чтобы не провалить дело, необходима была величайшая осторожность. Во время совместной работы я продолжал тщательно приглядываться к доктору Вурмбаху. Часто я делал это мимоходом, например, наблюдая, как он реагирует на рискованную шутку. Однажды какой-то офицер для поручений, представляясь мне, браво выкрикнул: «Хайль Гитлер!» Пользуясь двойным значением слова «хайль», я тихо оказал Вурмбаху:

– У нас в Гамбурге на это отвечают: «Хайль ду ин зельбст», – вылечи его сам!

Он расхохотался.

Я убедился, что мой старший по возрасту товарищ доктор Вурмбах понимает меня, и решил посвятить его в план сдачи Грейфсвальда.

Чтобы не делать этого в служебной обстановке, я пригласил доктора к себе домой, на чай. Присутствие жены придавало встрече характер легкой беседы, хотя разговор касался плана, который, стань он известен, по законам «Третьего рейха» стоил бы нам всем головы.

Разве я мог быть уверен, что доктор Вурмбах одобрит мой

замысел или будет хотя бы хранить молчание? Я понимал, что ввергаю его в тяжелый душевный конфликт. Хватит ли у него сил отказаться от традиционных представлений и старых привязанностей?

Мои опасения были напрасны. Я с радостью узнал, что Вурмбах готов поддержать мой план.

– При сдаче Грейфсвальда я ваш до конца – на жизнь и на смерть.

Так был заключен наш союз.

Хорошо, что союзником будет мой сослуживец. Я немедленно попросил официально назначить доктора Вурмбаха моим заместителем, обосновав это тем, что сам не могу свободно передвигаться. В начале апреля мое желание было удовлетворено и приказ о назначении подписан.

Тем временем я тщательно прощупывал командиров частей, размещенных в Грейфсвальде: помогут ли мне они? Результаты оказались неутешительными.

Начальником зенитного училища был полковник Бриль – представительный мужчина, влюбленный в собственную внешность. Получив «Рыцарский крест» за африканский поход, он преисполнился чрезмерного уважения к своей особе. Из-за небольшой глухоты он был переведен на родину и теперь успешно устраивал свое благополучие. На полигоне Альт-Варн он создал собственную птицеферму. Положение на фронтах полковник оценивал в свете геббельсовской пропаганды. Этого ему было достаточно: «Русские повторяют сейчас все наши ошибки. У них слишком растянутые коммуникации, и это дает нам великолепную возможность нанести Ивану окончательный удар». Такие глупости полковник болтал в 1945 году, когда Красная Армия находилась уже в Померании! «Преданность фюреру» не мешала Брилю отправлять на фронт с пополнением самые плохие машины – хорошие нужны были ему в тылу, напоказ. На это не раз жаловался старший инспектор Оскар Леман. Бриль – законченный эгоист, и рассчитывать на него было просто смешно. Мы им не интересовались.

Начальником аэродрома в Ладебове был полковник Швердтфегер, старик почти глухой и упрямый как бык. В апреле он вздумал внести свою лепту в «окончательную победу», предложив построить на пехотном учебном поле в Хельмсхагене взлетно-посадочную полосу для боевых самолетов. Я напомнил ему, что в Ладебове уже есть готовый аэродром, но этот доморощенный тыловой стратег, сам житель Ладебова, возразил: базирование здесь боевых самолетов может, чего доброго, навлечь на город вражескую авиацию. Я поинтересовался у него, сколько

времени потребуется для строительства. Больше всего мне хотелось спросить: уж не собирается ли он строить аэродром для русских?! Собственно, мне было ясно – все это затеяно, чтобы произвести впечатление на начальство. Швердтфегер раздобыл даже специалистов, обещавших закончить строительство к осени 1945 года. А Красная Армия уже подошла к Одеру!

Видимо, я зашел слишком далеко, спросив полковника, к чему вся эта затея. Глухой вдруг все расслышал – я задел его «непоколебимую веру» в фюрера и «чудо-оружие». Чтобы выпутаться из неловкого положения, мне пришлось безоговорочно согласиться на нелепое строительство.

В середине апреля эти рьяные слуги Гитлера начали строить боевой аэродром в Хельмсхагене, который должен был оградить их от бомбежек, но зато Грейфсвальд ставил в более опасное положение. Мои отношения с авиационным начальством в Ладебове заметно ухудшились. Значит, полковник Швердтфегер тоже отпадает.

Но через несколько дней я все же извлек пользу из затеи с аэродромом. Крейслейтер доктор Шмидт явился ко мне с приказом сверху – 20 апреля организовать празднование дня рождения Гитлера на центральной площади Грейфсвальда. Как фронтовику и кавалеру «Рыцарского креста» он предложил мне выступить перед населением, прославить фюрера – этот идеальный образец, достойный всеобщего подражания, и призвать всех держаться до конца. Я сказал, что при постоянной опасности воздушных налетов безответственно было бы собирать большую толпу. Недоверчиво взглянув на меня, он возразил, что до сих пор налетов на Грейфсвальд, к счастью, не было. Я ответил подчеркнуто твердо:

– К сожалению, это скоро изменится, поскольку в Хельмсхагене началось строительство боевого аэродрома. Да и вообще удивительно, что противник до сих пор не обнаружил нашего строительства...

Это имело успех: празднество отменили.

В грейфсвальдском гарнизоне был еще один полковник – комендант лагеря военнопленных, австриец, человек весьма нервный в не скрывавший, что он не простил аншлюса. Его я без обиняков спросил, что он намерен делать, если фронт подойдет еще ближе. Приказ о переброске лагеря он уже получил, но считал, что вряд ли удастся выполнить его.

– В любом случае я постараюсь вовремя отчалить, – заявил комендант.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что он намерен бросить пленных на попечение охранного батальона.

Тогда меня заинтересовал и командир охранного батальона, входившего в систему нашей обороны. К нему пошел доктор Вурмбах. После этого визита Вурмбах охарактеризовал майора Ланге, помещика с острова Рюген, как совершенно безнадежного гитлеровца, который только и помышляет с оружием в руках «бороться и умереть за фюрера и отечество». Произнося это, майор вставлял монокль, чтобы придать своим словам больший вес.

Несмотря на катастрофическое положение Германии, геббельсовская пропаганда продолжала твердить о близости и реальности «окончательной победы». Вытащили из-под спуда «блистательный пример Фридриха Великого», который в совершенно безнадежной ситуации, вопреки всяким злопыхателям и маловерам, выстоял, добился победы и возвеличил Пруссию. Все дело в том, чтобы непоколебимо верить и держаться до конца. Из дня в день в печати и по радио превозносили «героическую борьбу за Бреслау» и подвиги тамошнего коменданта генерала Нихоффа, награжденного и повышенного в звании. Он действительно боролся до последней капли крови... своих солдат – собственную кровь он постарался не пролить.

Разрекламировано было и «героическое» решение рейхскомиссара и гаулейтера Шведе-Кобурга защищать Штеттин до последнего человека и не покидать город до конца. Как же я был поражен, когда в моем штабе собственной персоной появился этот защитник Штеттина! Шведе-Кобург переменил свое «героическое» решение и в сопровождении колонны машин пустился наутек. Пассажиров в машинах было немного, зато добра хоть отбавляй. Навестить меня, несмотря на спешку, его заставило чисто национал-социалистское чувство долга. Раньше я не имел чести лицезреть этого великана. И вот он предстал передо мной с серым, измученным, обрюзгшим лицом. Когда-то он был мичманом кайзеровского флота и с тех пор холил свою «морскую» бородку. Он показался мне удрученным. Огромный бинокль на груди придавал ему вид воинственный и вместе с тем призрачный. Мне почему-то вспомнился Летучий голландец – впрочем, сейчас он был больше похож на бегущего. Гаулейтера сопровождал наш крейслайтер доктор Шмидт, фашистский холуй, ловкий и скользкий как уж. Шведе-Кобург заговорил низким сильным голосом:

– Я рад, что в этот трагический час во главе гарнизона Грейфсвальда стоит такой боевой командир, кавалер «Рыцарского креста»!

Поразмыслив, я неторопливо и серьезно ответил ему:

– Что бы ни случилось, господин гаулейтер, я до конца разделю судьбу города!

Оба господина великолепно почувствовали эту пощечину. Они обменялись многозначительным взглядом и состроили кислую мину. Не могли же они знать, какую судьбу готовил я Грейфсвальду! Рейхскомиссар измерил меня оценивающим взглядом своих выцветших голубых глаз, сухо попрощался и помчался дальше, на запад. Насколько мне известно, он, как истый моряк, продолжал свое бегство с острова Рюген уже морем. (Ныне он как нацист, прошедший денацификацию, по милости Аденауэра получает высокую пенсию.)

Стремительно бежало время, и так же стремительно наступала Красная Армия. Через Грейфсвальд на запад катились потоки беженцев. Я не упускал ни одной возможности разъяснять жителям, что бежать бессмысленно. Мне не трудно было толковать им, что впереди беженцев ждет неведомая судьба.

– Но русские?..

Гebbельсовская клевета об «отрубленных детских руках» и «выколотых глазах» многих толкала на скитания и даже на самоубийство.

Начальник генерального штаба категорически приказал всем офицерским семьям оставаться на месте и быть примером стойкости для всего населения. Успокаивать население мне помогали все мои близкие по службе и дому. Мои сотрудники говорили всем следующее: комендант, имеющий фронтовой опыт, уладит все так, что Грейфсвальд не пострадает. Такая формулировка имела успех. В этом намеке многие находили отклик на свои чаяния, хотя вряд ли представляли себе, как все произойдет. До 25 апреля немногие покинули город, хотя многие, готовясь к бегству, шили себе заплечные мешки, чинили ручные тележки или сооружали нечто вроде тачек. На нас смотрели, как на своеобразный барометр. Мы старались не дать ни малейшего повода заподозрить нас в подготовке к бегству. Жене я запретил брать деньги в банке, что, правда, позже, когда все счета были закрыты, неприятно отразилось на наших денежных делах. Изверившимся и подозрительным жена показывала нашу квартиру – это действовало убедительнее всяких слов, потому что в комнатах у нас не было ни упакованных чемоданов, ни заколоченных ящиков. Семьи других офицеров тоже были на месте, и это успокаивало.

Большое значение имело также поведение фрау Остеррот: она была дочерью обергруппенфюрера{10} Пауля Гауссера и женой офицера генерального штаба. Гауссер постоянно информировал из Берлина жену и единственную дочь о состоянии дел.

«Оставаться на месте, скоро все переменится», – телеграфировал эсэсовский генерал, надеясь, видимо, на успех попыток нацистских главарей заключить сепаратный мир с западными державами и объединиться с ними против Советского Союза. Слух об этом просочился постепенно. Я не знал, как это расценивать, но радовался, что население успокаивается. Это лишь благоприятствовало моим планам сдачи города.

Спокойно было и в тот день, когда моя жена и фрау Остеррот сидели по соседству у вдовы летчика фрау фон Бухвальд. Три женщины дружили давно. К грядущему они относились с полным самообладанием. Вдруг прибежала прислуга Остерротов: фрау Остеррот просят немедленно прийти домой, господин обергруппенфюрер срочно требует дочь к телефону. Телефон был и в доме Бухвальдов – значит, все можно было бы решить значительно проще. Каждая из них подумала об этом, но никто не сказал ни слова. В маленький дружеский кружок, точно удар молнии, проникли опасения. Фрау Остеррот побледнела и поспешно, холодно распрощалась. Возле ее дома уже стояли тяжелые эсэсовские грузовики, присланные ее отцом. Эсэсовцы под надзором ее матери грузили вещи. В ту же ночь фрау Гауссер и Остеррот навсегда покинули город.

Обергруппенфюрер пренебрег приказом своего фюрера – ведь речь шла о собственной жене и дочери, их надо было во что бы то ни стало увезти в безопасное место.

Бегство родственников хорошо осведомленного высокопоставленного эсэсовца не осталось без последствий. Теперь семьи офицеров-летчиков невозможно было удержать. Из семей пехотных офицеров в бегство пустились только две.

* * *

Советские войска уже переправились через Одер. Чем ближе подходил фронт, тем больше дел обрушивалось на меня и мой штаб. Беженцев я беспрепятственно пропускал вопреки приказу Гитлера. Чтобы не допустить панического бегства населения из Грейфсвальда, я объявил всему штабу во второй половине дня 25 апреля, что в городе боев не будет, и приказал распространять эту версию, ничего больше не разъясняя. Вопросов мне не задавали. Возражений тоже не было – работники штаба доверяли мне. Было очевидно, что большая часть населения города жаждет мира.

В эти дни у меня бывало много людей со своими заботами и просьбами. Приходили и с приказами и поручениями. К примеру, генерал Шрек. Я знал его раньше – он был моим ротным

командиром в Потсдаме. Этот крупный, полный мужчина стал еще массивнее. В группе армий «Висла» Шрек руководил снабжением. Он потребовал, чтобы я где-то разместил его машины и склады. С важным видом он вытащил какой-то приказ и, прежде чем я успел прочитать его, указал на подпись: «Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС». В приказе говорилось: «При отсутствии соответствующих помещений освободить церкви». С тщательностью, свойственной генеральному штабу, были перечислены подробности: скамьи удалить, двери церквей расширить соответственно габаритам машин и т. д. Я то и дело твердил про себя: только не противоречить!.. Шрек был не менее жесток, чем его рейхсфюрер, и, видимо, не случайно очутился в услужении у этого дьявола. Он очень спешил и обрадовался, когда я пообещал немедленно связаться с церковниками. Как он появился, задыхаясь и дымя трубой, так и отбыл, дымя и задыхаясь. Больше я никогда не слышал о нем.

Еще в присутствии генерала я дал доктору Вурмбаху указание связаться с руководителями церкви. Вернулся он ухмыляясь. Я с интересом выслушал доктора и понял, что он подошел к делу со свойственной ему хитростью и юмором. Вурмбах соединился по телефону со священником Фихтнером, служившим в фашистском штурмовом отряде, считая, что такой человек лучше других должен понимать распоряжения Гиммлера. И вот теперь Фихтнер вместе с деканом теологического факультета на пути сюда.

– Штурмовой отряд бодро шагает в ногу! – заключил Вурмбах.

Когда оба господина прибыли, я объявил им свое решение: скамьи и двери не трогать, в церкви перенести медикаменты и, если потребуется, перевести туда раненых. Они поблагодарили. Декан профессор Бальк попросил грузовики для эвакуации церковного имущества. Я разрешил вывезти только древние церковные книги, представлявшие культурно-историческую ценность, – они могли погибнуть в огне. Тогда еще существовало автомобильное сообщение между Грейфсвальдом и Любеком, которое в свое время организовал и контролировал Оскар Леман. В присутствии декана я по телефону отдал Леману распоряжение при случае переправить церковное имущество в Любек. Еще раз поблагодарив, оба священнослужителя удалились.

Церковники, между прочим, пожаловались, что члены организации «Гитлерюгенд», располагавшиеся на Гюцковерштрассе и в помещении районного руководства национал-социалистской партии на площади Штурмовых отрядов (ныне площадь Свободы), ведут себя вызывающе. Мне уже и

раньше докладывали о пьяных оргиях этой молодежи. Это были члены одной из групп «Вервольф»{11}, развлекавшиеся в ожидании, когда их пустят в дело. Напиваясь, они открывали окна и орали свои боевые песни. Я обещал вмешаться.

Разговаривать на эту тему с крейслейтером было небезопасно. Я отправился к нему с заряженным пистолетом.

Стояла чудесная теплая погода, какая бывает ранней весной. На минутку я задержался в саду перед зданием районного руководства национал-социалистской партии. Куда ни взглянешь, всюду коробки из-под сигарет, пустые консервные банки и водочные бутылки. Это были остатки роскоши, о которой простые смертные в последние годы могли только мечтать. Все выброшено из окон, за которыми сейчас громко вопили: «Мы будем шагать до конца, пусть все летит в тартарары! Сегодня наша Германия, а завтра будет весь мир!»

В нижнем этаже кричал громкоговоритель. Там находился кабинет крейслейтера. Голос, звучавший из репродуктора, принадлежал, несомненно, доктору Геббельсу. В приемной Шмидта распоряжался его адъютант штурмфюрер Карпф, высокий, худой, с помятым лицом Мефистофеля. Он доложил обо мне Шмидту, тот немедленно принял меня и тут же шепнул:

– Повторение воззвания доктора Геббельса!

Это было приглашением слушать. Такой неожиданный поворот дела устраивал меня. Наблюдая за воздействием речи министра пропаганды на Шмидта, я понял, что убедить нашего крейслейтера невозможно. Добиться успеха можно лишь ловкими ухищрениями. Я был сам себе противен, когда завел такой разговор:

– Только что министр пропаганды подсказал мне нужные слова: «В непосредственной близости от фронта мы должны сделать все, чтобы выполнить задачи, возложенные на нас судьбой». По этому поводу я и пришел. Группы «Вервольф» нельзя держать сосредоточенными в двух местах – на Гютцковерштрассе и здесь, где их любой человек может увидеть. Представьте себе последствия какой-нибудь диверсии! Достаточно одного прорвавшегося советского танка, и провал всей обороны налицо!

Крейслейтер, ничего не понимавший в военном деле, обещал рассредоточить группы «Вервольф». С того часа их рев прекратился.

Один из моих работников, майор запаса Шрекхазе, ушел на другую работу, и на его место был назначен майор Лукке, который раньше служил в 92-м полку. Лукке ампутировали ногу. Прямо из госпиталя он был направлен ко мне. Естественно, он получил участок обороны Шрекхазе, в самом центре города.

Лукке знал меня давно. Как старый фронтовик, он задал ряд уточняющих вопросов. Я стал отговариваться общими словами. Лукке опешил, но промолчал. Это случилось с ним редко, и я заключил, что он все смекнул. Позже это подтвердилось.

Штаб 2-го армейского корпуса, которому я подчинялся, находился в Гюстрове. Оттуда мне звонили большей частью ночью, так как днем невозможно было добиться междугородного разговора. В ночь на 26 апреля 1945 года из штаба корпуса спросили меня, как долго я смогу удерживать город силами гарнизона Грейфсвальда в случае советского наступления. Значит, штаб корпуса решил пожертвовать древним университетским городом, лишь бы выиграть время. Я в свою очередь спросил, с какими силами противника мне придется иметь дело.

– Офицер для поручений точно проинформирует вас. Пришлите с ним ответ.

На этом наш разговор оборвался. Рано утром появился офицер для поручений. Развернув карту, он ознакомил меня с обстановкой:

– Армии маршала Рокоссовского, форсировав Одер в районе Гартца, продолжают наступление по расходящимся направлениям. Здесь наступает 2-й Белорусский фронт, который взял Штеттин. Войска генерала Федюнинского, действующие на правом фланге этого фронта, видимо, имеют задачу наступать севернее Мекленбургских озер через Пренцлау, Варен и Росток на Висмар. Но уже сейчас одна усиленная дивизия отделилась и продвигается в направлении Пазевальк – Анклам. (Это была дивизия генерала Борщева, который в 1956 году присутствовал на праздновании 500-летия Грейфсвальдского университета.) Возможно, что эта дивизия попытается овладеть островами Узедом и Воллин с важным пунктом Пенемюнде. Не исключено также, что дивизия имеет задачу наступать в направлении Грейфсвальд – Штральзунд. Войска левого крыла фронта, безусловно, будут стремиться выйти через Шверин к реке Эльбе в районе Виттенберге. В случае если Федюнинский, оставив справа острова Узедом и Воллин, будет продвигаться от Анклама через Грейфсвальд к Штральзунду, следует ожидать, что по Грейфсвальду будет нанесен удар усиленной дивизией Красной Армии, имеющей на вооружении новейшие боевые средства: автоматы, пулеметы, танки, тяжелую артиллерию, «катюши», бомбардировщики и истребители.

Мы стояли у стола над большой картой. Подняв голову, я увидел за окном городской ров и стену на фоне древней церкви Святой Марии. До изобретения пороха ров и стена защищали

город от набегов рыцарей, но потом потеряли всякое значение. Особенно выделялась широкая стена «Толстой Марии», как называли в народе эту громоздкую готическую церковь. Средневековые домики на переднем плане совсем тушевались перед ней, словно стыдясь своего убожества. В самом деле, это великолепное, величественное здание. Пробивалась зелень, уже распустились первые весенние цветы. Беззаботно щебетали птицы. Передо мной была картина мирного пробуждения весны.

Мимо прошла колонна ополченцев. Жалкое зрелище! Пожилые, болезненного вида мужчины, большей частью отцы семейств или даже деды, плохо одетые и плохо снаряженные, вооруженные разномастным трофейным оружием. Начальник колонны – молодой, крепкий однорукий парень, награжденный «Железным крестом» I степени. Он посмотрел на мое окно и быстро отвернулся. Вероятно, он стыдился сброда, которым ему приходилось командовать. Желая исправить впечатление, он приказал:

– Запевай «Когда мы маршируем»! Три-четыре!..

Они продолжали шагать, но никто не запел. Пели только весенние птицы, и без всякого приказа.

– Господин полковник, я привез вам одну приятную весть. Гиммлер предложил западным державам безоговорочную капитуляцию Германии, чтобы вместе с ними продолжать борьбу против большевиков. У нас уверены, что предложение будет принято. Поэтому так важно защищать каждый город, каждое село и каждый клочок земли до последнего человека и патрона.

Офицер вытащил из кармана приказ, где черным по белому все это было изложено. Значит, слухи имели реальную почву. А я считал их опасной иллюзией, соломинкой, за которую цепляется идущий ко дну «Третий рейх»!

Минуту спустя я сказал:

– Ближе к делу.

– Как прикажете доложить: долго ли сможет держаться Грейфсвальд? – спросил офицер для поручений.

– Не больше четырех часов. И за это придется уплатить... – рукой я указал на древний город, освещенный утренним солнцем.

Тон, которым я произнес эти слова, был так горек, что офицер для поручений смог лишь механически повторить:

– Есть, господин полковник, четыре часа!

Он уже собрался уйти, но вдруг задержался, желая, очевидно, разрядить напряженную атмосферу.

– Приказано передать вам самые сердечные приветы от господина полковника Штаудингера.

Штаудингер, начальник штаба 2-го армейского корпуса, был

женат на двоюродной сестре моей жены, и мы поддерживали хорошие родственные отношения.

* * *

Последствия этого разговора были не те, на которые я рассчитывал. Позвонил Штаудингер:

– Послушай, Петер. Командира корпуса ошарашил твой срок – четыре часа! Но мы все тщательно проверили и считаем, что ты прав. Генерал велел передать тебе следующее: если дивизия, действующая под Анкламом, будет оттеснена, то во изменение ранее поставленной задачи она получит приказ с боями отходить к Грейфсвальду. Ее остатки поступят в твое распоряжение. Грейфсвальд можно и должно удержать, как исходный плацдарм для проведения планируемой штабом операции с развитием ее на восток.

Я был сражен. Следуя внезапному побуждению, я осведомился: какова же была первоначальная задача дивизии? Штаудингер ответил, что дивизия должна была форсированным маршем отойти за Мекленбургские озера к Мальхину и там занять оборону.

– Но Грейфсвальд куда важнее! Итак, ни пуха ни пера! До встречи с тобой, уже как с генералом, награжденным «Дубовыми листьями» к «Рыцарскому кресту»!

Вошедший в это время майор Шенфельд был поражен моим ответом:

– Утрись ты своими дубовыми листьями!

Такого он от меня еще не слышал. Узнав, в чем дело, Шенфельд стал серьезен.

«Неужели дивизия, действующая под Анкламом, сорвет весь мой замысел?» – подумал я и сказал:

– Слушайте внимательно, Шенфельд. Дивизию необходимо во что бы то ни стало повернуть в другую сторону. Здесь ей делать нечего, иначе Грейфсвальду крышка.

«Повернуть, во что бы то ни стало повернуть!» – эта мысль не оставляла меня в покое. Но как повернуть? Вот в чем загвоздка. Ага, ясно: старый приказ снова вступит в силу! Дивизия должна его получить прежде, чем подойдет к перекрестку дорог в Мековберге.

– Надеюсь, голубчики ничего не заподозрят, если получат это приказание от нас. Теперь мы знаем старый приказ и смело можем ссылаться на него. Все будет казаться естественным, разве только сам черт в это дело встрянет... Подготовьте, пожалуйста,

приказ и позаботьтесь о его своевременной доставке. От быстроты зависит все. Иначе приказ потеряет всякий смысл.

В решающую минуту фиктивный приказ был доставлен адресату. Там ему обрадовались: дивизию достаточно потрепали в Анкламе, и она не жаждала повторения в Грейфсвальде. Лишь отдельные дозоры, никем не предупрежденные, оказались у нас. Но и они охотно отправились догонять свои части.

* * *

Когда я, усталый, приходил домой, меня обычно поджидали люди, либо не успевшие попасть на прием, либо те, кто считал, что личное знакомство со мной дает им право на «домашний налет».

– А у нас Эльфрида! – таким возгласом встретила меня однажды жена.

– Какая еще Эльфрида?

Жена почувствовала, что я недоволен, и добавила, как бы извиняясь:

– Да ты знаешь ее, старшая дочь переселенца Швелле. Она прикатила на велосипеде из Кемнитцерхагена, чтобы поговорить с тобой.

Эльфрида уже вышла в коридор, чтобы встретить меня. Этой здоровой крестьянской девочке, краснощекой и упитанной, было не больше тринадцати лет.

– Отца все-таки взяли в фольксштурм, а у него больные почки, и он никогда не служил. У них только по одному одеялу. Спят в школе на голом полу. А по утрам – заморозки. Оружия им еще не дали. Без отца не управиться с весенними работами, с одной скотиной сколько хлопот... Зачем все это теперь?

Она выпалила все просто, твердо и ясно, глядя на меня своими светлыми, умными глазами без всякой робости, но грустно и озабоченно. Я уловил в ее тоне упрек, особенно когда она, не смущаясь, продолжала:

– Вы же знаете, как трудно нам было устраиваться на новом месте. А теперь еще это...

– Отправляйся-ка в комендатуру, к Нетцелю, – прервал я ее. – Пусть он на имя командира части твоего отца напишет письмо с просьбой о предоставлении ему отпуска. Я поддержу эту просьбу. Нетцель знает, на что надо сослаться. Я сейчас сам ему позвоню. А ты уж с ним договоришься – у него такие же толстые щеки, как у тебя.

Это посещение заставило меня призадуматься.

Тринадцатилетняя деревенская девочка смотрела на вещи трезвее, чем иные военные. Слова: «Зачем все это теперь?» в ее устах звучало как: «Зачем все разрушать дотла?..» Она не боялась горькой правды, она еще не имела понятия о тщеславном стремлении к «дубовым листьям с мечом» и к генеральской форме, неведома была ей пустая офицерская честь, ставшая самоцелью. А главное – ей не приходилось бояться ответственности за катастрофу, испытывать страх, который преследовал многих фельдмаршалов, генералов и министров. Другое казалось ей важным: обработать землю, накормить скот. Когда придут русские, все равно людям надо будет есть. Поэтому нужно, чтобы отец вернулся домой.

Ни слова об «отрубленных руках», «выколотых глазах» или о «сожженной земле». Нет! Жизнь продолжается. Лишь вокруг этого кружатся простые, ясные мысли девочки.

– А когда наступит спокойное время, мы будем колоть свиней, и вы обязательно приезжайте к нам, – сказала она на прощанье.

Я невольно вспомнил другого посетителя, который побывал у меня в комендатуре. Его не хотели пропускать, но он ворвался.

– Ротмистр фон... виц, – он представился так скрипуче, что я расслышал лишь окончание его фамилии.

В руке он держал старый револьвер. «Вот-вот начнет палить», – подумал я и с упреком взглянул на офицеров штаба. Один из них пробормотал:

– Простите, господин полковник. Мы все средства испытали.

Старый ротмистр вытянулся в струнку, ослепленный моим «Рыцарским крестом».

– Мой сын тоже награжден «Рыцарским крестом!» – гордо заявил он. – Покоится в братской могиле у Тобрука, в африканской пустыне. В нашей семье три поколения имели «Железные кресты». Это величайшая редкость. И это обязывает. Я в вашем распоряжении, господин полковник. Готов бороться против большевизма и вместе с вами пасть смертью храбрых за отечество.

Я молчал, внимательно рассматривая этого блаженного в высоких сапогах со шпорами. Выправка, одежда и манеры выдавали в нем старого офицера и помещика.

– Вам обязательно хочется отправить меня на тот свет? – попытался я придать этой театральной сцене реалистический поворот, но тщетно: блажной изверг фонтан выпрених слов о героической смерти. Он и в самом деле готов был пожертвовать собой, как это делали его предки ради феодального государства, много столетий охранявшего их имения и сословные привилегии

и от внешних врагов и от справедливых требований народа.

– С нами бог, во славу нашего... – с этими словами семидесятилетний старик распрощался, щелкнул каблуками: слово «кайзер» он тактично проглотил, а «фюрер», очевидно, избегал.

Крестьянская девочка и старый помещик-офицер олицетворяли не только два поколения, но и два различных мира. Наивная крестьянская девочка, настоящее дитя народа, стремилась работать и жить. Ротмистр в отставке был в прошлом, настаивал на унаследованных правах, чуждых народу и самой жизни. Лишь за эти интересы он хотел бороться и умереть. Два представителя германской истории – ее прошлое и будущее.

* * *

В пятницу 27 апреля 1945 года трое господ пожелали поговорить со мной наедине. Мне доложили о них торжественно:

– Все трое из университета, в том числе его превосходительство профессор доктор Энгель.

Трое господ вошли в кабинет с напряженными лицами. Ректор произнес несколько вежливых фраз, сказав, что от нашей первой встречи у него осталось впечатление обо мне как о весьма рассудительном офицере, и поэтому он берет на себя смелость сделать мне сегодня важное предложение...

Каждое слово было обдуманно и взвешено. Ректор умел достойно представить свой университет. Один из сопровождавших его, кругленький, непоседливый господин, без конца ерзавший на стуле, явно хотел вставить слово, даже набирал воздух, но никак не решался заговорить. Это был куратор университета Кунерт. Третий из господ сидел где-то позади, прямо, будто аршин проглотил, с непроницаемым лицом, молча. Я так и не узнал, кто он такой.

Профессор Энгель серьезно и внушительно обрисовал положение в городе, особо указав на множество беженцев и раненых. Я знал все это без него и не понимал, куда он клонит. Кунерт, набравшись, наконец, решимости, подкрепил речь ректора «точными цифровыми данными» о населении, раненых и беженцах. Это было бессмысленно, потому что цифры менялись ежечасно. Куратор казался мелким и незначительным по сравнению со своим ректором. Третий же по-прежнему с непроницаемой миной хранил молчание, лишь его глубоко сидящие серые глаза следили за нами. Я невольно взглянул на него, когда ректор произнес:

– Позволю себе от имени университета обратиться к вам, глубокоуважаемый господин полковник, со следующим: испросите у фюрера разрешение объявить университетский город Грейфсвальд открытым городом-госпиталем.

Третий, как и прежде, остался подчеркнуто равнодушным. Мне стало не по себе.

Все молчали, пытаясь найти ответ на моем лице. Было так тихо, что, упав на пол булавка, звук ее падения был бы слышен. После недолгого раздумья я подошел к сейфу, вынул несколько документов и положил их на стол перед ректором. Профессор Энгель стал читать, куратор суетливо вскочил и присоединился к нему, заглядывая через плечо. Третий сидел все так же неподвижно и молчал. Яркие красные печати «Совершенно секретно» он мог различить своими буравящими глазами и не сходя с места. Энгель нахмурил лоб, Кунерт читал, тихонько бормоча: «Ни один немецкий город не будет объявлен открытым. Каждую деревню и каждый город надо защищать и удерживать любыми средствами. Каждый немец, нарушивший этот естественный национальный долг, теряет честь и жизнь».

Оба господина тяжело дышали – настолько испугал их приказ фюрера от 12 апреля 1945 года. Ректор и куратор побледнели. Прочитав в другом приказе, что даже высказывание таких пораженческих мыслей карается расстрелом и что немедленное применение этого приказа не только мое право, но и долг, Кунерт то и дело повторял хриплым сдавленным голосом: «... теряет честь и жизнь!»

Куратор еще долго смотрел на бумаги, как замороженный. Ректор, напротив, открыто и серьезно взглянул на меня. Его спокойное, одухотворенное лицо ожесточилось. Он как бы говорил мне: «Исполняй свой долг, я в твоих руках».

Все трое выжидающе смотрели на меня. Разумеется, я не мог раскрыть этим господам свой план, хотя бы из-за болтливости Кунерта. Я сказал:

– Ваше превосходительство, не бойтесь. – Затем снова спрятал в сейф приказы, в те дни для многих ставшие роковыми. – Так же тщательно, как эти бумаги, я буду хранить все, сказанное вами. Хочу вас заверить, ваше превосходительство, что ваши пожелания будут учтены!

Посетители поднялись с облегчением. Ректор долго жал мне руку. Кунерт, нервно переступая с ноги на ногу, простился преувеличенно доверительно. Третий распрощался с подчеркнутой холодностью и враждебностью. Вурмбах проводил господ донизу. Я услышал, как захлопнулась дверца машины.

– Это посещение ниспослано нам богом! – сказал я Вурмбаху.

Мы пришли к выводу, что профессор Энгель, сам того не ведая, наметил себя кандидатом в парламентареры. Я считал, что среди парламентареров должны быть и представители гражданского населения. Обер-бургомистр с золотым партийным значком для этой роли не подходил, а ректора до сих пор я знал мало. Обойтись без обоих было трудно. Теперь положение резко изменилось. На ректора можно твердо рассчитывать – его инициатива была беспримечной. Ни раньше, ни потом никто не обращался ко мне с предложением сохранить город.

Обсудив состав делегации, которая предложит Красной Армии сдачу города без боя, мы с Вурмбахом условились, что он, как мой официальный заместитель, будет руководителем парламентареров и уполномоченным по переговорам. Хотя он немного говорил по-русски, но для такой важной миссии был необходим и квалифицированный переводчик. Профессор Энгель будет представителем гражданского населения. С этими тремя и шофером одна машина была бы полностью занята.

Для безопасности я предложил вторую машину, свою собственную. Но тогда нужен еще один парламентар. Кто?

– Жаль, некого привлечь из городских властей, – заметил доктор Вурмбах.

– Попробуем найти еще одного представителя из университета, – предложил Шенфельд.

Вот уже пять веков университет был экономическим и культурным центром Грейфсвальда. Я предложил кандидатуру профессора Катша, моего соседа. Из профессоров я знал его дольше всех: он был директором клиники медицинского института и давно жил в Грейфсвальде. К тому же он полковник медицинской службы в резерве и мог бы представлять перед советским командованием город-госпиталь.

Катш – человек ловкий и, по-моему, замечательно подходил для этой роли. Всякие возражения против него, связанные с его пребыванием в нацистской партии, я отметал.

Доктор Вурмбах вызвался навестить Катша с наступлением темноты в его квартире на Поммерндамм, пять. Такая предосторожность была необходима как для профессора Катша, так и для нас.

От Катша Вурмбах пришел ко мне домой. Открыв ему, жена сразу поняла, что он принес приятные вести.

– Это было не так просто, но мне удалось убедить профессора стать парламентаром, – сказал мой верный друг и сотрудник, со

вздохом облегчения садясь в угол дивана.

– Катш собирается поговорить с Энгелем. Я ему рассказал, что Энгель был у вас и что его решимость вне всякого сомнения.

Довольный своим успехом, Вурмбах с наслаждением потягивал крепкий чай. Из-за постоянного нервного напряжения мы до крайности устали, и все же настроение у нас было отличное. Мы еще посидели с Вурмбахом, поговорили о «новости», опубликованной 27 апреля: «болезнь сердца» рейхсмаршала Геринга сейчас, именно сейчас, вступила в тяжелую стадию, и он просит освободить его от всех обязанностей...

Наблюдая во время разговора за нашим гостем, высоким, худым, представительным, я вдруг почувствовал, что сердце у него никуда не годится. Я уже давно собирался предложить 63-летнему Вурмбаху оставить службу в армии по возрасту, хотя мне было бы тяжело обойтись без него. Теперь, когда подготовка к сдаче была завершена, я решил, что надлежащий момент наступил.

– Ангелина, будь добра, убери со стола!

Моя жена понимающе улыбнулась, но последнее слово, разумеется, осталось за ней. Уходя, она иронически произнесла:

– Слушаюсь, господин полковник.

Когда она вернулась, доктор Вурмбах выпалил смеясь:

– Подумайте только, ваш муж хочет отправить меня на покой, словно старую клячу! – И продолжал, обращаясь ко мне: – Впервые в жизни я не могу серьезно отнестись к вашему предложению, господин полковник. Да и вы не могли предложить мне это всерьез. Кто же тогда будет вести переговоры и возглавлять парламентариев? Русские не станут слушать штатских, а сами вы должны стоять у штурвала, как капитан.

Я вынужден был согласиться с ним.

– Что же касается тебя, Ангелина, то ты должна понять, что здесь уже фронт, где дело идет о жизни и смерти, а ты лишь слабая женщина...

– Я не просто женщина, я твоя жена, – запротестовала Ангелина. – Твое решение равносильно моему...

Я знал, что ее решение остаться в городе созрело уже давно. Но в эту важную минуту мне необходимо было услышать подтверждение.

Доктор Вурмбах слушал молча и задумчиво. Хорошее настроение улетучилось. Как уроженец Гамбурга и солдат я не терпел сентиментов.

– К черту! Неужели мое слово здесь ничего не значит?! Никто не желает считаться со мной... Глядя на ваши физиономии, впору

удавиться!

Они весело рассмеялись. Настроение улучшилось.

В субботу 28 апреля рано утром меня разбудил шум далекого боя со стороны Анклама. Он разбудил и других, в том числе обер-бургомистра доктора Риккельса, обладателя золотого партийного значка. Этот командир батальона фольксштурма поймал меня в самую рань и потребовал звоном колоколов созвать народное ополчение, то есть его батальон. Шум боя со стороны Анклама был последним моментом для подачи такого сигнала.

Я пристально посмотрел на Риккельса и сказал:

– Колокола Грейфсвальда звонить не будут!

Он долго ничего не мог понять, а затем закатил мне истерику. У меня не было ни времени, ни охоты слушать его. К тому же я не выношу рыдающих мужчин, тем более с золотым партийным значком. Я накричал на Риккельса и выгнал его.

Но он вернулся и заявил, что должен хотя бы для вида вести бой на окраине города. Мне стало ясно: на всякий случай он хочет сохранить за собой репутацию верноподданного.

Доктор Риккельс не воевал на окраине города, а бежал на запад, по примеру своих национал-социалистских коллег. Как позже выяснилось, этот побег был давно подготовлен. Бургомистр заблаговременно велел сбить множество ящиков для своего имущества. Его служебный «Мерседес» не мог, конечно, вместить все. Но обер-бургомистру – прошу не забывать, обладателю золотого партийного значка! – подчинялась пожарная охрана. Инженер-брандмейстер Либиг предоставил в распоряжение Риккельса весь подвижной состав городской пожарной охраны, не забыв, конечно, и о себе.

Солидная колонна состояла из машины с подъемной лестницей, машины со всеми шлангами и брандспойтами, машины с прицепом для бензозаправки, трехтонного грузовика «Опель» и легкового «Мерседеса». Последний, кстати, из-за невероятной спешки наскочил на дерево, не доехав даже до Штральзунда. На грузовик взвалили все средства противохимической защиты, все медицинские аппараты, а также все самое добротное с вещевого склада – от ботинок до фуражек и, разумеется, всю штучную мануфактуру. Из соседнего села Эльден прихватили еще одну машину, потому что в последнюю минуту перед обер-бургомистром возникла немаловажная проблема: куда девать двести банок гусятины, законсервированной домашним способом, и двенадцать ящиков шампанского? Грейфсвальд по милости своего обер-бургомистра

– прошу не забывать, обладателя золотого партийного значка! – остался в это жгучее время без всякой пожарной охраны. Так недостойно уходили национал-социалистские сановники.

Навестив меня в то утро, когда я еще ничего не знал о подготовленном им бегстве, доктор Риккельс вовсе не собирался всерьез вести бой. Он лишь хотел пожертвовать людьми, которые ему слепо доверились, чтобы под занавес уйти со сцены в ореоле героя. А вверенный ему город, как горящая кулиса, должен был скрыть его побег.

Прошло больше года, прежде чем Грейфсвальд смог обзавестись самыми примитивными аппаратами для тушения пожаров. Увезенные машины и по сей день находятся в Ганновере, на «золотом» Западе. Бывший обер-бургомистр с золотым партийным значком и высокой пенсией пребывает там же.

* * *

После неприятной сцены с обер-бургомистром доктор Вурмбах сказал:

– Надо срочно обезвредить крейслейтера, забрав у него власть над «Вервольфом». Тогда он не сможет причинить вреда.

Доктор Вурмбах хотел вместе со мной отправиться в логово зверя, но я решил, что нельзя одновременно рисковать и коменданту и его заместителю. По совету Вурмбаха я сменил свой маленький «Вальтер» на тяжелый боевой пистолет и отправился в путь.

– Как только ваша машина тронется с места, – сказал Вурмбах, – я позвоню адъютанту крейслейтера Карпфу и втяну его в продолжительный разговор. Вы будете разговаривать с крейслейтером наедине.

Когда я подъехал, Карпф уже разговаривал по телефону с Вурмбахом. Таким образом, к крейслейтеру я попал без предупреждения. Он по-прежнему торчал у репродуктора. Шмидт предложил мне сесть, но я решил, что стоя легче выхватить заряженный пистолет. С важным видом он поведал мне, что немецкие войска повернулись спиной к американцам на Эльбе, чтобы вступить в битву за Берлин. Радио тихо забормотало. Крейслейтер судорожно прильнул к приемнику и повернул регулятор, чтобы лучше слышать. Его глаза недоверчиво блеснули, когда мы услышали конец сводки верховного главнокомандования от 29 апреля 1945 года:

«Героическая битва за Берлин является еще одним ярким

выражением исторической борьбы германского народа против большевизма...»

Интересно, ко мне относилась его подозрительность или к сводке верховного главнокомандования?

Он начал так:

– Сейчас решается наша судьба. Теперь дело только за тем, чтобы продержаться, ибо...

– Грейфсвальд нам не удержать, – резко прервал я его разглагольствования и, настойчиво глядя ему в глаза, как бы машинально отстегнул кнопку своей кобуры. – Вы должны сохранить себя для фюрера. Но этого вы не сможете сделать, оставаясь здесь. Лучше, если вы... – я сделал маленькую паузу, – сами себя временно отстраните от должности.

Он пожевал губами, глотнул и, помявшись немного, пообещал как можно скорее покинуть город и передать в мое распоряжение отряды «Гитлерюгенда». Каждое слово он выдавливал из себя, избегая смотреть на меня и косясь на мой пистолет. Итак, я покидал его логово, получив командование над группами «Вервольф». Карпф все еще разговаривал по телефону: «Эта старая хитрая лиса Вурмбах просто незаменим», – подумал я.

Но в окончательный успех не верилось – я не доверял районному руководству на площади Штурмовых отрядов.

Вскоре после моего возвращения в комендатуру мне доложили, что у аппарата крейслейтер Шмидт.

– Злой гений Карпф, видимо, уже успел обработать своего шефа, – предположил Шенфельд, сообщая мне о звонке.

В фальшиво любезном тоне крейслейтер предложил мне и моей жене два места в автомашине для бегства на запад. Я напомнил ему, что я держу слово, данное недавно в его присутствии рейхскомиссару и гаулейтеру Шведе-Кобургу.

* * *

Из Гюстрова, где находился штаб корпуса, на меня обрушивался ураганный огонь телефонных звонков. И этим огнем начальство собиралось поддерживать меня с тыла в предстоящих боях! Положение на фронте ни у кого не вызывало прилива бодрости, и звонившие прибегали к совершенно неподходящим историческим параллелям: как Валленштейн в Тридцатилетней войне разбил себе голову о Штральзунд, что находится по соседству, так красная большевистская волна должна разбиться о Грейфсвальд. Ставился в пример подвиг Кольберга{12} в 1807 году. Опять меня соблазняли «Дубовыми листьями» в

генеральскими погонами. Но стоило доктору Вурмбаху сообщить о моем твердом решении сдать Грейфсвальд без боя, как последовали бесконечные угрозы: «Вы лишитесь чести и жизни» и т. д. и т. п.

Меня потребовали к аппарату. Но я не хотел вступать в бессмысленные, изнуряющие споры. Я подчинялся иным приказам. Решение было принято.

* * *

Дома мне открыла одна из беженек, которые осели у нас в городе. Она указала рукой на гостиную, откуда доносился шум голосов.

– Вашей жене тоже достается.

Когда я вошел, споры прекратились. В гостиной сидели четыре или пять женщин с детьми. Все поднялись, глядя на меня испуганными глазами. Дети спрятались за юбки матерей. Жена шепнула мне: «Все из 92-го».

– Чем могу помочь?

– Скажите нам правду, господин полковник! – воскликнула одна из женщин.

– Русские придут сюда? – спросила другая.

Все глядели на меня вопросительно и напряженно. Но прежде чем я успел ответить, какой-то белобрысый мальчуган выглянул из-за спины матери:

– Мамочка, когда я вырасту, я тоже буду носить «Рыцарский крест»... – пальцем он показывал на мой орден.

Мать так крепко дернула мальчугана за руку, что он чуть не упал и испуганно забился в угол.

Мы все грустно улыбнулись. Без обиняков я ответил:

– Да, русские придут сюда. Может быть, даже завтра.

Наступила гнетущая тишина. Женщины переглянулись.

– Теперь мы, наконец, знаем, что нас ждет!

– Необходимо спасти хотя бы наших детей... И вообще, раз мой муж убит...

– А мой был под Сталинградом... Все равно что убит...

Женщина схватила на руки маленького любителя орденов и крепко прижала его к себе. Он еще не понимал, что происходит, и осторожно косился на желанный орден. Эта картина потрясла меня: солдатские жены в самую тяжелую минуту, не сетуя, помышляли только о спасении детей своих погибших мужей.

– Если вы пришли ко мне за помощью, советуую вам оставаться в городе.

- А вы сами?
- Мы с женой тоже остаемся.
- Почему же все остальное начальство сбежало?

С упрёком назывались разные имена. Поведение руководителей «Третьего рейха» было постыдным. Я сказал медленно, подчеркивая каждое слово:

- Грейфсвальд я отдам без боя!

Это подействовало на всех, как бальзам. Женщины стали благодарить меня. Вскоре они попрощались и ушли. Только одна стояла, словно пригвожденная к полу. Когда мы остались наедине, она подошла ко мне и закричала:

- Мне надо обязательно исчезнуть! – Она кусала себе пальцы. – Ведь моя фамилия Геббельс!
 - Разве министр ваш родственник?
 - Нет, мы просто однофамильцы.
- Я быстро рассеял ее опасения.

* * *

В комендатуре шла напряженная работа. Без лишних слов все поняли задачу: спасти то, что возможно.

Население Грейфсвальда поддерживало нас. Многие доверительно сообщали мне, к каким складам и объектам штурмовики тащат взрывчатку и горючее, чтобы, по велению фюрера, устроить на немецкой земле «мертвую зону». Мы приняли все меры, чтобы немедленно сорвать эту дьявольскую затею.

Но Гитлер, гестапо и СС еще существовали, еще грозили кровавым террором. В подвале комендатуры был обнаружен какой-то эсэсовский офицер – по приказу крейслейтера Шмидта он должен был в удобный момент всадить в меня пулю. Поймавший эсэсовца писарь запер его и прибежал ко мне:

- Господин полковник, его надо расстрелять!

Он был очень разочарован, когда я сказал, что хочу видеть задержанного.

Эсэсовский офицер был на голову выше меня, с соломенно-желтыми волосами и голубыми глазами – «идеальный представитель арийской расы», бесконечно прославлявшейся в фильмах и в печати. Я сказал ему, что обычно убийцу тянет к жертве, но на сей раз произошло наоборот. Вскоре он сознался во всем и предложил нам свои услуги, но при условии, чтобы все осталось в тайне.

Позже он действительно помог нам при разоружении

«Гитлерюгенда», чем спас жизнь многим молодым людям.

Но бывало и другое. Майор Ланге из батальона охраны тылов, помещик с острова Рюген, считал, что честь офицера обязывает его вести войну до последней капли крови. О судьбе Грейфсвальда он не думал. В воскресенье к вечеру, когда он строил свое подразделение, мимо проходил фельдфебель Леман, который высмеял запоздалых вояк. А господин майор по-прежнему принимал и войну и своего фюрера всерьез. Он защемил монокль и хотел отчитать «предателя отечества». К своему великому удивлению, майор Ланге услышал из рядов:

– Наш полковник не участвует в этой ерунде! Он отлупит вас своей палкой, если...

– Арестовать! Расстрелять! – закудахтал майор. Однорукий Леман остался жив и по сей день служит контролером в финансовом отделе Грейфсвальда.

* * *

Война еще продолжалась. Анклам был разрушен. Из Грейфсвальда мы ясно видели столбы дыма и пламени. Теперь война стучалась в ворота города, который существовал семь веков. Нужно избавить его от судьбы Анклама. Мы твердо решили сдать город без боя.

Но как отнесется к нашему плану Красная Армия? Это была задача со многими неизвестными. Большинство считало, что я не останусь в живых, но это не могло повлиять на мое решение. Я шел по выбранному мной пути с тем же чувством, с каким доселе отправлялся в бой. Перед глазами была цель, и я не думал ни о жизни, ни о смерти. Впрочем, была и разница: впервые в моей жизни солдата целью атаки была сама война. Что касается судьбы Грейфсвальда, то, не в пример геббельсовским пропагандистам, я был уверен в ней, ибо слишком часто действительность изобличала нашу пропаганду во лжи. Без колебаний я приступил к последним приготовлениям.

– Я назначил совещание с парламентарями на вечер, в двадцать ноль-ноль, у профессора Катша. Вы ничего не имеете против? Там не будут мешать. А у вас ведь дом, как проходной двор.

– Правильно, Вурмбах!

Этим совещанием 29 апреля 1945 года в двадцать ноль-ноль и начался акт сдачи города. Я посвятил профессоров Энгеля и Катша в некоторые подробности. Доктор Вурмбах показал им удостоверение, в котором он значился главой парламентариев. Их

имена тоже были упомянуты. Мое воззвание к населению содержало условия сдачи, которые мы хотели предложить. По совету ректора, профессора Энгеля, был добавлен еще один пункт: «В университете и школах занятия продолжаются». Жена Катша снабдила делегацию продовольствием из своих запасов. Моя жена в последнюю минуту изготовила белый флаг из салфетки на палке от щетки. К сожалению, одна из телефонисток по неведению сообщила штабу корпуса в Гюстрове, откуда без конца раздавались звонки, что я нахожусь у Катша. Теперь к профессору непрерывно звонили, угрожая мне смертью и преследованием всех родственников, если я не откажусь от своего «предательского» намерения.

– Вам стараются все усложнить, – сказал мне профессор Катш, когда в полночь обе машины тронулись в путь.

Моей жене тоже грозили смертным приговором и преследованием родственников. Но она ничего не сказала мне, ограждая от лишних волнений. Так же поступил и Шенфельд, которого осаждали по телефону в комендатуре. Командование корпуса требовало, чтобы мы защищали Грейфсвальд до последнего камня и человека. «Кто нарушит этот естественный национальный долг, лишится чести и жизни!»

В моем штабе все понимали, что Грейфсвальд надо спасти от разрушения, даже рискуя жизнью. Свой естественный национальный долг каждый видел именно в этом.

Глубоко убежденные в успехе, обе делегации отправились к Анкламу. В лесу около деревни Гансхаген, примерно в десяти километрах к юго-востоку от Грейфсвальда, была сделана небольшая остановка. Доктор Вурмбах сориентировался по карте. На перекрестке дорог у Мековберга, по моему предположению, находилось советское передовое охранение. Из двух водителей, которые до сих пор не были посвящены в дело, один, старший инспектор Оскар Леман, безоговорочно согласился следовать дальше. В знак разрыва со своим военным прошлым он отстегнул поясной ремень и швырнул его в кювет. Водитель второй машины взбунтовался. Пришлось применить силу и разоружить его.

Возле кузницы перед Мековбергом машины еще раз остановились. Впереди маячили какие-то люди. Русские или немцы?.. Доктор Вурмбах и профессор Энгель вышли из машины, размахивая белым флагом. Их окружили красноармейцы – советский дозор самокатчиков. Подошел танк, из него вылез майор. Наш переводчик крикнул:

– Здесь немецкие парламентарии из Грейфсвальда, Не стреляйте!

Доктор Вурмбах сообщил майору о своей миссии. Тот по

радио немедленно доложил об этом своему командиру. Затем майор сел в первую машину, чтобы сопровождать парламентаров в Анклам. Медлить было нельзя – шел второй час ночи. Машина с трудом пробиралась в потоке советских танков и орудий, предназначенных для наступления на Грейфсвальд.

– Наконец на горизонте в призрачном отсвете пожарищ появился Анклам. Ночь уступила место морю огня. И это было уготовано Грейфсвальду...

Остановились возле маленького дома на Блутслустерштрассе. Здесь находился штаб генерала Федюнинского{13}. Генерал принял парламентаров в маленькой комнате, при свечах. Доктор Вурмбах предъявил удостоверение уполномоченного мною парламентаря и предложил на основании разработанных нами условий сдачу Грейфсвальда без боя. Не мешкая, генерал отдал приказ, тут же переданный по радио. Было уже два часа семнадцать минут. Спешка стала понятной, когда парламентары услышали, что отдан приказ о наступлении на Грейфсвальд, которое должно было начаться ровно в три часа. Генерал только что отменил этот приказ. Но ведь трудно за сорок минут передать новый приказ в войска, рассредоточенные на сто километров вокруг Грейфсвальда. Эти сорок минут для наших парламентаров были полны драматизма. Успеют ли? Судьба Грейфсвальда зависела от четкости работы аппарата управления советских войск.

Вся атмосфера в штабе советского генерала внушала парламентарам уверенность, что победитель не намерен унижать побежденного. Генерал лишь категорически потребовал, в соответствии со всеми старинными военными традициями, чтобы официальную сдачу города начальник гарнизона произвел в одиннадцать часов утра в ратуше Грейфсвальда.

– Передайте вашему коменданту, – добавил он, – что с этой минуты не должно быть сделано ни одного выстрела. Все следует сдать в полном порядке.

Стрелка часов показывала ровно три. Ни одно орудие не выстрелило.

Обрадованный счастливым исходом, руководитель делегации доктор Вурмбах на первой машине отправился в Грейфсвальд. У второй машины вышло из строя сцепление, и ее заменили советской. В ней расположились профессор Энгель и профессор Катш.

Советский сержант доставил их к лесу около Гансхагена. Навстречу со стороны Грейфсвальда бешено мчался «Мерседес». Предполагая, что это машина, затребованная доктором Вурмбахом, парламентары остановились. Остановился и

«Мерседес». Когда они подошли ближе, из «Мерседеса» раздался выстрел. Советский сержант был ранен в руку. Несмотря на боль, сержант выпустил автоматную очередь и убил всех пятерых, сидевших в «Мерседесе». Это были крейслейтер Шмидт, его адъютант, предводитель «Вервольфа», руководитель организации «Гитлерюгенд» и водитель. Крейслейтер, собравшийся уже бежать на запад, в последнюю минуту решил помешать мирной передаче города. Его подлый замысел провалился.

Перевязав советского сержанта, профессор Катш в машине крейслейтера отправился с профессором Энгелем и переводчиком в Грейфсвальд.

А что происходило здесь? Все воскресенье, за день до капитуляции, в местной комендатуре царило столпотворение. Грохот канонады и новые потоки беженцев из горящего Анклама крайне встревожили население, а дикие выходы потерявших голову штурмовиков и членов организации «Гитлерюгенд» подливали масла в огонь. Эти молодчики готовились взорвать или сжечь мосты, склады и другие важные объекты. Забот у нас был полон рот. Но майор Шенфельд действовал разумно и хладнокровно.

Следующая ночь прошла так же напряженно и беспокойно. Тяжко было ждать результата переговоров.

– Свершилось! – с этим возгласом в пять утра сияющий доктор Вурмбах вручил мне документ о принятии Красной Армией нашей капитуляции.

В типографии Панцига (на нынешней улице Фридриха Лефлера{14}) в ту же ночь отпечатали мое воззвание. Оно было тотчас расклеено на столбах, досках для объявлений, в витринах магазинов. Его содержание передавалось из уст в уста, и в одно мгновение – без всяких приказов – Грейфсвальд превратился в море флагов, преимущественно белых, хотя были и красные. Жажда мира, до сих пор грубо подавляемая, наконец вылилась, словно бурлящий поток.

Первой пришла меня поздравить фрау Катш. Благодарность за спасение города она выразила огромным букетом тюльпанов из своего сада и теплыми, от сердца идущими словами.

Но были и непредвиденные неприятности. Сбитые с толку мальчишки из «Гитлерюгенда» пытались продолжать войну на собственный страх и риск, считая, что они приносят себя в жертву. Против них выступили сознательные, смелые граждане, вроде столяра Леверенца. Старый рабочий Линдгрэн помешал закрыть оставшиеся свободными проходы в противотанковых заграждениях.

В семь часов утра внезапный взрыв потряс воздух. Тяжелые

удары следовали один за другим, из многих окон повылетали стекла. Это были взрывы на аэродроме в Ладебове. Представитель Красной Армии заявил протест по поводу нарушения условий. От меня справедливо потребовали немедленно прекратить взрывы. Но это было легче сказать, чем сделать. Авиационные части исчезли в последнюю минуту, эвакуировав даже госпиталь. Для подрыва сооружений аэродрома они оставили заряды взрывчатого вещества, снабженные взрывателями с часовым механизмом. Эту беду нельзя было предотвратить, даже рискуя жизнью. Я мог лишь дать объяснения и просить о снисхождении. Победитель был великодушен – это нарушение условий капитуляции осталось без последствий.

Таково было общее положение, когда в восемь часов в комендатуру к дежурившему в это время Шенфельду влетели три эсэсовца в кожаных пальто с заряженными пистолетами.

– Где полковник Петерсхаген? – заорал один из них.

– Мы отряд по расстрелу, – объявил другой, а третий прибавил:

– Да вы что, с ума все посходили? Весь город увешан белыми флагами!..

Шенфельд сделал вид, будто ничего не знает, и быстро прошел в соседнюю комнату якобы для того, чтобы самому убедиться в этом. Недолго думая, он выпрыгнул из окна бельэтажа, хотя его раненая рука была на перевязи, и поспешил предупредить меня об опасности.

Ровно в одиннадцать часов в ратушу явились представители Красной Армии, чтобы принять капитуляцию. Оружие, ордена и знаки различия были мне оставлены. В большом зале заседаний состоялся совместный банкет. Первым взял слово советский генерал Федюнинский, сидевший напротив меня. Я был бы счастлив, если бы ответную речь произнес кто-нибудь из штатских. Это символически выражало бы смысл сдачи города. К сожалению, ни один из штатских не изъявил такого желания. Все просили меня взять на себя эту обязанность. Мне было тяжело, и я говорил очень кратко. Апеллируя к рыцарским чувствам Красной Армии, я просил пощадить город и население и выпил за здоровье советского генерала.

– А за товарища Сталина? – крикнул кто-то из штатских немцев.

Не удостоив его взглядом, советский генерал спросил меня, преднамеренно ли я не поднял тост за генералиссимуса.

Я мог ответить только утвердительно. Настороженная тишина уступила место радостному удивлению, когда генерал демонстративно протянул мне руку:

– Благодарю вас. Вы честный противник.

Эти рыцарские слова придали акту сдачи особое достоинство.

Грейфсвальд был спасен, но война еще свирепствовала. После смерти Гитлера «великие исторические дела» продолжал вершить Дениц. Красная Армия вынуждена была воевать, хотя стремилась избежать лишних жертв и разрушений. Советские офицеры предложили майору Лукке и профессору Катшу отправиться к коменданту Штральзунда и посоветовать ему последовать примеру Грейфсвальда. Профессор Катш отказался: выдохся. Я предложил позволить в Штральзунд, благо линия была еще исправна.

Коменданта Штральзунда генерала Гаусшильда я знал – раньше он был начальником зенитного училища в Грейфсвальде. Мы узнали друг друга по голосу. Я рассказал генералу, как капитулировал Грейфсвальд, и предложил сдать без боя и Штральзунд. Война все равно проиграна, а капитуляция даст городу определенные преимущества. Гаусшильд возразил, что Красная Армия все равно не оставит от города камня на камне. Я опроверг его возражения, сославшись на пример Грейфсвальда.

Следующий вопрос генерала прозвучал детски наивно: он желал знать, от кого я получил приказ о капитуляции. Я ответил, что действовал под собственную ответственность. Тогда он отказался сдать Штральзунд. Я пробовал убедить его, объяснив, что вынудило меня порвать с Гитлером и войной, рассказывал, как радуется население Грейфсвальда избавлению от войны, пытался апеллировать к его совести. Генерал Гаусшильд заколебался. Я понял, что он никогда еще не задумывался над этим.

После раздумья генерал Гаусшильд предложил: за городом, примерно у Брандсхагена, он для видимости окажет сопротивление и быстро отойдет на остров Рюген. Ему хотелось выйти сухим из воды. Видимость сопротивления перед верхами должна была сохранить в чистоте его генеральскую шкуру. А судьба города просто не интересовала его.

Я снова позвонил и сообщил генералу установленный командованием Красной Армии срок сдачи Штральзунда. Генерал заявил, что не намерен отступать от своего двойственного плана. Я еще раз напомнил ему, что при малейшем сопротивлении Красная Армия пустит в ход все боевые средства. Она обязана это сделать в интересах своих солдат. Но тогда Штральзунд окажется перед катастрофой.

По нашим телефонным разговорам советское командование поняло намерения коменданта Штральзунда и учло их. Тяжелые орудия не были пущены в ход. Таким образом, и этот город был

Допрашивая меня, советские офицеры интересовались главным образом мотивами моего поступка. Наверное, им было бы приятнее услышать, что мои действия продиктованы коммунистическими воззрениями. Но я сказал, что действовал лишь по велению совести. И командующий, генерал Федюнинский, понял это. К моим взглядам и поведению он отнесся с уважением, хотя, согласно правилам, вынужден был объявить меня военнопленным. Через два дня после сдачи города началось наше путешествие в плен.

Сборный пункт находился в казармах на Гюцковерштрассе. Во дворе на теплом полуденном солнышке расположились мои бывшие подчиненные, солдаты гарнизона Грейфсвальда. Теперь они были такими же военнопленными, как я, и не подчинялись больше никаким немецким уставам. Но когда я вошел во двор, они встали и в последний раз отдали мне честь. Никто не произнес нацистского приветствия. Солдаты смотрели мне прямо в глаза. Я почувствовал, что добровольная отдача мне чести после всего происшедшего равносильна для этих простых ребят отказу от национал-социалистского пути, который завел их в тупик. 5 мая 1945 года советский военный самолет доставил меня в Штеттин. Там формировали большой эшелон военнопленных.

Мой спутник главный врач штральзундского военно-морского госпиталя генерал-майор медицинской службы доктор Каниц рассказал о последних днях войны в Штральзунде.

После телефонного разговора со мной генерал Гаусшильд созвал совещание, чтобы обсудить вопрос о капитуляции. Он так себя вел, что все поняли: генерал против капитуляции. Из пятнадцати присутствовавших на совещании представителей вооруженных сил, нацистской партии и городских властей за сдачу города без боя выступил только доктор Каниц. Это делало ему честь, но не имело никакого влияния на дальнейший ход событий.

Доктора Каница и меня поместили в вилле напротив штаба маршала Рокоссовского. Там уже находилось несколько пленных генералов. И каждый день прибывали новые. Настроение – как перед концом света. Одни из этих бывших полководцев взвешивали, не покончить ли с собой: они, конечно, знали за собой вину, боялись возмездия и неизвестного будущего. Другие пытались оглушить себя алкоголем из прихваченных с собою

обильных запасов. Два генерала приветствовали меня с балкона, размахивая початыми бутылками и распевая пьяными голосами:

Пропьем бабку с потрохами, с потрохами, с потрохами...

Я был потрясен. Бесславно кончалась «Великая Германская империя»!

Мрак сгущался. Генералам нужен был козел отпущения, и скоро его нашли. Нет, разгромленные полководцы не хотели признать себя виновными. Виноваты «предатели» и «саботажники». Перебивая друг друга, самые отъявленные из них сыпали примерами: вот, дескать, сколько песку было подброшено в военную машину. Сочиняли бог знает какую клевету. Спасение Грейфсвальда тоже изображали как «предательство».

Казалось бы, нас, офицеров, должно было связывать товарищество, возникшее в совместной боевой жизни. Но с каждым днем я все лучше узнавал подлинную цену этого «товарищества», особенно с того дня, когда нас отправили из Штеттина в Советский Союз.

Что принесет нам плен? Генералы становились жертвами собственного многолетнего науськивания немцев на Советский Союз.

Если не считать меня, наша избранная «компания» состояла только из генералов. Мне особенно часто приходилось выслушивать назидательные рассказы о «героической борьбе за Бреслау», о его «храбром, пренебрегшем смертью коменданте» генерале Нихоффе. Пелись гимны и в адрес других генералов, которые, по мнению высокопоставленных господ, с «трагическим героизмом до конца донесли горькую ношу», борясь «до последней капли крови», разумеется... своих солдат.

Защищая противоположную точку зрения, я доказывал, что уже давно следовало прекратить безумную войну, но наталкивался на непонимание и отпор. Генералы соглашались, что защита Грейфсвальда стоила бы жизни многим тысячам людей, в том числе и раненым в госпиталях, что старый университетский город был бы разрушен, а в исходе войны не изменилось бы ровным счетом ничего. Но все равно большинство генералов отклоняло любую капитуляцию, особенно на Восточном фронте. Ибо: «Порядочный человек, неважно – солдат или штатский, не должен отдавать азиатским ордам в целости ничего, даже уборную». Так рассуждали эти полководцы по пути в плен, после безоговорочной капитуляции «Великой Германской империи»! Да, Геббельс и Розенберг успешно потрудились над мозгами генералов.

Последний комендант Штеттина, некий адмирал, разглагольствовал:

– Точное выполнение приказов фюрера – закон с точки зрения военной дисциплины и чести солдата. Нечего и спорить об этом. И приказ Гитлера относительно «сожженной земли», выполнения которого добивались угрозой смертной казни через повешение и арест всех родственников, этот приказ о защите до последнего человека каждого города, каждой деревни, каждого клочка земли морально оправдан, потому что история должна поведать будущим поколениям о героической гибели германского народа. Пожертвовать Грейфсвальдом, – с пафосом воскликнул адмирал, – было исторически и морально необходимо! Пламя этого города, словно святое знамение, возвестило бы, что каждый немец Третьей империи был героем и умер, как герой.

Отвечать было бессмысленно – этот «храбрый воин» тут же похвастал, каким героем был он сам и как он вместе с лучшими сотрудниками своего штаба ночью, в тумане отправился на машинах на запад.

Цинично и развязно, словно он попал не в плен, а в казино, этот адмирал откровенничал:

– Мне давно стало ясно, что дело кончится тем же, чем в 1918 году, когда я оказался в плену у англичан. Тогда нам, офицерам, жилось в Англии неплохо. Никогда в жизни я не играл так много в преферанс и не пожирал столько жареной картошки. Это и теперь мое любимое блюдо! – захохотал он, держась за живот. – Снова в плен! Ясно, как божий день, твердо, как грецкий орех! И я решил: если уж плен, то лучше жареная картошка у англичан, чем подачки из рук Ивана. Но этот идиот шофер повернул не туда, куда надо. Мы угодили прямо в лапы Ивану. Увы, теперь не дожدهмся жареной картошки! Надо было посадить за руль офицера, а этого болвана оставить в Штеттине. Но что, если бы одна из машин отказала? Надо же кому-то, кто смыслит в ремонте, пачкать себе руки. Проигранная война – не фунт изюма!..

И еще одна забота не давала покоя этому тыловому «герою», угодившему в погоне за жареной картошкой «не в тот плен». Он бежал в серой полевой форме – она лучше маскирует ночью, когда, как известно, все кошки серы. Теперь он злился, что не прихватил с собой синего морского мундира.

– Вы не представляете, как возвышает адмиральская форма. Генерал против адмирала – ничто!

Все общество находило воспоминания этого «картофельного героя» очень забавными. «Бедняге не повезло!» – говорили его слушатели. Никто и не думал; осуждать коменданта Штеттина за то, что он, спасая собственную шкуру, бросил гарнизон. Своих подчиненных они расстреляли бы или повесили за такие дела!

Вот сдачу Грейфсвальда – это они осуждали. «Нарушение дисциплины, низкое предательство по отношению к фюреру»... Я задумчиво глядел в окно вагона. Перед нами открывались бесконечные равнины Советского Союза. Мы ехали долго – дни, недели...

Однажды остановились в крупном, сильно разрушенном городе. В вагон зашли советские офицеры, чтобы проверить, соответствует ли питание и размещение положениям Женевской конвенции.

Большинство генералов вызывающе игнорировало посетителей. Вутман, защебив монокль в глаз, стал демонстративно раскладывать пасьянс. Достоинство надо сохранять и в несчастье, но тут была только глупость, чванство и заносчивость, национал-социалистская спесь по отношению к представителям «низшей расы».

На станциях к поезду приходили жители. Большей частью это были женщины и дети, здоровые, крепкие, в своей обычной одежде: высоких валяных сапогах, ватниках и платках. Они держались спокойно, даже приветливо, ни в чем не проявляя ненависти или желания отомстить. Через переводчика и жестами некоторые старались объяснить нам, что все содеянное мы теперь обязаны исправить честным трудом.

Отношение русских к своим бывшим врагам произвело на меня сильное впечатление. Но мои спутники злорадствовали:

– Поглядите на эту безысходную нужду. У них нет ничего, кроме платков, ватников и калош. В этом они, наверное, и в кровать ложатся.

– В кровать? Они спят вместе с коровами, поэтому так и одеваются.

– Преступная большевистская система не дает им самого необходимого, – шипел генерал Вутман. – Да избавит нас бог от всего этого!

Я был самым младшим по возрасту и званию, но не мог промолчать в ответ на эти слова, рожденные глупостью и высокомерием.

– Система, о которой вы говорите, сумела отбросить нас от Сталинграда и Москвы до Берлина. И бог был с красными, против нас...

Это подействовало, как разорвавшаяся бомба. У генерала Вутмана перехватило дыхание:

– Вас не спрашивают!

Разговор происходил на какой-то станции. Мы сидели на платформе. Генерал-полковник Улекс, самый старший по возрасту и званию, попробовал примирить нас:

– Господа, я думаю, надо оставить это. Если уж говорить о «преступной системе», то лучше посмотреть на самих себя.

И старый генерал заговорил о возмутительной травле его закадычного друга покойного генерал-полковника барона фон Фрича. Улекс с горечью рассказывал, как Гитлер, Геринг и компания приписали главнокомандующему сухопутными силами статью 175 уголовного кодекса{15}. Все поклепы удалось опровергнуть, но неугодного генерала все равно отстранили. Улекс единственный из всех демонстративно ушел в отставку. Остальной генералитет заверил своего изгнанного начальника, что сочувствует ему, но не осмелился противоречить Гитлеру.

Пытаясь понять, о чем мы спорим, возле нашей группы остановился конвоировавший нас советский солдат с автоматом. Он, вероятно, уловил слова «фюрер» и «Гитлер», потому что вдруг вмешался:

– Гитлер капут! Здесь никс Гитлер! Давай вагоны!

Вутман запыхтел от злости:

– Не выйду больше из этого закута! Не хватало еще, чтобы меня, старого генерала, какой-то красный загонял в вагон.

И снова нас везли в глубь страны.

* * *

Однажды в час поверки потребовалось уточнить по документам наши анкетные данные. Каждого опрашивали отдельно. Генерал Вутман снова углубился в свой пасьянс. Его, мол, все это не интересует. Но когда его последняя должность была названа «командир корпуса», он вскочил и оскорбленно запротестовал. Началась невероятная торговля. Этот тучный генерал с моноклем действительно был командиром корпуса – так и стояло в документах. Но перед тем как он попал в плен, корпусу были приданы еще некоторые части. И теперь Вутман настаивал, что был больше, чем командиром корпуса.

– У меня в подчинении было больше корпуса! – кричал он.

Офицер Красной Армии, пораженный тем, что честолюбие может завести человека так далеко, и ясно видевший комическую сторону ситуации, прервал жалкую торговлю. Он задумался. А затем спросил серьезно и скорее грустно, чем с упреком: обратили ли мы внимание на местность, которую мы сейчас проезжаем? Он показал на развалины города и назвал цифру убитых женщин и детей. «Почти генерал-полковник», оторвавшись от пасьянса, мельком бросил взгляд в окно и пренебрежительно проворчал:

– Что поделаешь... Война!

Советский офицер ошеломленно смотрел на нас. Казалось, он потерял дар речи. Затем он сурово произнес: «Мы не хотели этой войны!» – и покинул наш вагон.

– Этому мы показали, больше он не придет! – торжествовали генералы по поводу его «отступления» и своей «победы».

Мне было стыдно.

Один из генералов всегда держался в стороне. Не принял он участия и в этой недостойной сцене. Порядочный и доброжелательный, он производил впечатление образованного человека. Его звали Бек-Беренд. Однажды он сказал мне:

– Зачем вы пытаетесь идти против течения и так усложняете себе жизнь? Мы долго пробудем в плену, и у вас еще будет время решить, с кем вы. Из-за Грейфсвальда не следует делать принципиальных выводов. Эта история скоро забудется. Несмотря ни на что, вы должны придерживаться своих прежних офицерских взглядов.

Он говорил спокойно, продуманно, по-отечески. Я внимательно слушал. Но тут, пытая и отдуваясь, подошел толстый Вутман. Он старательно следил за тем, чтобы я находился в изоляции. Мой собеседник быстро добавил:

– Надеюсь, вы все же найдете правильный путь, путь к нам.

Его слова вызвали у меня новый поток мыслей. Всю жизнь я был преданным солдатом и стремился брать пример со своих старших товарищей и начальников. Но многие из них во время войны, особенно в ее последние месяцы, вели себя недостойно. Ничтожный «картофельный адмирал» был типичным представителем гитлеровского генералитета, как обер-бургомистр доктор Риккельс и гаулейтер Шведе-Кобург были типичными представителями нацистского партийного руководства. Генерал Бек-Беренд более образован, но мыслил столь же ограниченно и солидаризировался с этими «героями». Он не был способен принять новую точку зрения. Его «правильный путь» был тем старым путем, который привел Германию к катастрофе в двух мировых войнах. Я схватился за голову: «Как можно жить с такими взглядами?» В годы плена у меня было достаточно времени поразмыслить над этим. Но еще в поезде мне стало ясно: между такими генералами и мной – непроходимая пропасть.

* * *

Мы прибыли в подмосковный городок Красногорск уже в разгар лета. От станции на грузовиках нас доставили в лагерь под

номером 27.

На склоне холма стояло несколько бараков. Неподалеку – большое водохранилище. Вокруг бараков высокий забор с колючей проволокой, а на углах – деревянные вышки для охраны. Мы попали в первую зону лагеря номер 27, который называли «генеральским». Почти все генералы и старшие офицеры, попавшие в советский плен, прошли через этот лагерь.

В промежутке между двумя заборами, на так называемой «ничейной земле», где находилось управление лагеря, мы ждали завершения формальностей приема. Некоторые ворчали:

– Здесь они нас заживо зажарят на вертеле, никто им не помешает!

– И никто об этом не узнает! Железный занавес опустился за нами и, может быть, навсегда...

Вутман вышел бледный из управления лагеря и прошипел сквозь зубы:

– Эти красные забрали у меня карты.

– Не может быть!

– Свинство! Что я буду делать без карт? Уж лучше повеситься...

«Картофельный адмирал» тут же сунул одному из проверенных коллег свою колоду карт. Он был, страшно доволен, поскольку высокий смысл своей жизни ему удалось спасти, несмотря на «железный занавес».

Я радовался, что, наконец, вырвался из зловонной атмосферы вагона, где всем заправлял Вутман.

В лагере находилось около тысячи военнопленных. Многие жили здесь давно. Некоторые даже несколько лет. Кроме нас, немцев, здесь были венгры, румыны, итальянцы и, позже, японцы.

Немцы преобладали, но нижних чинов здесь не было. Большинство – генералы, старшие офицеры или военные чиновники в званиях, соответствующих генеральским. Многих немецких офицеров я знал раньше. Знакомые со мной здоровались, но не все. Некоторые вначале искренне радовались встрече, но уже на следующий день резко меняли свое отношение: здоровались холодно и принужденно, иногда и вовсе не здоровались. Только убедившись, что за ними никто не следит, они раскланивались со мной.

Почему? Подпольная служба информации уже многих отравила ядом подозрительности и страха. Лишь очень незначительная часть продолжала относиться ко мне по-прежнему сердечно, и среди них подполковник Зенфт фон Пильзах, бывший командир 120-го моторизованного пехотного полка. Его я знал хорошо. Он пережил Сталинград. В плен попал

еще 3 февраля 1943 года. Как многие другие участники Сталинградской битвы, он сделал для себя выводы; ненавидел фашизм, Гитлера, его войну и стал членом Национального комитета «Свободная Германия». В лагере номер 27 он был руководителем этой организации и от ее имени приветствовал меня особенно сердечно. Из газеты Национального комитета он узнал, что Грейфсвальд был сдан советским войскам без боя.

– Вы для нас нужный человек! – заявил он, рассчитывая, что я тут же вступлю в комитет.

Но я решил сперва ознакомиться с целями и задачами Национального комитета. Он согласился, что иное решение было бы слишком поспешным. Зенфт фон Пильзах жил в маленьком домике, где находилась и его канцелярия. Русские называли этот домик «дачей». Такие дома из толстых длинных бревен стоят во всех пригородах и дачных местностях России. Говорили, что раньше этот дом принадлежал какому-то москвичу и служил ему дачей. Места под Красногорском – живописнейшие в Подмоскowie.

Кроме Зенфта фон Пильзаха, в домике жил руководитель Антифа (сокращенно от «Антифашистский актив»). В этой организации объединились все противники фашизма, независимо от мировоззрения, происхождения и служебного положения. Основная их задача в лагере – работа по политическому образованию и перевоспитанию. Организация вела пропаганду среди всех военнопленных.

Зенфта и руководителя Антифа обрадовало мое согласие заниматься изучением политических проблем – ведь многие отклоняли это в принципе.

Я рассказал о своих переживаниях во время поездки. Оба рассмеялись: для них это было не ново.

– Мы знаем этих господ. Они путают заносчивость с достоинством, а упрямство выдают за характер. Теперь вы не одиноки, господин Петерсхаген. Здесь вы найдете товарищей, которые действуют и мыслят, как вы.

– Вы же не знаете, каковы мои воззрения, – возразил я.

– Ну что ж, увидим...

Оба собеседника сердечно улыбались. За годы плена они уже накопили немалый опыт.

Раздался сигнал вечерней поверки. Серый поток военнопленных устремился в гору к месту построения. Все, кроме генералов, – те строились возле своих жилищ.

Наверху старший лагеря принял рапорты старост бараков, записал данные на деревянной дощечке и попытался затем навести порядок в этой огромной толпе. Выстроив всех, он

отрапортовал дежурному советскому офицеру. Дежурный поздоровался, обошел строй и пересчитал всех.

После вечерней поверки ужинали. До десяти можно было гулять, и все старались воспользоваться вечерней прохладой. Был конец июля, и вечера под Москвой стояли теплые, светлые и ясные.

Генералы носили безукоризненные мундиры со всеми орденами и регалиями. Они резко отличались от работающих военнопленных и жили во всех отношениях иначе. Лишь очень немногим был открыт доступ в их избранный круг – большей частью бывшим офицерам генерального штаба, например, подполковнику генерального штаба фон Белову из 71-й пехотной дивизии, полковникам генерального штаба Шмидту и фон дер Шевалери.

Фон дер Шевалери, обладатель старомодных висячих усов, прославился в лагере: обшив французские золотые монеты материей, он использовал их как пуговицы и таким образом скрыл золото. Но не смог удержать язык за зубами и то одному, то другому «доверительно» рассказывал о своей хитрости, пока, наконец, его секрет не стал достоянием советской комендатуры.

Гуляя по единственной широкой улице лагеря, все неизбежно встречались, невольно улавливали обрывки разговоров. Часами офицеры сравнивали послужные списки друг друга и высчитывали: этот был произведен в капитаны в 1913 году, тот, хотя и моложе, в 1912 году... И все лишь потому, что... Да потому, что... Следовало перечисление всевозможных причин: женился на дочери своего командира или на принцессе такой-то...

– Между прочим, интересная была бабенка эта принцесса. Великолепная наездница, постоянно принимала участие в охотах. Но, с позволения сказать, страшна, как смертный грех...

– Да, этого, к сожалению, не скроешь. Но это – чисто внешне...

– А что прикажете делать бедному Мюллеру, подумайте, даже не фон Мюллеру? Попал он, кажется, в 1926 году в самый аристократический кавалерийский полк, где служили одни дворяне. В то время я командовал батареей в том же гарнизоне и все отлично помню. Сперва он попытался произвести впечатление своим моноклем. Результат сомнительный – на этом он заработал себе прозвище «Мюллер с моноклем», сокращенно «М. М.». Затем он пустил в ход шампанское «Хейнкель сухое». Из «М. М.» он превратился, к своей великой досаде, в «Мюллера сухого». Ну, а затем женился на маленькой принцессе. Он был счастлив, считая, что теперь его признали, и смирился со своей новой кличкой

«Мюллер – Высочество». Благодаря супруге он попал в генеральный штаб. К ней мы, естественно, обращались «ваше высочество». Но она махала ручкой: «Я теперь просто Мюллерша». Для нас она оставалась по-прежнему «ваше высочество».

– Да, хорошие времена... В армии Веймарской республики был еще жив старый прусский дух.

– Когда армию увеличили, все резко изменилось. Ведь еще в мирное время любой сморчок-мужлан мог стать офицером.

– Да, эти «фомаки» стали нашей гибелью.

– Правильно. Я уже почти забыл это слово. Такое охотно забывается. – Медленно и педантично он по буквам повторил еще раз: – «Фомак»... Фолькс-официрмит-арбейтер-копф – народный офицер с головой рабочего... – При этом он недовольно покачивал своей седой аристократической головой.

* * *

Вскоре я свылся с внешними условиями жизни в лагере. Жилье было простое и тесноватое. Разумеется, ни одна страна в мире не может разместить с удобствами миллионы военнопленных.

Естественно, что неудобства служили поводом для антисоветской пропаганды. Против злопыхателей выступали члены Антифа. На доске объявлений появились статьи, обсуждавшие эту тему наряду с другими. Были вывешены выдержки из Женевской конвенции о военнопленных, например статья 7, где говорится, что военнопленные в отношении рационов приравниваются к войскам того правительства, которое взяло их в плен. В соответствующих комментариях было доказано, что мы получаем те же пайки, что и московский гарнизон, включая разницу между нижними чинами и генералами.

Но, несмотря на все привилегии, генералы брюзжали просто «из принципа». Им не нравилось, что в заметках Антифа их лагерный быт сопоставлялся с кошмарной жизнью военнопленных в Германии. Бывшие офицеры главного штаба вооруженных сил отлично знали все «особые распоряжения», о которых мне в свое время рассказал старый капитан в госпитале в Сталино. За три месяца до нападения на Советский Союз Гитлер заявил генералитету на совещании в рейхсканцелярии, что поход на восток «будет войной мировоззрений, войной на истребление варваров, азиатов-большевиков». Адмирал Канарис в памятной записке главному штабу вооруженных сил сообщал, что

предписания по поводу обращения с советскими военнопленными не соответствуют положениям Женевской конвенции о военнопленных; во всех современных армиях утвердилось мнение, что ранить и тем более убивать беззащитных бесчестно. Кейтель отклонил эту докладную записку с примечанием: «Возражения возникают из идеи о рыцарском ведении войны. Это означает разрушение идеологии. Поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры».

Дискуссия по этому вопросу взбудоражила лагерь на несколько недель. Самые упрямые, не желая считаться с фактами, избегали деловых споров. Они прибегали к другим методам. Бывший генерал-полковник Йенике, известный своим варварским обращением с мирным населением Крыма, требовал как старший группы, чтобы офицеры, принимающие участие в таких дискуссиях, подвергались бойкоту. Никто не должен разговаривать с «предателями», которые «загаживают собственное гнездо».

Советская комендатура, обычно стоявшая в стороне и и относившаяся к нашим дискуссиям с поразительным терпением, на этот раз вмешалась. Советский комендант упрекнул Йенике в злоупотреблении властью. Он может участвовать или не участвовать в дискуссии, но как старший группы не имеет права настаивать на бойкоте тех, кто честно стремится сделать выводы из самой мрачной главы немецкой истории. Многие приветствовали точку зрения коменданта, считая ее справедливой и вполне умеренной.

Постепенно я познакомился с несколькими членами Антифа, в их числе с последним послом в Норвегии до ее оккупации доктором Куртом Брейером, старым профессиональным дипломатом. Из-за какого-то расхождения с Гитлером он был отозван из Норвегии и как офицер послан в армию.

В хорошую погоду мы с ним всегда брились перед бараками.

– Пора бы и вам вступить, наконец, в Антиф, – напомнил он мне однажды утром. – Неужто у вас не хватит мужества сделать это в генеральском лагере?

Это звучало сурово.

– Не в том дело. Это «анти» мне кажется отжившим. Гитлер уже давно мертв, и его «тысячелетнее царство» погребено. Мне бы хотелось знать новую, позитивную цель.

Он что-то пробурчал, раздумывая.

Вскоре мы вернулись к этой теме. Он рассказал мне, что не только офицеры вроде генералов фон Зейдлица, Шлемера, Бамлера и других, но даже священники пришли к новым политическим воззрениям. Известный священнослужитель доктор

Круммахер после активного участия в работе Национального комитета «Свободная Германия» стал под знамена Коммунистической партии Германии и признал погибшего руководителя коммунистов Эрнста Тельмана. Конечно, это не могло определить новое направление моей политической ориентации.

В сентябре 1943 года был организован «Союз немецких офицеров», который выступал за восстановление мирной, демократической и единой Германии. Такая цель была мне понятна, и я без колебаний вступил в этот союз.

Один из генералов рассказал мне, что страшные переживания под Сталинградом совершенно выбили из колеи многих пленных офицеров и солдат. Их мучил вопрос о национальном долге. Разговоры с известными эмигрантами, такими, как Эрих Вайнерт, Вилли Бредель, Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, помогли им осознать, что война, которую ведет Гитлер, преступна. Национальный долг каждого – быстрее освободить Германию от тягот и последствий фашистского режима и войны. Это подлинно гуманный долг в интересах не только немецкого, но и других народов. Эмигранты и военнопленные всех сословий сошлись на этом и еще до «Союза офицеров» в 1943 году организовали Национальный комитет «Свободная Германия». Его первым председателем был поэт Эрих Вайнерт.

Этим первым борцам за мир нелегко было противостоять потокам грязной клеветы. Неисправимые реакционеры называли их предателями. Но мужество товарищей из Национального комитета преодолело все.

* * *

Обычно после вечерней поверки зачитывали сообщения печати. Мы всегда были в курсе самых важных событий в мире и обсуждали их между собой и на собраниях Антифа. Вообще в Красногорске мы много думали и спорили. В лагере были и кружки. Участие во всем было абсолютно добровольным.

Я участвовал по возможности во всех мероприятиях. Постепенно я ознакомился с послевоенной политикой в Германии, с историей, культурой и экономикой Советского Союза и его народов, а также с русским языком. Реакционеры, конечно, резко отвергали все это. Участников кружков они объявляли предателями, «красными» или приспособленцами, а себя честными, идейными немцами.

О важнейших международных событиях нас информировали.

Мы знали, что три великие державы – СССР, Великобритания, США – договорились на Потсдамской конференции о будущей совместной политике в Германии и что они намерены провести широкие реформы.

Многие даже из генералитета вступили тогда в Антиф или в Союз немецких офицеров. В Нюрнберге шли процессы, разоблачавшие преступную политику гитлеровской Германии. Многие офицеры впервые узнали о существовании тесной связи между крупными промышленниками и вермахтом. Полковник доктор Чиматис, некогда служивший в министерстве рейхсвера, рассказывал, что если какое-нибудь солидное предприятие попадало в затруднительное положение или не было обеспечено заказами, его поддерживало военное министерство. В таких случаях срочно придумывали необходимость перевооружения или введения новой формы одежды. Тяжесть расходов ложилась либо на бюджет армии, либо на плечи ничего не ведавших офицеров. А промышленники в виде компенсации брали на себя расходы по пенсиям высших офицеров из основных управлений военного министерства.

Офицеры управления кадров сухопутных сил подтверждали это примерами. Начальник управления вооружений сухопутных сил генерал Лизе, например, а после войны и командующий 12-й армией генерал Вальтер Венк, выйдя в отставку, стали директорами крупных промышленных предприятий. Венк – это тот самый генерал, который в апреле 1945 года пытался освободить Гитлера из окруженного Берлина, за что поплатилось жизнью много солдат, главным образом молодежи.

Священнослужители тоже занялись уроками прошлого в своей сфере. Они пришли к заключению, что благословение войск перед битвой было ошибкой и что такого рода позорные заблуждения не должны больше повторяться. Поэтому необходимо отделить церковь от государства и ограничить ее функции.

В Красногорский лагерь постоянно прибывали все новые группы офицеров.

– Алло, Петер, старина, ты что ж, не узнаешь меня?

Действительно, я не сразу узнал своего бывшего командира роты Бетхера, в подчинении которого когда-то служил в Потсдаме. Он очень постарел. Это был типичный рубака, любитель выпить, но в общем честный малый.

– Вот так встреча! Как будто сбежались играть в кегли! – подтрунивал он над нами.

Возле него на поленницу дров, разложенных на пригорке, присел генерал Альтрихтер. Он имел звание доктора философии, написал несколько работ и слыл человеком эрудированным и начитанным. Альтрихтер сказал:

– Мы все сели в Потсдаме не на тот поезд, против воли, и абсолютно закономерно высадились в Москве.

– Это лишь внешняя сторона, – отмахнулся Бетхер.

– А для некоторых, мне кажется, и внутренняя, – заявил Альтрихтер. – Вот вам пример – наш Петер, которого я хорошо понимаю. Он еще молод и должен найти контакт с жизнью! Что касается длинного Бото – тут я пасую.

Он имел в виду своего бывшего товарища по полку генерала графа Бото фон Гюльзена, находившегося здесь же, в лагере, и в 1943 году вступившего в Национальный комитет.

– Он даже подписал воззвание пятидесяти генералов, – продолжал Альтрихтер. – Теперь он ведет классовую борьбу и сам себя лупит по своей красивой графской физиономии.

Подхватив мысль Альтрихтера, я заметил:

– После этой катастрофы важнее всего снова поставить Германию на ноги.

– Мой юный друг, – вмешался Бетхер, – бог да сохранит вам столь идеальные устремления. Но мне хотелось бы знать, как мы выиграем войну после такого разгрома?

Как и все милитаристы, Бетхер мыслил возрождение Германии лишь в одном направлении – военном. Он думал только в этой плоскости.

Я сказал:

– Разве война обязательна? Ведь последние две войны были для нас роковыми. Мне кажется, надо искать мирных путей к возрождению.

Он испытующе взглянул на меня:

– Скажите, пожалуйста, Петера уже перевоспитали.

– Но это абсолютно правильно, дорогой мой, – быстро поддержал меня генерал Альтрихтер, заметив, что тон Бетхера мне не понравился. – Я терпеть не могу слово «перевоспитание». Меня можно только убедить. Окончательные выводы я делаю сам.

Бетхер рассмеялся:

– Вспомните Грейфсвальд! Этого гамбургского упрямца я хорошо знаю – ведь когда-то он был у меня лейтенантом в 13-й роте 9-го пехотного полка.

– Здесь можно многому научиться, – сказал я. – Но все же собственное мнение я вырабатываю сам.

– Чему уж тут научишься! – отмахнулся Бетхер.

– К примеру, кое-чему о справедливых и несправедливых войнах.

Доктор Альтрихтер заметил, что об этом у Ленина есть очень интересные мысли.

– Слишком высокая материя для меня! – сказал Бетхер. – Я никогда не вмешиваюсь в политику. В справедливой войне, в войне, которую мы, наконец, выиграем, я, как старый военный, обязательно приму участие, можете не сомневаться. – Эта старая лиса хотела выпутаться из затруднительного положения, как и все, кого не устраивали политически осознанные факты. Он стал нервно обламывать кору с золотистых сосен. – Во всяком случае, нам, старым рубакам, должно же что-то перепасть. Мы дважды подставляли свою спину.

Ему ответил Альтрихтер:

– У меня нет особых иллюзий. Если из этого хаоса мы выйдем новыми путями, солдаты больше не понадобятся.

– Новая жизнь ставит новые задачи и требует напряжения всех сил, – вставил я.

– Да что там говорить! Мне бы только пенсию да поменьше видеть и слышать все это. Или – снова в поход! – Бетхер воткнул палку в песок, резко поднялся и ударил себя в грудь.

– В поход? Зачем, ради кого, против кого? – горячо спросил я.

– На это мне наплевать. Пусть наверху решают. Они умнее нас.

Старый ландскнехт облегчал себе жизнь, сваливая ответственность на кого-то наверху, даже на господ бога, лишь бы продолжать свой поход. А сейчас он увильнул от разговора, сказав, что условился с кем-то играть в преферанс.

– Это, конечно, чепуха, – произнес Альтрихтер, глядя ему вслед. – Чтобы действовать ответственно, надо знать. Мы по незнанию сели не на тот поезд и оказались в Москве. Как долго это может продолжаться?

– Самое страшное, что по роковому пути шел с нами весь немецкий народ, – сказал я в заключение.

Задумавшись, Альтрихтер смотрел в сторону Москвы. Свет, исходивший от советской столицы, озарял вечернее небо. Генерал направился к лагерю. Его хорошее настроение улетучилось. Он презрительно указал на освещенный барак:

– Не думайте, что так просто жить в генеральском бараке. Весь день приходится слушать одну и ту же ерунду. Не представляете, какую чушь там порют. Бетхер еще один из лучших. Он старый вояка и не хочет быть иным. Невыносимо слушать, когда все переворачивают на голову и нашу катастрофу изображают героической эпопеей. Без конца дуются в карты и болтают о событиях давнего прошлого. И так – изо дня в день. Если здесь я сойду с ума, виноваты будут эти люди.

Генерал Альтрихтер был очень подавлен. Ему трудно было заставить себя снова зайти в барак.

– Я хотел бы пригласить вас и его превосходительство посла доктора Брейера. Вы не могли бы передать ему мое приглашение? А теперь – пойду!

Он глубоко вдохнул в себя свежий воздух и вошел в свой «генеральский хлев».

* * *

Жалобы Альтрихтера не удивили меня. Разве я и все остальные не жили в такой же обстановке? Согласно Женевской конвенции генералы пользовались многими преимуществами: лучше снабжались, жили в хороших помещениях, не работали. Лишь немногие работали добровольно. Например, генерал авиации Брандт, изучивший ремесло. Этого маленького человечка с характерным лицом прозвали «Царем»: однажды, когда он зашел в барак с пилой в руках, кто-то с издевкой запел арию из «Царя и плотника»{16}, а потом насмешливо сказал: «Генерал и плотник!» Так родилась кличка. Большинство генералов слонялось без дела и не знало, как убить время. С каждым днем они становились все чудачковатей.

Несмотря на это, все относились к ним терпимо и скептически смотрели на «150-процентных» генералов из аристократических кругов. Как-то я слышал разговор о молодом графе Вальдерзее: «Когда он вернется в имение папаши в Шлезвиг-Гольштейн, старик ему всыплет. А молодой, как блудный сын из библии, отвернется и будет горько плакать. Ведь у отца немало всякого добра! Это же курам на смех, что графы и

генералы вступили в Антиф. Надеются скорее попасть домой или разжиться лишней порцией каши! Не верю я этой бражке. Я не дам себя еще раз продать, как дурак».

Военнопленные любили посмеяться над некоторыми генералами, особенно над «картофельным адмиралом». Свою колоду карт он спас, но до сих пор страдал, что приходится ходить в серой полевой форме. Он проник в лагерную портновскую и установил, что там, как и во всем лагере, высоко ценится табак. На этом адмирал и построил целый «стратегический план». Атаковав жадных до табака портных, он посулил им табачные горы за морской мундир. Один смекалистый парень заключил с ним сделку: адмирал отдает ему годовой паек табака за элегантную синюю морскую форму. Материал был, правда, для других целей, но парень обещал все «устроить». Он снял мерку и потребовал задаток табаком. Адмирал сиял, а портной дымил, как фабричная труба, и оба были счастливы. Но портной обманул адмирала. Он куда-то делся вместе с формой и табаком.

Смеялся весь лагерь. Адмиралу, как и тогда, в Штеттине, «не повезло». Но здесь над ним к тому же издевались. Мрачный, он вышагивал в своей опостылевшей полевой форме с неизменным золотым «Германским крестом».

Этот орден ввел Гитлер во время войны, и все считали его очень неудачным: он был неуклюж, а свастика в середине непомерно велика. Однажды полковник генерального штаба Шмидт, тоже носивший этот нацистский орден, зашел на кухню, что было запрещено. Там работал венгерский еврей Гуцман, всю семью которого убили в концентрационном лагере. Увидев огромную свастику, символ ненавистного ему фашизма, Гуцман потерял самообладание. Все наболевшее и выстраданное поднялось в нем. Он схватил большой половник и, размахивая им, погнался за незванным гостем.

* * *

К зиме нам выдали ватники – практичную одежду, которая великолепно грела. Однажды в ясную морозную погоду, тепло укутанные в ватники, мы сидели на своем излюбленном месте – на завалинке у барака. Стена барака служила спинкой и защищала от ветра. Я обратил внимание, что офицеры приветствуют вновь прибывшего генерала. Это был рослый, широкоплечий мужчина с множеством высших орденов. Офицеры подходили к нему и почтительно представлялись. Зрелище

торжественное, словно королевская аудиенция.

Рядом со мной на солнышке грелся какой-то офицер.

– Кто бы это мог быть? – спросил я его.

Он задумчиво крутил свое обручальное кольцо и, казалось, не расслышал вопроса.

– Это генерал Нихофф, герой Бреслау, – резко бросил мне сидевший рядом с офицером полковник генерального штаба Шмидт.

Камешек в мой огород. Шмидт встал и демонстративно направился к кружку, образовавшемуся вокруг Нихоффа.

– Жалкие герои... – пробурчал мой сосед. – Здесь, в плену, они нагло носят свои награды, а моя жена и дети гниют в братской могиле!

Судя по его выговору, он был из Восточной Пруссии.

– Вот он, убийца моей семьи! – он с ненавистью показал на маленького генерала с «Рыцарским крестом», который, слегка сутулясь, прошествовал мимо нас с равнодушным, холодным выражением лица. – Генерал Ляш, «герой Кенигсберга»! – добавил мой сосед с горькой иронией и снова стал крутить обручальное кольцо.

Каждый думал о своем. Я невольно схватился за «Рыцарский крест», который получил за спасение своего 2-го батальона и потому до сих пор носил с гордостью. Здесь, в Красногорском лагере, ордена считались признаком реакционных воззрений. Я уже порвал с национал-социализмом, пропасть отделяла меня от таких «героев», как Нихофф и Ляш. Мне не хотелось и внешне походить на них. Я медленно снял свой орден и опустил его в карман. Сосед внимательно следил за моими движениями.

– Поздравляю! Вам, как коменданту Грейфсвальда, ей-богу, эта штука ни к чему! А ведь те, другие, знали, что война давно проиграна, и все же...

Он был взволнован и ушел, качая головой.

* * *

Всюду немцы празднуют рождество. И у нас в каждом бараке был венок из еловых веток, а в некоторых даже стояли маленькие елочки. На кухне готовили праздничные обеды. Каждому преподнесли рождественский пирог. Нам впервые разрешили написать домой и передали письма из дому – это было самым большим праздником.

Во время рождества все приглашали друг друга в гости и даже пекли «торты». Это месиво предназначалось больше для

глаз, чем для желудка, – желудки восставали против таких изделий. Приходя друг к другу, каждый приносил с собой «бокал», а хозяин заботился о напитке – кофе или чае и о скамейках.

В один из рождественских дней я вместе с Брейером был у Альтрихтера. Наша встреча состоялась в проходе между двухэтажными нарами. Брейер и я устроились с двух сторон прохода на нижних нарах, а Альтрихтер – из-за своей долговязости – на скамье.

Сперва Брейер рассказал нам о своей деятельности в Норвегии. Накануне нападения Германии на Норвегию ему как послу рейхсканцелярии из Берлина приказала дать в посольстве большой обед, пригласив знатных норвежцев – государственных деятелей, военных, ученых, кроме дипломатических представителей иностранных государств. Это было крайне необычное мероприятие. Гостям собирались показать фильм. Какой фильм и для какой цели – этого до последней минуты не знал и сам хозяин. К своему ужасу, гости увидели бомбардировку Варшавы. На следующий день немцы вторглись в Норвегию. Весь обед был затян, чтобы вызвать у норвежцев психоз страха и сковать волю к сопротивлению.

Внезапно Брейер умолк. Его обеспокоил толстый генерал, который сидел за другим столом. Сейчас он встал и направился к нам.

– За этим типом я давно наблюдаю, – улыбаясь, сказал Альтрихтер. – Вам предстоит вытерпеть его наскок. К сожалению, предотвратить это невозможно, он очень упорен. А я пока схожу на кухню, заварю чай. – Альтрихтер добавил с иронической усмешкой: – Я наизусть знаю все, что он скажет. Избавиться от него можно, лишь заказав какого-нибудь пса.

– Ничего не понимаю, – заметил я.

Толстяк подошел:

– Господа, вы уже завели себе собаку?..

Смеясь, мы отрицательно покачали головой.

– Вот видите! Собаки – спасение одиноких и потерпевших крушение. Уверяю вас! – Толстый генерал поднял руку в знак того, что не хочет слышать никаких возражений. – Мы все потерпели крушение. А я мог бы вас выручить. У меня знаменитое хозяйство, где я вывожу спаниелей. Их родословная идет от Эллы фон унд цу Эльванген и Книбойге.

Называя этот древний рыцарский род, он в последнем слове нажал на средний слог, что придавало всему особенно комичное звучание.

– В родословной записано лишь Элла фон унд цу Эльванген.

Книбойге я еще добавлю, когда вернусь домой. Маленькая Элла совершенно очаровательное существо, – произнес он вполне серьезно, в каком-то экстазе. – Весьма изощренная и похотливая стервочка. Во время течки она ползает на коленях, – толстый генерал изобразил позу своей собаки.

Генерал Альтрихтер вернулся с посудой, из которой валил пар. Толстяк торопливо сунул нам в руки адрес своего заведения и исчез.

– Прошу прощения, что вам пришлось испытать на себе недостойные выходки этого идиота, – сказал Альтрихтер. – Между прочим, я не уверен, что он вернется домой. У этого на вид добродушного «друга животных» руки в крови. Как командир карательного отряда он вешал сотни людей, в том числе русских и других рабочих с Востока, вывезенных в Германию. Его адъютант здесь, в лагере, кое-что выболтал. Скверная история. Во время экзекуций он развлекался. Жертвы стояли под виселицей с петлей на шее, а он махал им и кричал: «Ну, сынок, тебе нравится там?» Теперь он до того умиляется, вспоминая своих собачек, что становится на колени. Не помню, сколько уж раз пришлось выслушивать его бред. Это совершенно невыносимо.

Мы переключились на более серьезные проблемы. Альтрихтер вдруг спросил:

– Как вы думаете, можно предотвратить войну?

– Мне кажется, да, – ответил я после некоторого колебания.

– И вы так смело это утверждаете? Весь опыт человечества говорит об обратном! – возразил Альтрихтер.

– Для меня, во всяком случае, ясно, что войны ведут люди. К сожалению, они слишком опытны в этом. Но мы, особенно мы, старые солдаты, разве задумывались когда-нибудь всерьез над тем, как предотвратить войну? Если мы твердо решим покончить с войнами, то найдем и правильный путь.

– Ну и что из этого? Чистейшая теория! Вспомните нашего Бетхера: он отправится в поход, как только дадут сигнал. Куда – ему безразлично. А ведь он не одинок.

Я еще не знал, как возразить Альтрихтеру.

Тут мне внезапно помог Брейер:.

– Значит, надо изменить воззрения людей. Это одна из задач нашего Антифа.

– Простые люди и так не хотят войны, – снова вступил я в разговор.

– Если великие мира сего, зарабатывающие на войнах, не будут стоять у руля, – подхватил Брейер, – войн не будет. Необходимо, чтобы крупные предприятия перешли в руки народа.

– Хм, хм... – задумчиво пробурчал генерал Альтрихтер. –

Значит, так, как это делают в восточной зоне? Это меня не радует.

– Моя жена то же самое пишет из Грейфсвальда. Все эти преобразования связаны с потрясениями и жертвами, – сказал я.

– Ну вот видите, что я говорил! – вставил генерал.

– Любая операция мучительна, – возразил я.

– А если при этом пациент подохнет?

– Советский Союз совершил эту операцию в 1917 году и перенес еще немало напряженных моментов.

– И вел к тому же войну! – вмешался вдруг толстый собачник. – Простите, мне наплевать на все, что вы тут говорите. Но я занес ваши имена в свой список и забыл спросить: кого вы хотите – самца или сучку, маленькую Эллу? – похотливо спросил он.

Так прозаически была прервана наша бурная дискуссия. Но это не значило, что она завершена.

Пора было идти ужинать. Альтрихтер чувствовал себя очень неловко.

– Этот толстяк скоро вгонит меня в гроб! – прошептал он, выходя вместе с нами.

Мы полной грудью вдыхали свежий сухой зимний воздух.

– А вот и еду несут.

Несмотря на преклонный возраст, Брейер проявлял живейший интерес к пище.

– Сегодня поверки не будет. Еще рано. Зайдите за мной после ужина, мы немного погуляем, – попросил нас Альтрихтер.

На этом мы разошлись.

* * *

С генералом Альтрихтером я снова встретился уже в госпитале. У него разлилась желчь. – как сказал кто-то, оттого, что он «переживает всякую ерунду». А у меня опять не ладилось с легкими, которые были задеты еще во время войны.

Госпиталь находился в добротном здании. В нем было несколько палат с койками и огромными голландскими печами. Одну из палат превратили в столовую для ходячих больных. В госпитале готовили отдельно и кормили лучше, чем в бараках. Возглавляла госпиталь советская женщина-врач. Ей помогали врачи из военнопленных. Среди них был немец по фамилии Гасс и хирург-итальянец, имя которого я запомнил. За больными ухаживали советские медсестры и военнопленные. Хотя часто утверждали обратное, советские и немецкие врачи, санитары и сестры делали для больных все, что могли. Эта неустанная забота

психологически действовала лучше всех лекарств. Для диагностики и терапии в нужных случаях привлекалась клиника Московского университета.

Своего рода *idée fixe*{17} всех советских врачей была чистота. Каждую неделю предпринималось несколько атак на грязь. Из пленных никто этого не любил, потому что на уборку тратилось много воды и все вещи приходилось складывать на койки.

Наш врач была крепкой полной женщиной, внимательной и добросовестной. Я бы не назвал ее сухим человеком, но смеялась она редко, и только один раз я слышал, как она сердилась.

В нашей палате лежал молодой венгерский граф. Он давно страдал катаром мочевого пузыря. Лечение не приносило ему никакой пользы. Однажды его отправили с сопроводительным письмом в Москву в университетскую клинику. Он безумно обрадовался.

– Наконец-то выберусь из лагеря, покатаюсь в метро, побываю в университете. И, – добавил он несколько смущенно, но сияя, – увижу, наконец, женщин!..

Вернулся он, как побитая собака. Ни на один вопрос не отвечал. Не хотел даже рассказывать, что с ним приключилось, и улегся на свою кровать, расстроенный и подавленный.

– Теперь в Москву меня и силком не вытащишь, – сказал один из больных, многозначительно подмигивая.

– Наверное, его там кастрировали, – подтрунивал другой.

Вбежал санитар и предупредил:

– Полундра! Идут!

Действительно, вбежала наш врач, дрожа от ярости, с каким-то документом в руках. Все застыли на своих местах – в таком состоянии мы ее никогда не видели.

Повышенным тоном она резко отчитывала молодого графа. В потоке русских слов мы понимали одно, то и дело повторявшееся: «саботаж». Затем попало и нашему санитару Бруно. Он не сразу все перевел. Бруно, видимо, тоже далеко не все понял и смущенно бормотал что-то маловразумительное.

– Возмутительно! Саботаж!.. Как вам только не стыдно! Черт знает, что такое! Делаешь все, что можешь, а вы так осрамили меня... Это откровенный саботаж!

Позже мы узнали, что там стряслось. Поездка протекала, как было задумано: Москва, метро, университет и женщины! Сотни красивых молодых студенток в огромной аудитории, где была расставлена всякая аппаратура. На стене висел экран, как в кино. На нем во время лекции проецировались контуры мочевого пузыря графа. И тут-то случилась катастрофа. В присутствии желанных представительниц прекрасного пола молодой граф не

смог сдержаться и... оконфузился. Скандал протекал по всем правилам.

Как-то Альтрихтер заговорил об этом происшествии.

– У нас, на «христианском Западе», все половые вопросы рассматриваются как нечто постыдное. Недаром слова «пол» и «плохой»{18} звучат почти одинаково. Для русских это столь же естественно, как и все прочее. В результате здесь ведут себя чище, чем в нашем «христианском мире», где масса половых извращений.

В качестве примера он привел поразившие нас тогда положительные результаты проверки состояния здоровья населения в бывших оккупированных областях Советского Союза.

– Но ведь и Советский Союз частично принадлежит к «христианскому Западу», – вставил я.

– Вы, пожалуй, правы, но есть некоторая разница. Возможно, это связано с тем, что Советский Союз еще в 1917 году отказался от всяких лицемерных фраз, что придало как политическим, так и человеческим отношениям новое содержание. С тех пор здесь все человеческие отношения гораздо естественнее. Врач не понимает всей порочности нашего мира. Поэтому она и объясняет поведение этого графа саботажем.

После госпиталя я снова вернулся в лагерь. Реакционная часть военнопленных вела себя гораздо тише. К концу 1946 года внешний вид лагеря изменился. В Нюрнберге четыре державы совместно постановили, что военнопленным запрещается носить знаки различия и ордена. Я уже давно сам снял свой «Рыцарский крест». Адмирал из Штеттина вздыхал:

– Боже мой! Если бы у меня была моя синяя адмиральская форма, я все равно был бы некоронованным королем в лагере, в этой безнадежной серой действительности!

Время бежало быстро. Мир становился все более пестрым и запутанным. Был пущен в ход «план Маршалла», который должен был оказать экономическую и финансовую помощь «свободным народам мира». На Западе уже в официальных инстанциях стали поговаривать о пересмотре новой польско-германской границы. Вояки почувствовали близость перелома. Они знали новое и очень старое направление: на Восток!

– А за цель и успех отвечают наверху. Мы двинемся в поход, хоть весь мир пойдет прахом.

Как-то вечером мы гуляли с генералом Брейером. Он сказал, что западные державы, по-видимому, стараются отмежеваться от своего восточного союзника. Это было не ново. После паузы он добавил:

– Вот тогда и будет совершенно ясно новое военное

направление. Я не сомневаюсь, что интересы нашего сословия капиталистический мир защитит лучше, чем социалистический.

Мне хотелось посмотреть ему в глаза, но он опустил голову. Его лицо нервно вздрагивало.

– Для будущей политики Германии основное – это интересы всего немецкого народа, а не одного сословия, даже если это сословие, к которому сам принадлежишь, – возразил я. – Вы ведь признали, что круги, стоявшие до сих пор у руля, обанкротились. Вы отлично понимаете, что грозит нашему отечеству, если они снова захватят власть в Германии. Чтобы предотвратить это, вы решили участвовать здесь в политической работе. И я надеюсь, не только на время вашего пребывания в лагере?..

Человек, который был лет на десять старше меня, молчал. Он знал, что я не случайно заговорил с ним так открыто. Накануне он мне рассказал, что жена сообщила ему из Западного Берлина о крупном повышении промышленных акций. Стали поговаривать и о пенсиях. Все это мне не нравилось. Я охотнее читал письма своей жены. Она писала аккуратно, но не о пенсиях, а о своем пансионе.

Чтобы прокормиться, она с 1945 года пустила к себе жильцов на полный пансион. Дополнением к карточкам ей служили наш сад, куры и совершенно не подходящее для нашего общественного положения занятие – кроличья ферма. Мой приятель отзывался об этом весьма неодобрительно.

– Как вы допустили такое! Вы забыли, из какого рода происходит ваша жена!

Я вспомнил ее последнее письмо, которое, по привычке всех военнопленных, носил при себе. Я потянул Брейера к фонарю возле кухни и прочитал ему:

«Дорогой Петер! Сейчас у меня на пансионе пять человек. Это огромная работа, но и радость, потому что все они довольны и благодарны. Вечером я, конечно, валюсь с ног, но мне приятно, что я живу своим трудом. Вернувшись, ты сможешь полгодика отдохнуть. Ах, когда только это будет! Со всем остальным мы уж как-нибудь справимся. Надеюсь, ты снова здоров. Это самое главное!»

– Моя жена не могла бы это делать, – скептически заявил Брейер.

– Но внешне ваша выглядит куда крепче моей.

– Да разве в этом дело!

Я старался больше не говорить на эту тему, чтобы не обижать его. Мы по-прежнему вместе гуляли и вместе изучали русский язык. Но между нами легла какая-то тень. Я не мог разделять его взгляды на труд и социальное происхождение. Я был счастлив,

что жена моя никогда не жалуется и достойно ведет себя в такое тяжелое время. Мне казалось, что это важнее всех акций и пенсий. К тому же она, видимо, нашла признание, потому что сообщила, что власти поддерживают ее советом и оказывают ей помощь, где только могут. И председатель районного совета Рау, много лет просидевший в концентрационном лагере, и ветераны рабочего движения не чурались ни ее, ни других жен офицеров. Старые солдаты моего полка тоже поддерживали жену, чем могли. Альтрихтер вышел из госпиталя. Как мой долголетний сослуживец по Потсдаму, он был знаком с моей женой и ее родными и охотно вспоминал о совместно прожитых годах.

– Хорошие были времена, когда мы служили в стотысячном рейхсвере. Товарищество, высокое мастерство, хорошее образование и прекрасная выправка. Тогда вы были еще молодым лейтенантом, беззаботным и наивным.

Я вопросительно взглянул на него.

– Да ладно, уж все равно. Я, во всяком случае, всегда завидовал вашему беззаботному, ничем не омраченному характеру. Мое поколение такого не знало. На фронтах первой мировой войны, еще молодыми офицерами, мы влачили жалкое существование и были рады, что выскочили невредимыми из всей этой кутерьмы. Стоило окончиться первой мировой войне, как все началось сначала, пошло вкривь и вкось. Но поговорим лучше о приятных временах.

Мои односложные ответы смутили его.

– Может быть, вы считаете, что они не так уж прекрасны?

– Пожалуй, слишком хороши, как мне кажется, когда я оглядываюсь на них и особенно на результаты.

– О, об этом мне и думать не хочется!

– Но думать надо. Если мы этого не будем делать, нам в третий раз придется идти по той же страшной дороге, – возразил я.

– Страшная дорога, не тот поезд... – задумчиво бормотал он. – Пожалуй, это верно. И все это началось сразу же после первой мировой войны.

Альтрихтер продолжал свои исследования о различных религиях, что не нравилось некоторым генералам. Опасаясь, что его вера ослабеет и он вооружится научно обоснованной теорией, они распустили слух, будто Альтрихтер буддист. Тем самым он, как «язычник», перестал существовать для них... Одна забавная история заставила некоторых поверить нелепому слуху. Те, кто ложился в госпиталь, обязаны были сдавать все вещи, кроме туалетных принадлежностей. Взамен выдавалась больничная дезинфицированная одежда. Она состояла из длинного темно-

синего халата. Одевание было удобное и легкое, но недостаточно теплое для прогулок. Альтрихтер постоянно накидывал поверх него серое шерстяное одеяло, которое свешивалось до бедер, как мантия. Если же во время прогулок ему становилось холодно, он обматывал вокруг бедер второе одеяло, которое защищало от холода ноги и было очень похоже на юбку. В таком одеянии высокий стройный генерал с умным лицом аскета действительно походил на буддистского священника. Некоторые ретивые «христиане» перестали с ним знаться. Как-то мы заговорили об этом. Альтрихтер горько улыбнулся. Я спросил его:

– Что все это значит?

– Клевета!

– Зачем? – спросил я, хотя и догадался о причине.

– Закоренелые реакционеры не терпят, чтобы кто-нибудь отваживался самостоятельно мыслить. Они требуют безоговорочно следовать за ними. Вы видите, мои занятия и мои друзья вызывают у них подозрения. Больше всего меня злит их ханжество.

Любопытно, что глупая выдумка о буддизме исходила от Вутмана, Нихоффа и прочих героев, которые сами при Гитлере враждебно относились к церкви, так как этого требовал фюрер. Альтрихтер объяснил мне, почему вдруг эта компания изменила свое отношение к церкви.

– Жаждающий власти генеральный штаб после проигранной в 1945 году войны потерял почву под ногами. Но он понял, что только такая массовая организация, как церковь, вышла из этой катастрофы невредимой. Так вот, они решили, мнимо раскаявшись, вернуться в лоно церкви, чтобы использовать ее влияние на массы.

– Но это же низость, ханжеское злоупотребление!

– Если бы эти иезуитские интриги вели к хорошему, я бы тоже в этом участвовал. Но власть в руках таких людей означает для Германии повторение всех ошибок прошлого.

– Значит, третья мировая война? – спросил я подумав.

– Боюсь, что так, – заключил Альтрихтер серьезно и печально.

* * *

Почта работала регулярно. Нам выдавали почтовые карточки, и я писал на них письма жене в Грейфсвальд или старой матери в Гамбург. В первой мировой войне погибли мой отец и старший брат, во второй – мой младший брат. Теперь, уже много лет, мать беспокоилась обо мне. Такова судьба моей матери, судьба многих

немецких женщин, никогда не желавших войны.

К моей великой радости, жена и мать хорошо понимали друг друга. Мать была женщиной со здравым смыслом и врожденным юмором. Обе женщины обменивались моими письмами.

Вначале разрешалось писать двадцать пять слов. Это очень мало. Позже можно было писать пятьдесят слов, И это не так уж много. Военнопленные искали выхода. Самым простым были сокращения. Но их вскоре запретили. Обратили внимание на то, что верующие в своих открытках просто ссылались на библию: «Псалм 124/1, 5». Тем самым пишущий выражал свою непоколебимую веру в бога, ибо это место звучало следующим образом: «Если б не господь был с нами – воды потопили бы нас, прошли бы над душой нашей воды бурные». Цензура весьма терпеливо относилась к этому. Тогда подобный способ выражать свои мысли переняли и более «деловые круги», ничего общего не имевшие ни с церковью, ни с религией. Появились специалисты, за табак находившие на все случаи жизни цитаты из библии. К их помощи прибегали все «обездоленные и измученные».

* * *

В дачу, которую занимал сначала один Зенфт фон Пильзах, поселили командующего какой-то японской армией. В один прекрасный день в гости к нему зашел бывший генерал-фельдмаршал Шернер. В клане генералов он был, как шершень в пчелином улье. Когда дежурный советский офицер подвел фельдмаршала к выстроившимся генералам, большинство бывших товарищей повернулось к нему спиной. Несколько дней и даже недель о Шернере говорил весь лагерь. Одетый в серый баварский национальный костюм, короткие брюки, с неизменной лейкой, он производил впечатление добропорядочного бюргера. Фельдмаршал всецело посвятил себя уходу за клумбами возле деревянного домика.

Генералы бойкотировали его. Разве эти пленные генералы имели право быть его судьями?.. Они видели сучок в глазу собрата, не замечая бревна в собственных глазах. Обычно они радели о единстве и достоинстве, а тут вдруг устроили базар, не стесняясь советских офицеров. Объявляя бойкот, они винили Шернера вовсе не за то, что он не сразу сдался даже после капитуляции. Нет, вот что они твердили: «Этот выскочка вовсе не генерал. А его фельдмаршальское звание – позорное пятно в истории германского офицерского корпуса!» Орден «Pour le merite»{19} и «Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами»

у Шернера они в грош не ставили. Почему же? Да потому, что в прошлом он учитель и происходил из низов. Сословное чванство не давало им примириться с возвышением плебея до фельдмаршала. И к тому же этот «толстозадый» имел наглость давать по рукам генералам, как бы ни было высоко их происхождение, за то, что они засиживались в тылах. Это уж предел наглости!

Сословная спесь иногда уступала место самоуничтожению. Перед тем как попасть в плен, некоторые генералы успели вышвырнуть свои мундиры, которые раньше они так тщательно оберегали, видя в них символ особой чести и достоинства, и нарядились в солдатскую форму. Этих скользких шук выуживали из барачных, где они, случалось, годами жили под видом простых солдат или унтер-офицеров. Разумеется, этой маскировкой они скрывали нечто большее, чем звание. Один из таких самоуничтожителей после освобождения из плена потребовал за несколько лет выплатить ему в рублях разницу между содержанием солдата и генерала.

* * *

Как-то я сидел на завалинке у барака, грелся на солнышке и читал газету «Известия».

– Ну, что новенького на белом свете? – с этими словами ко мне подсел Альтрихтер.

Я стал ему рассказывать, что было в газете.

– Ох, оставьте меня в покое с политикой. Поговорим лучше о прежних прекрасных днях. Если хотите, даже с критических позиций. Забот у нас тогда не было. Мы были ограждены от инфляции, безработицы и всяких прочих неприятностей, против которых боролся немецкий народ в двадцатые годы. Служба была нелегкая, но замечательная. Требовала всех сил и давала внутреннее удовлетворение. Большинство офицеров не интересовалось политикой, а унтер-офицеры и солдаты – тем более. В этом не было никакой надобности. Ведь мы были вне политики.

– Но это было аполитично! – вставил я. Альтрихтер задумчиво продолжал:

– После первой мировой войны монархию сменила республика, кайзеровскую армию – рейхсвер. Эту новую армию профессиональных солдат создал генерал-полковник фон Сект, аристократ с ног до головы и убежденный монархист. Он определил и состав офицерского корпуса, чуждого и республике и

социал-демократам.

– Значит, армия была не такой уж аполитичной?

– Это трудно утверждать. При исполнении служебных обязанностей никто не выставлял напоказ своих политических воззрений. В этом отношении сам фон Сект служил примером. Он даже выступал за разумные отношения с Советским Союзом.

– Если он делал это от чистого сердца, то вел хорошую политику. Но во всяком случае, политику-то он вел, – вставил я.

– Ладно. В конце концов, Сект возглавлял командование. У него особое положение. Но мы, представители офицерского корпуса, унтер-офицеры и солдаты, были вне политики. Мы не имели права вступать в какую-либо партию, участвовать в выборах. Мы должны были только подчиняться. Где же тут политика?

– Да, мы сами не участвовали в политике. Зато за наш счет политику, к тому же весьма реакционную, проводили другие.

– Это еще надо доказать. Но уж генерал-полковника фон Секта в этом упрекнуть нельзя, – категорически заявил Альтрихтер.

Я на минуту задумался.

– Сект отлично умел пропитать офицерский корпус и всю армию тем духом, какой он считал необходимым. Он понимал, что мы, «аполитичные» солдаты, даже не заметили, как стали отнюдь не аполитичными. Левых мы отвергали. Правых считали националистами. В двадцатые годы, в весьма рискованной ситуации, мы вели себя так, как было угодно нашему высокопоставленному шефу: рейхсвер не задумываясь, даже с восторгом, участвовал в подавлении выступлений рабочих. Но к путчам правых рейхсвер относился «нейтрально», а подчас и сам в них участвовал. Вспомните хотя бы путч Гитлера в Мюнхене в 1923 году. Предателей из тогдашнего пехотного училища командующий войсками помиловал. Разве это не политика?

Альтрихтер что-то пробурчал себе под нос.

– Сект был умен, но умел мастерски маскировать свои политические цели перед нами, «аполитичными» солдатами. Только один раз этот холодный, расчетливый человек дал себя увлечь – в 1926 году, когда принял в армию принца Вильгельма.

– На этом он и споткнулся. А его преемники были уже иной формации. Но перемена в руководстве не повлияла на дух офицерского корпуса и положение армии. Ежегодно во время осенних маневров все восхищались крошечным рейхсвером. Это были лучшие времена моей солдатской жизни, – со вздохом сказал генерал Альтрихтер и не без гордости продолжал: – Высокая выучка стотысячной армии создавала ей авторитет и

внутри и вне страны.

– Но этими качествами армии злоупотребили помещики и промышленники, чтобы задушить республику!..

Из так называемого «очага культуры» в это время вышли члены Антифа, среди них Брейер. Он был обозлен докладом графа Вальдерзее «Тридцать лет советской внешней политики». По его мнению, все, что сообщил этот юнец, было крайне мелко. Целый час болтал он об истории германо-советских отношений, даже не упомянув о Рапалльском договоре.

– А мы тут предавались воспоминаниям, – обратился к нему Альтрихтер. – Вспомнили и о нашем уважаемом шефе – генерал-полковнике фон Секте. Между прочим, он тоже ценил хорошие отношения Германии с Советским Союзом, – сказал Альтрихтер почти благоговейно. – Монархист Сект был таким реалистом, что его не шокировали «красные».

– Это, пожалуй, самое правильное, – сказал Брейер. – В любом случае – вчера, сегодня или завтра – мы были, есть и будем соседями колоссального русского государства.

Он начертил на песке карту:

– Обратите внимание: по размерам вся Западная Европа – просто карликовый довесок к этому огромному массиву. А если добавить сюда и Азию, то смехотворный аппендикс. Убей меня бог, я не коммунист. Но каждый, кто стоит обеими ногами на земле, придет к тому же: Германия может существовать, лишь поддерживая хорошие отношения со своим восточным соседом. Все остальное нереально и опять приведет к краху. Интересы нации, прежде всего экономические, требуют дружеского или, по крайней мере, разумного сотрудничества с Советским Союзом.

Мы спорили долго и пришли к выводу, что Потсдамское соглашение облегчает осуществление разумной политики мира, а политика «с позиции силы» определенных кругов Америки и Германии противодействует этому.

– Но семьдесят миллионов немцев могут в конце концов проявить собственную волю, как нация! – сказал я.

– Да их просто-напросто морально растлят, – процедил Брейер вымученно, словно ему стало не по себе.

– Мне кажется, среди нас, бывших офицеров, найдутся патриоты, которых не ослепят ни доллары, ни высокие должности, – возразил я. – Мы уже достаточно за все заплатились.

– Вообще-то, пожалуй, так. Но офицерский корпус выпестован привилегированным сословием и предан ему, – сказал Альтрихтер. – Правда, падение монархии лишило его политической силы, но полководческим искусством владеет

только он. Ведь это свойство исключительно представителей высшего сословия.

Я не мог с этим согласиться и напомнил о руководителях Красной Армии – большей частью это выходцы из рабочего класса и крестьянства, но силу и мощь советских войск мы испытали на собственной шкуре.

– Да, что и говорить, – пробормотал Альтрихтер. Когда я напомнил о генералах Наполеона, которые в начале французской революции были фельдфебелями, парикмахерами, актерами и разносчиками, этот начитанный, образованный человек рассердился на самого себя. Он взглянул на меня серьезно, почти грустно:

– Действительно, за деревьями не видишь леса. Ситуация похожа на 1789 год. Мы переживаем становление иного мира. Наступает новая эра. Как бы то ни было, даже если ты принадлежишь к старому времени и не любишь нового, оно все-таки наступило. И с этим приходится считаться!

* * *

Зенфт фон Пильзах все больше втягивался в изучение религиозных вопросов. Его настольной книгой стал «Новый завет». Со времен Сталинграда он перенес немало, но по-прежнему верил в светлое будущее и был всегда спокоен. Добрый товарищ. От политики он отошел. Ему казалось, что счастье человечеству принесет только истинно христианский дух.

– Но нельзя же использовать религию в политических целях, – вставил я.

– Само собой разумеется. Это предпосылка. Я и в период гитлеризма стоял на стороне «Приверженцев церкви»{20}.

– Значит, вы признаете, что разделение церкви и политики вовсе не так уж естественно. Иначе не существовало бы «Приверженцев церкви». Ведь противилась же она использованию религии в политических целях так называемыми «немецкими христианами».

– Естественное стремление каждого истинного христианина, который все это пережил, – заявил Зенфт.

Он считал, что христианство может преодолеть все разъединяющие людей политические преграды.

– А вот в лагере заметно противоположное настроение.

– Вы имеете в виду недоразумение с командованием лагеря?

– Да не только это.

Случай произошел следующий. При распределении

помещений командование лагеря в первую очередь всегда обеспечивало культурные мероприятия. Наших верующих возмутило пренебрежение к религии, и они пожаловались советскому коменданту. Он заметил, что культурные мероприятия посещают все военнопленные лагеря, а церковные – лишь небольшая группа. Гораздо демократичнее отдавать, предпочтение интересам большинства.

Теперь «христиане», пожаловавшиеся коменданту на своих немецких товарищей, что было несовместимо с национальным достоинством, втихомолку ругали разумное решение коменданта.

«Дядя Густав», долголетний староста Красногорского лагеря, должен был все брать на себя. Густав Коппенхаген, начав службу унтер-офицером, дослужился до подполковника. Он принадлежал к пяти первым, получившим золотой знак отличия за участие в ближнем бою. Храбрец на фронте, «дядя Густав» и здесь воевал вовсю. Изю дня в день он много лет нес нелегкие обязанности немецкого коменданта лагеря, спокойный, рассудительный, справедливый.

Однажды, прохаживаясь по склону, где были сложены дрова, Зенфт стал рассказывать мне о своей молодой жене. Он женился незадолго до сталинградской катастрофы и больше не видел ее.

– Шестидесятая дивизия в полном составе, – пошутил Альтрихтер, увидев нас, бывших полковых командиров, своей целиком погибшей 60-й моторизованной пехотной дивизии.

– Присоединяйтесь к нам, а то у нас недостает командира дивизии!

– Мило с вашей стороны, дорогой Петер. Кстати, мне кажется, что пора, наконец, рассказать нам о Грейфсвальде.

– Об этом он упорно молчит, – поддержал его Зенфт.

– Почему? Вы жалеете о своем поступке? – спросил Альтрихтер.

– Нет, не в этом дело. Самое важное вы знаете: Грейфсвальд остался цел и население перенесло куда меньше горя, чем в других городах. А остальное не столь важно.

Была в лагере номер 27 и попытка бегства. Группа военнопленных после многомесячной кропотливой работы прорыла подземный ход под забором с колючей проволокой. Начало хода было укрыто от взоров госпитальным баракom. Там шел ремонт, и никто не обращал внимания, что военнопленные залезают с инструментами под барак. Выход устроили по ту сторону забора, точно между двумя вышками.

Глубокой ночью беглецы, как кроты, проползли по подземному ходу и вышли из него. Несмотря на новолуние, ночь была очень ясная, звездная. И когда беглецы попытались

незаметно переплыть озеро, часовые обнаружили их.

После этого режим в лагере, естественно, стал более строгим.

* * *

Регулярно читая газеты, мы узнали о предложениях Советского правительства по поводу мирного договора с Германией. Антифашистский актив собирал подписи под резолюцией, одобрявшей эти предложения. Большинство военнопленных охотно подписало резолюцию, в том числе и майор авиации Граф, награжденный «Рыцарским крестом». Он сделал это добровольно, без всякого нажима. Это была очень деятельная натура. Граф не уставал рассказывать, как и сколько самолетов он сбил, как солдаты армий западных держав-победительниц разграбили и разгромили его квартиру и так далее. Вернувшись из советского плена в Западную Германию, воздушный ас утверждал, будто его вынудили подписать резолюцию; в воздухе он проявлял, видимо, больше мужества.

Бурные дискуссии вызвало объединение в тогдашней восточной зоне коммунистической и социал-демократической партий в Социалистическую единую партию Германии. Те из офицеров, которые обычно подчеркивали, что ничего не смыслят в политике, вдруг поняли значение этого события и весьма определенно выразили свое отношение:

– В наших западных зонах мы этого ни в коем случае не допустим, да и добиться этого, вероятно, будет не так уж трудно. Руководителей социал-демократии мы подкупим, как это сделали в свое время с Эбертом, Носке и другими. Коммунистов же постараемся отстранить от дела, а лучше всего – совсем убрать. Придет время – будем знать, как действовать.

И они самодовольно ухмылялись, уверенные в успехе. А затем продолжали утверждать, будто «ничего не смыслят в политике», а тем более о ее «продолжении иными средствами». Об этом здесь говорили много, пожалуй, даже слишком много.

События прошлого непрерывно пережевывались, страсти подогревались. Были любители воскрешать мрачные тени минувшего, восстанавливать в памяти выигранные бои. О проигранной войне редко кто заговаривал, почти никто не вспоминал и о ее преступном начале. Война объявлялась ниспосланной богом, словно такое же естественное явление, как рождение и смерть. Реакционеры считали, что критически относиться к ошибкам прошлого – значит предавать Германию.

Но говорили не только о минувшей войне, поражения в

которой разбирались так, словно это были победы. В умах «специалистов» уже планировалась будущая война. Каждый с роковой тщательностью старался что-нибудь придумать в своей области. Тяжело было слушать разговоры этих стратегов двух проигранных мировых войн. Иногда, впрочем, были и забавные эпизоды. Вот комичный случай, героями которого были два генерала.

– Если бы вы были Сталиным, – начал один генерал, – а я вашим начальником генерального штаба, то я бы вам сказал...

– Можете говорить, что угодно, но, пожалуйста, не называйте меня «товарищем Сталиным», – запротестовал второй генерал.

– Ну ладно, тогда так: «мой генералиссимус»...

Второй генерал удовлетворенно улыбнулся и стал внимательно слушать.

– Я предлагаю немедленно оккупировать всю Западную Европу. Наши танки, не встречая серьезного сопротивления, продвинулись вплоть до Атлантики, и весь мир окажется у наших ног.

При этом начальник «красного генерального штаба» гордо ударял себя в грудь.

– Увы, это верно, дорогой мой. Но я, к сожалению, не генералиссимус, а нахожусь в плену и целиком завишу от этого человека.

Им и в голову не могло прийти, что такое государство, как Советский Союз, никогда не использует свою силу для завоеваний. Их мышление не выходило за пределы милитаристского. Лишь немногие генералы нашли в себе мужество пересмотреть свои старые воззрения.

Мне захотелось снова поговорить с Альтрихтером, и я мимоходом заглянул в генеральский барак. Там жизнь шла своим чередом: одни играли в карты, другие болтали, кое-кто читал или писал. Помещение производило впечатление такого же чистого и ухоженного, как его жители. Не успел я открыть рот, как кто-то нарочито громко произнес:

– До чего противные насекомые клопы! Сперва они коричневые, под нажимом становятся ярко-красными и испускают вонь до небес.

Это был мой прощальный визит к генералам в Красногорском лагере. На следующий день меня с эшелонам отправили в Моршанск.

Дорога заняла примерно две недели. Наш новый лагерь номер 6064, расположенный довольно далеко от города в густом лесу, был гораздо больше Красногорского. Внутри лагеря – несколько рощ и даже озеро. Это был трудовой лагерь, преимущественно для солдат. Работали в лесу и на полях. Там не было такой сплоченной реакции, как в Красногорске, лишь отдельные реакционеры выделялись своими смехотворными замашками. Как знак своего мировоззрения и сословия одни носили черно-бело-красные кокарды{21}, другие монокли, третьи – и то и другое. Солдаты смеялись:

– Пусть-ка доберутся домой! Там им многое покажется чудным.

У старших офицеров был свой лагерьный психоз: они строили виллы, конечно, на бумаге. Над этим «трудились» неделями. Архитекторы и солдаты – строители по профессии, вычисляя количество кирпича, цемента и дерева, необходимое для будущих вилл, зарабатывали табак, в крайнем случае – махорку. Ухмыляясь, солдаты говорили:

– Что касается вилл, то этому пришел конец. Наступит время, когда эти голубчики будут рады, что живут в сарайчике, а накрываются газеткой, вроде «Гамбургер фремденблатт»{22}. Пусть сперва восстановят Германию, которую они разрушили. Вернемся домой – я для них палец о палец не ударю.

Заметной фигурой в лагере был старый подполковник Маурер, призванный во время войны из запаса. Маленький, седовласый, живой, он был профессором ботаники и любил читать лекции по своему предмету. Их охотно слушали. Все любили его. Искренний, скромный, он говорил все напрямик и был неизменно любезен. Когда он согласился сотрудничать в Союзе офицеров, реакционеры отвернулись от него.

Альтрихтер и Брейер остались в Красногорске, поэтому изучение русского языка я продолжал с профессором Маурером. Правда, времени на это у нас оставалось мало. Постепенно бараки сносились – лагерь собирались расформировывать, и требовались все наличные рабочие руки. В колхозе я работал переводчиком. Мне приходилось разговаривать с агрономами.

– Мы вам ничего плохого не сделали и не собирались делать. Вы сами многое разрушили и теперь должны помочь нам восстановить все. Это необходимо. И тогда мы станем друзьями – навсегда! – Такие слова я слышал неоднократно. Говорилось это спокойно, уверенно, без ненависти.

Военнопленным, которые хорошо работали, колхозы подчас давали то огурцы, то помидоры, то картошку.

– Кто работает, должен есть, – обычно говорили они, Я

попадал порой в неловкое положение, если кто-нибудь безудержно ругал советских людей, а меня внезапно спрашивали:

– Что он говорит?

Помню случай во время сбора помидоров. Верхние плоды снимали еще зелеными на засол.

– В этой злосчастной стране даже помидорам не дают дозреть. Все равно – и так, мол, сожрут! – ругался кто-то.

Мне было стыдно переводить это, и я быстро придумал:

– Мой товарищ спрашивает, как вы засаливаете помидоры.

– Почему же тогда он ругается?

Люди чувствовали, что ни тон, ни жестикация не соответствуют переводу, но не заостряли на этом внимания. Наши хорошие отношения редко нарушались.

* * *

В бараке я находился, так сказать, между огнями двух мировоззрений. Справа был Зенфт, слева – молодой офицер генерального штаба. Между ними случались резкие расхождения, но ссор не было. Их связывала продолжительная деятельность в Национальном комитете «Свободная Германия». Майор генерального штаба прошел антифашистские курсы и знал марксистскую литературу так же хорошо, как Зенфт – библию. Оба упрекали друг друга в догматизме. Юный генштабист был искренен и жизнерадостен, а Зенфт, напротив, – замкнут и сдержан. Соответственно протекали и их дискуссии.

Зенфт не выносил германского генерального штаба. Желая уколоть майора, он называл генштабистов «богоотступниками». Но попадал впросак: майор и сам был нелестного мнения о своих коллегах – нацисты убили его близкого родственника. Кроме того, работая в генштабе, он узнал закулисную сторону жизни. Все это рано разбудило его совесть. Ясный ум майора, его способность делать смелые, решительные выводы помогли ему избавиться от мрачного наследия прошлого. Он обеими ногами стоял на земле, а значит, был на стороне прогресса. И Зенфт и он – оба сожалели, что западные державы не поддерживали в Нюрнберге советское требование признать немецкий генеральный штаб преступной организацией и что повешены были лишь отдельные его представители.

– Генеральный штаб до последней минуты целиком был в распоряжении нацистских преступников. На его совести не только мой родственник, но и множество ни в чем не повинных людей, – сказал майор.

– В кайзеровской Германии злосчастный союз трона и алтаря находил полную поддержку генерального штаба. Он использовал религию для своих милитаристских целей, – заявил Зенфт.

– «С нами бог»{23}... на пряжке ремня! – майор генерального штаба, смеясь, хлопнул себя по круглому животику, по тому месту, где обычно находилась пряжка.

– А когда нацистам не понравилось христианство, генеральный штаб вдруг оказался противником религии! – зло добавил Зенфт.

– Да, немецкий генеральный штаб всегда оказывался на месте, когда речь шла о завоеваниях. В этих случаях мораль беспокоила его меньше всего. Вероятно поэтому, несмотря на опыт и навыки, он выигрывал лишь отдельные сражения, но зато проигрывал целые войны. Он не признавал мира, отвергая тем самым единственную возможность избежать поражения и не проиграть войну. Аминь. Я все сказал.

Тут Зенфт фон Пильзах был целиком на его стороне.

* * *

Воскресное утро. Все бегут через лесок к северной стороне лагеря. Можно подумать, что там бесплатно выдают пиво. Идем туда. Вблизи наблюдательной вышки вместе с забором и колючей проволокой вывернут деревянный столб. Часовой направил туда свой автомат. За толпой больше ничего не было видно, и я начал протискиваться в передние ряды. В проломе забора застрял лось. Убивать лосей запрещено – значит, его надо освободить, а это не так-то просто. Мы с интересом разглядывали темно-бурого гиганта почти в два метра ростом. На рога ему набросили петлю. Вот когда разгорелись охотничьи страсти, начались бесконечные рассказы. Время от времени доносился скрежет металла – это разрезали колючую проволоку. Огромный лось ушел в лес невредимым. О происшествии еще долго говорили. Утверждали, что этого лесного гиганта прижали к забору волки. Работавшие в лесу пленные подтвердили, что волки в здешних местах встречаются. Разве вы не слышали, как они воют по ночам?.. Охотники оживились. Каждому стало чудиться, что он слышит вой волков на звериной тропе. Некоторые даже утверждали, будто видели хищников возле самого лагеря.

Ночью мы спали большей частью на воздухе. Остряки, не упуская случая, решили выть по-волчьи. Боюсь, что и жизнерадостный майор генерального штаба не оставался в стороне. Ярые охотники прислушивались к вою волков, а

«остроумные волки» подвывали. Игра затянулась, и ночью никому не стало покоя. Тогда из самых храбрых военнопленных сколотили отряд «истребителей волков», и вскоре шутка прекратилась. Правда, еще один раз «волки» основательно повыли, а потом вой слышался только в непогоду.

* * *

Зенфт снова попал в госпиталь.

– Это болезнь психическая. Он зашел в тупик, – сказал мой сосед, молодой майор генерального штаба. – Сегодня я могу говорить откровенно – раньше мне не хотелось обижать его. Зенфт стоял в оппозиции к национал-социалистской политике по сугубо личным мотивам, не уяснив себе корень зла. Только поэтому он и оказался в Национальном комитете. Теперь в мозгах этих господ, с их поверхностными представлениями, кое-что прояснилось. Они поняли: новая Германия означает гибель их старого любимого мира. Они не хотят расстаться с ним и остановились на полпути. А Зенфт уходит в потусторонний мир.

Молодой большеголовый майор вовсе не так глуп. Когда он курит свои толстые самокрутки, у него появляются занятные мысли.

– Таких людей я называю мелкими политическими жуликами. Их внешний отход – отнюдь не внутренний поворот. Он вызван личным разочарованием. Эти люди против Гитлера, некоторые даже ненавидят его, но только потому, что он проиграл войну. Они готовы начать новую войну, если она обещает успех, и не желают иного пути. Я знаю причину.

Он испытующе взглянул на меня.

– В чем же дело?

– Они не признают, не понимают исторической роли рабочего класса.

– Альтрихтер сказал бы: «Как вы политически грамотны!»

– Старая школа не хочет знать об этой общественной силе и ее закономерном развитии. Ее последователи застыли на том, что историей руководят рок и бог. И у них нет ни мужества, ни желания войти...

– Прошу прощения, – прервал майора чей-то голос сверху. – Я хотел бы немного поспать.

Свесившись сверху, какой-то полковник еле сдерживался. Разумеется, он разозлился вовсе не из-за того, что мы прервали его послеобеденный сон. Это чувствовалось по тону, каким было сказано «прошу прощения». Я поднялся, чтобы уйти, но

полковник сверху снова заговорил:

– Прошу прощения, но мне невольно пришлось быть свидетелем вашего разговора. Разрешите сделать одно замечание. Из собственного опыта...

– Пожалуйста, не стесняйтесь.

Не обратив внимания на дерзкое разрешение моего товарища, полковник серьезно сказал, обращаясь ко мне:

– Моя жена живет в восточной зоне. Если бы вы знали, как плохо с ней обращаются.

Мы вопросительно взглянули на него.

– Ей сорок лет, ее заставляют работать. И вот она добывает себе кусок хлеба, работая уборщицей!

Лицо полковника исказилось. Чтобы избежать нелепого спора, я подтолкнул молодого майора к выходу.

– Да дайте же мне хоть табак взять! – майор схватил лежавшую на нарах консервную банку – портсигар.

– Скажите, пожалуйста, эти господа не любят работать, – сказал он мне, когда мы вышли. – Они предпочитают проектировать свои будущие виллы. Вопрос о том, ставить ли ванну в одном помещении с уборной, волнует их месяцами. Они продумывают все, до последнего винтика. Но о людях, которые должны строить им эти дома, не вспоминают. Они не хотят и слышать, что надо зарабатывать на жизнь собственным трудом. Это они считают варварством. Да и ваш друг Брейер не лучше, поверьте мне. Когда оправдали военного преступника фон Папена, вся компания реакционеров явилась с поздравлениями в барак к его племяннику, тоже фон Папену. Там был и Брейер. Потом он уверял, что выразил Папену лишь чисто человеческую радость. А ему следовало бы вместе с нами протестовать против политически неправильного решения суда. Как и Зенфт, Брейер при Гитлере был в опале. Вот почему он стал его противником. Но отнюдь не антифашистом. Скорее «кашистом», – с издевкой заключил он, пользуясь лагерной кличкой любителей добавочных порций каши.

* * *

Наш лагерь становился все меньше. Бараки сносились, и мы получили неограниченное количество дров. Складывая деревянные обломки в ямы, мы разводили костры и варили на них кофе, а иногда и курочку, кипятили чай. Кроме продуктов питания, табака и мыла, нам выдавали содержание в рублях, и это давало возможность кое-что прикупать.

Вскоре я снова оказался в пути. На этот раз, помнится, ехали три недели. Куда – как всегда, неизвестно. Неисправимые оптимисты утверждали: домой. Но это был не эшелон репатрируемых, а транспорт военнопленных. Снова мы попали в Москву. На какой-то сортировочной станции наш состав без конца перегоняли с места на место. Женщины и девушки в ватниках проверяли и смазывали тормоза нашего поезда. Они желали нам скорей вернуться домой. Я перевел им жалобы моих нетерпеливых товарищей: давно пора отправить нас домой. Женщины отвечали:

– Мы вас не звали. Вы могли вовсе не приезжать сюда – так было бы лучше и для вас, и для нас.

Ничего не возразишь против такой ясной, простой логики.

Из Москвы нас повезли на восток. Последние иллюзии испарились. Вчерашние оптимисты мрачно пророчествовали:

– Значит, все-таки Сибирь!

Но их опасения не подтвердились. Через несколько дней мы прибыли в Кинешму – приволжский районный город, не больше Грейфсвальда, но с промышленными предприятиями.

Большую часть пленных нашего эшелона куда-то быстро увели. Осталось десять – двадцать человек, чтобы убрать в вагонах нашего поезда. Остался и я. Через час мы на грузовике попробовали догнать остальных, но они уже уплыли на пароходе.

– Ну что ж, поедem со следующим! – сказал советский старшина и закурил папиросу. Судя по его спокойствию, мы решили, что следующий пароход будет через полчаса. Увы, по расписанию он должен был прийти ровно через восемь часов.

Дело происходило в прекрасный осенний день 1948 года. Мы расположились на крутом берегу реки и, дожидаясь последние сухари, любовались спокойной, величавой Волгой. Все наши продукты были отправлены на пароходе. Вдруг пришла неожиданная помощь.

В городе разнесся слух, что появились военнопленные немцы. И «злые русские» принесли нам поесть. Мы недурно провели этот день. Только и разговору было, что о мире и дружбе, особенно с Германией. Русские не понимали, почему немцы разделены. Если бы немецкие трудящиеся договорились между собой, единство Германии и прочный мир были бы обеспечены. Эти люди больше, чем многие из нас, были заинтересованы в мирном, демократическом развитии Германии.

– Домой! Домой! – кричало советское население, но военнопленные недоверчиво отмахивались.

Слово «домой» знали все. Но нам казалось, что сейчас на это меньше всего надежды. Через несколько недель станет лед и

навигация прекратится примерно на полгода. А ближайшая железнодорожная станция в сорока километрах от лагеря. Значит, еще одна зима вдали от родины. Такая перспектива угнетала нас.

Ровно в пять часов вечера прибыл большой колесный пароход, предназначенный для дальних рейсов. На нем преимущественно спальные места. Многочисленные пассажиры расположились, как дома. Большей частью это были деревенские женщины с детьми, ездившие в город за покупками или в гости. Красота природы, звездная лунная ночь над Волгой, разношерстная толпа на пароходе оставили незабываемое впечатление. В двух тысячах километрах от родины мы затянули немецкие народные песни. Пассажиры аплодировали нам, потом стали петь свои русские песни. Все было как-то очень домашнему. Началась бойкая обменная торговля. Кому-то захотелось молока. Женщины рассмеялись, пошептались друг с другом и обещали достать. Одна куда-то отправилась и вернулась с полногрудой девицей:

– Вот у нее много молока.

Они шутили и над нами, и над девушкой с огромной грудью, которую, кстати, совсем не смутила эта грубоватая выходка. Мы рассмеялись, но молока так и не получили.

В лунном свете по обоим берегам Волги сверкали купола церквей. Я спросил, действующие ли это церкви. Мне ответили, что богослужение идет повсюду.

Лагерь, в который нас привезли, был выстроен еще в 1905 году для политических заключенных. Он похож на укрепленный замок, созданный, казалось, на вечные времена. Таких добротных помещений я еще нигде не видел.

Как и в большинстве лагерей, бани здесь были турецкого типа. В две деревянные шайки наливали горячую и холодную воду, а мылись на длинных широких скамьях. Из огромных котлов брали воду, чтобы окатиться. Холодное и горячее обливание, настоящий лечебный душ а ля Кнейпп{24}.

В этом лагере был свой курьез. Во время каждой поверки выстраивался лагерный оркестр, и советский комендант лично приветствовал нас словом «здравствуйте».

В день нашего прибытия весь лагерь находился на уборке картофеля. Вскоре и мы присоединились к старожилам. Земля здесь, правда, не такая плодородная, как чернозем Тамбовщины, но картофель родится на ней превосходный. Работавшие на уборке по вечерам получали добавок – картофельное пюре. Мы быстро вживались в новые условия. Правда, у ворот стояла зима, и мы боялись ее, зная, что в Поволжье она длинная и холодная.

Хмурые, мрачные, мы усердно готовили к зиме свои бараки,

затыкали паклей дыры, вставляли зимние рамы, прокладывая между окнами мох. Даже самые упорные оптимисты приумолкли. Они подчинились твердой и горькой логике, что Иван не напрасно несколько недель вез нас в «сибирский лагерь».

Я уже подыскивал квалифицированного переводчика, чтобы за табак продолжить занятия русским языком.

И вдруг, совершенно неожиданно, перед самым наступлением зимы раздался долгожданный клич:

– Домой, домой!

В страшнейшую выюгу мы отправились вниз по Волге, которая местами уже была скована льдом. На этот раз через всю Кинешму мы прошествовали со знаменами: красными советскими и нашими черно-красно-золотыми. Жители приветливо махали и кричали, радуясь вместе с нами:

– Домой! Дружба!

Даже самые черствые сердца забились сильнее. У полковника, этого закоренелого реакционера, с чьей женой в восточной зоне так «плохо обращались», заставляя работать, был растерянный вид. Он бормотал:

– Если бы все были такие...

– Ну, конечно! Их специально для нас пригласили. Потемкинские деревни! – пошутил я.

Он понял мою шпильку и смутился. Впрочем, он так и не изменился.

До Франкфурта-на-Одере нас сопровождала советская охрана. Встретив первых немецких граждан по ту сторону Одера, мы набросились на них с вопросами.

– Конечно, многое изменилось. Сами увидите. Работы хоть отбавляй!

До Берлина мы ехали в одном эшелоне, а оттуда – каждый в свои родные места. Я прибыл в Грейфсвальд последним ночным поездом. По пустынным улицам спящего города я шагал со своим свертком домой. Меня остановил какой-то мужчина с ручной тележкой.

– Я вас знаю, господин полковник. С 1945 года. Мы сохранили о вас добрую память.

Он довез мои пожитки до дома. Не знаю, кто оказал мне этот сердечный, благожелательный прием.

Для жены мое возвращение было совершенно неожиданным, хотя и долгожданным сюрпризом.

Когда после долголетней разлуки возвращаешься на родину, прежде всего тебя захлестывает все личное, интимное. Так случилось и со мной. Многие навещали меня, я бывал в гостях. Но больше всего времени я проводил с женой. Она жила без меня молодцом – и дом и хозяйство были в полном порядке.

Оставшиеся в городе семьи моих товарищей жили в тех же домах офицерского поселка, но из-за жилищного кризиса должны были потесниться.

Власти встретили меня приветливо и предупредительно. О сдаче города советским войскам все помнили.

Мне слали сердечные приветственные письма. Одним из первых пришел профессор Катш с женой. Они принесли кофе и другие редкости, которые получали от сына из Мексики.

Профессор Катш считал себя особенно обязанным мне, потому что избежал плена. Он жил неплохо, у него ничего не отобрали. Он подтвердил рассказы моей жены, что подозрительные личности, не имевшие ничего общего со сдачей города без боя, выдавали себя за «спасителей Грейфсвальда».

– Таких жуликов пора вывести на чистую воду, – заявил профессор Катш.

Моя мать, которой исполнилось уже восемьдесят четыре года, жила в Гамбурге и не переставала беспокоиться обо мне. Узнав, что я вернулся, она, наконец, легко вздохнула и спокойно умерла, так и не увидев меня. Я горько переживал эту утрату. На радость возвращения легла тень. Грустно прошло наше первое рождество, благодаря заботам моей жены внешне почти не отличавшееся от довоенного.

С моим приездом хозяйственные заботы увеличились. Доходы перестали соответствовать расходам – в доме появился новый едок, у которого не было работы.

Я начал искать работу. Районный бургомистр Рау и обер-бургомистр Бурвиц сказали мне, что самое крупное учреждение города – университет – давно уже получило распоряжение принять меня на службу.

Заведующий хозяйством господин фон Гаген, толстый и обрюзгший, напомнил мне Геринга. Фон Гаген разговаривал предупредительно и вежливо, но фальшиво. Он заявил, что вакансий нет. Я возразил, что пришел не за вакансией, а за работой. Тогда он почему-то заговорил о хорошем приеме, который оказали мне в городе. Я сказал, что нахожу это естественным, так как стою за мир и германо-советскую дружбу. Фон Гаген заметил, что в такое переходное время лучше было бы держаться немного в стороне. А в общем-то я, мол, как «милитарист», должен во искупление своих грехов начинать с

азов. Он, жертва фашизма, в этом, к счастью, не нуждается. (Позже у него отняли право называться жертвой фашизма.) Я сказал, что готов взяться за любую работу, на которую буду способен при своей инвалидности. Он обещал поговорить с другим заместителем ректора по административной части – Рете.

На другой день Рете сказал мне:

– Вы приняты подсобным рабочим.

Так я стал подсобным рабочим в клинике профессора Катша.

Работа была не очень тяжелой. У меня вполне хватало сил выдавать со склада разное имущество – от электрических лампочек до ночных горшков. Но такая деятельность не могла удовлетворить меня. Медицинские сестры и весь персонал клиники относились ко мне иначе, чем начальники типа господина фон Гагена. «Красное сердце» у него обнаружилось лишь в 1945 году. Он не имел ничего общего с честными представителями рабочего движения, которые в большинстве своем сидели в концентрационных лагерях.

* * *

Еще в плену я решил, что, вернувшись на родину, займусь политической деятельностью. В какой партии?.. По моим представлениям, в политической жизни восточной зоны была прореха: не хватало партии, которая вобрала бы в себя многочисленных представителей среднего сословия немцев и дала бы им политическую программу. Такая партия была образована летом 1948 года – Национально-демократическая партия Германии. Мне пришлось по душе ее принципы и требования. Я приветствовал, что в нее принимали бывших членов национал-социалистской партии и бывших офицеров и солдат. Профессор Байер, преподаватель химии Грейфсвальдского университета, участник Сталинградской битвы, с которым меня связывали общие переживания и политические убеждения, попросил меня помочь ему в создании организации НДПГ в Грейфсвальде. Я охотно согласился и, как мне кажется, с тех пор честно выполнял свой долг в ее рядах.

* * *

Однажды ко мне явился странный визитер – однорукий молодой человек, бывший капитан и житель Грейфсвальда. Он сказал, что слышал о моих материальных затруднениях и готов

пойти мне навстречу. Он обещал ежемесячно платить мне пятьсот марок за корреспонденции.

Я не поверил своим ушам. От разъяснений мой посетитель увиливал, но сказал, что вскоре я смогу переселиться на Запад, занять особняк в Гейдельберге. Для меня, как для бывшего полковника, в восточной зоне все равно нет никаких перспектив.

Я потребовал разъяснений. Он перепугался и немедленно удрал в Западный Берлин, бросив все в Грейфсвальде.

Как я потом узнал, это было первое мое знакомство с американской разведкой.

В клинике медицинского института я уже продвинулся до младшего инспектора. Инициатива моего выдвижения исходила от рабочих: они попросили профсоюз предоставить более подходящую работу бывшему коменданту Грейфсвальда.

Теперь я не выдавал, а закупал имущество. Мне доводилось бывать и в Берлине. Однажды я навестил там старого профессора Маурера. Мы оба обрадовались встрече. Профессор жил в Западном Берлине, где, кроме научной работы, занимался и делами своей старой фирмы. Все политические проблемы он обсуждал со мной так же открыто, как в плену. Я попросил его помочь мне связаться с женой Брейера. Дело в том, что, вернувшись из плена, я написал ей о житье-бытье ее мужа, и она просила обязательно навестить ее.

Профессор узнал номер ее телефона, позвонил и отвез меня на своей машине. Фрау Брейер обрадовалась, узнав, что ее муж держится в плену физически и морально крепко. Но когда я сказал, что нас с Брейером сблизил прогрессивные воззрения, она вдруг резко осведомилась у седовласого семидесятилетнего профессора:

– Откуда вы узнали мой телефон? Ведь он секретный!

На эту тему она говорила долго и нелюбезно. Все же и после этого я несколько раз писал ей. Запуганная западной прессой, она спрашивала у меня, есть ли шансы на возвращение ее мужа. Я постарался рассеять ее опасения.

Политическая жизнь становилась все острее. Я был очень загружен как председатель районного правления НДПГ. Это уравнивало мою жизнь, так как служба не удовлетворяла меня. Я сталкивался с людьми разных слоев населения, из других партий и учреждений. Меня избрали от Грейфсвальда делегатом на III Немецкий народный конгресс, который собрался в конце мая 1949 года. Для меня это было целое событие. Председательствовал Вильгельм Пик. Был обсужден и принят проект конституции Германской Демократической Республики. Требовали единства и мира. Немецкий Народный Совет

постановил создать Национальный фронт демократической Германии. В это же время переименовали немецкое Общество по изучению культуры СССР в Общество германо-советской дружбы.

Я работал в обоих обществах и был избран в их правления. Еще раньше я по собственной инициативе обратился с письмами к своим бывшим товарищам на Западе. Из их ответов я понял, что они тоже стоят за разрешение национальных проблем, которые занимали меня со времени Сталинградской битвы. У нас завязалась регулярная переписка.

* * *

Как-то мне предложили поступить на курсы при Немецкой административной академии в Форст Цинна. Я очень обрадовался.

В начале 1950 года я прибыл на курсы. Слушателей разместили в бывшей эсэсовской казарме возле хорошо знакомого мне артиллерийского полигона Ютербог. Большинство зданий сильно пострадало и было лишь частично восстановлено.

Моим соседом по комнате оказался Вальтер Берс из Ней-Эгельна, старый потомственный рабочий, в прошлом слесарь и член социал-демократической партии.

В Грейфсвальде он был в 1920 году, когда лежал в клинике, раненный во время капповского путча, в котором он участвовал на стороне «красных». Тогда я служил в армии и по чистой случайности не имел отношения к тем боям. Мы пришли из разных миров и теперь должны были шесть месяцев жить и учиться вместе.

Наши курсы состояли из четырех групп по двадцать человек в каждой. Кроме меня, почти все слушатели занимали средние и высшие административные посты в государственном и хозяйственном аппарате. Средний возраст был довольно высок, примерно сорок пять лет.

В мою группу входили три женщины. На курсах были представлены все партии. Группы учились по разным программам. Только основные лекции – по истории и общественным наукам – мы слушали вместе. В каждой группе проводились семинары. Во время дискуссий преподаватель был *primus inter pares*^{25}. Все проблемы обсуждались весьма тщательно. Далеко не всегда различные мнения можно было объединить. Но именно в результате этих дискуссий мы сошлись ближе, и группы образовали единую общину.

Большинство моих коллег пришло сюда с хорошей

подготовкой, и мне было нелегко овладеть незнакомым материалом. Но меня крепко поддерживал и направлял мой товарищ по комнате Берс. Он не признавал никаких компромиссов в принципиальных вопросах. Однако благодаря большому жизненному опыту и знаниям он не был догматиком.

Старостой нашей группы был Артур Штраус из Берлина. Выходец из семьи ремесленника, он в свое время не смог получить образования, которого заслуживал по своим способностям. С Артуром Штраусом мы и по сей день добрые друзья. Как много талантливых людей из народа пропадало при старом общественном строе из-за недостатка образования. Таких, как Берс и Штраус, на курсах было много. Они знали гораздо больше тех, кто чванливо смотрел на них сверху вниз.

Из преподавателей я знал только одного, да и то шапочно, по встрече в плену. Однажды в Красногорске, когда мы чистили картошку, к нам прибыли новенькие. Один из них подсел ко мне. Я сразу определил: интеллигент. Роговые очки, высокий лысый лоб. Это был профессор Креггер. Лекции его, ясные и логичные, пользовались в академии особенной популярностью.

До сих пор мне не приходилось встречаться с людьми из рабочего класса и вести с ними обстоятельные разговоры. Теперь я часто думал: вот бы моим коллегам поближе познакомиться с этими людьми!..

* * *

Когда я учился в академии, в Лейпциге состоялся II съезд НДПГ, Меня временно освободили от занятий, и я отправился туда. В 1949 году в Галле я участвовал в работе I съезда. С тех пор молодая партия выросла количественно и политически. Второй съезд был посвящен теме: «Права Германии и обязанности немцев».

Возвращаясь в академию, я встретил в Западном Берлине своих друзей. Я рассказал им о Лейпциге и о своей учебе в академии и понял, что многие из них разделяют мои взгляды. Я решил и по возвращении в Грейфсвальд поддерживать дружбу с товарищами, которые оказались в Западной Германии. Жизненно важные вопросы нашего отечества для всех одни.

* * *

В конце 1950 года меня избрали городским советником

Грейфсвальда. Это избавило меня от прежней работы при университете. Приятно, что многие сограждане обрадовались моему избранию. Передо мной открылось обширное поле деятельности. Особенно сложные задачи стояли перед жилищным отделом. Но ведь еще с 1945 года я мечтал о самостоятельной, трудной и полезной людям работе. Дружный коллектив городского совета крепко поддерживал меня.

К сожалению, всего через месяц я был вынужден оставить эту полюбившуюся мне работу. В соседнем районе Узедом пришлось занять вакансию члена районного правления партии. Нелегко было мне покинуть Грейфсвальд. Но моя деятельность в округе Узедом началась благоприятнее, чем я ожидал. Я быстро вошел в курс дела.

* * *

В июле 1951 года во время моего отпуска мы с женой решили навестить родственников в Западной Германии. Я встретил там друзей и товарищей, которых не видел уже не одно десятилетие. Один из них попросил меня, если я буду в Мюнхене, навестить некоего капитана Бэра. Бэр, по отцу еврей, незадолго до войны эмигрировал в США. В Германию он вернулся уже капитаном армии США. Хорошо зная немецкий язык и условия жизни в Германии, он после 1945 года по заданию американцев работал в комиссии по денацификации в Баварии. Мне сказали, что он ярый антифашист, против Германии никогда не воевал и не намерен восстанавливать немецкий фашизм в американском варианте. Больше того, он жаждет участвовать в политической борьбе против ремилитаризации. Но в Западной Германии ему, как известному антифашисту, жить тяжело. Так что для него единственный выход – переселение в Германскую Демократическую Республику.

Я решил познакомиться с товарищем по воззрениям, который попал в такое трудное положение, и увидел элегантного, великолепно сохранившегося сорокалетнего мужчину, умного, с разносторонними интересами. Вежливый и воспитанный, он становился груб и резок, когда заговаривали о военной политике американцев. Он держался как убежденный революционер, но был настолько озлоблен, что мне стоило труда разговаривать с ним спокойно, причем он все время старался перевести разговор на военную тему. Зная дислокацию американских оккупационных войск, он на примерах доказывал агрессивность политики США, в которую втягивается и Западная Германия.

– Вот это-то нам и надо предотвратить! – сказал я. – Тогда и все остальное легче решится.

Я добавил, что, по-моему, людям в Западной Германии важно разъяснить: войны начинаются людьми и предотвратить их могут тоже люди. После долгих бесед мы решили не терять связи и при случае возобновить наш разговор.

На другой день мы с женой продолжали путешествие. От Бингена до Кельна мы ехали экспрессом. Проезжая вдоль Рейна, мы любовались из окна вагона-ресторана живописным восточным берегом реки, где расположены руины знаменитых замков, развалины крепостей. Попутчиком оказался приятный господин примерно моего возраста. Он принял на себя роль гида, и мы разговорились. Вскоре мы перешли на злободневные темы. Наш собеседник оказался крупным промышленником. К вопросу о воссоединении Германии, который больше всего волновал нас, он отнесся безразлично, скорее даже отрицательно.

– Видите ли, нам живется очень недурно, – говорил он. – После такого краха это просто чудо.

Он отлично сознавал, что так называемое «экономическое чудо» Западной Германии поставило страну в зависимость от США и что американская политика «с позиции силы», противопоставляющая Западную Германию Германской Демократической Республике, создает опасное положение.

– Мы недурно живем в долг, – сказал он. – Раскол давно разрешил германский вопрос. Национал-социализм канул в вечность. Теперь он заменен идолом «высокий уровень жизни».

Глядя в окно, мы все время нагибались – как раз на уровне глаз находилась планка, и это очень мешало.

– Пора вновь создавать концентрационные лагеря, – вдруг произнес наш спутник.

Мы опешили. Он объяснил:

– Конструктора такого вагона надо было бы на всю жизнь посадить за решетку. А с ним заодно и всех немецких мечтателей о единстве и мире, которые мешают нам извлекать выгоды из раскола.

Я молча разглядывал прославленные развалины замков. Мы проезжали Рендорф{26}.

– Благодаря этому старику – любителю роз – мы получили чудо природы, величайшее в истории человечества.

Я вопросительно взглянул на соседа.

– Из безоговорочной капитуляции национал-социализма он сумел вырастить экономическое чудо: наша промышленность снова процветает, она достигла довоенного уровня.

Какой смысл спорить с ним? Гораздо важнее было понять, что

нынешние финансовые короли ни от чего не отступятся добровольно, как и старые хозяева замков на Рейне. Потягивая вино, наш добровольный гид продолжал болтать. Он показал нам Петерсберг{27} – имение самое роскошное после виллы Круппа. Из леса, точно древний замок, выглядывали зубцы и башни целого городка особняков. Их владелец – хозяин фирмы «Одеколон 4711». Сейчас там живут американцы, подлинные хозяева Западной Германии. Исполнитель их воли Аденауэр расположился у их ног – в Рендорфе.

Представитель промышленных магнатов продолжал рассуждать холодно и цинично. Он говорил обо всем, только не о народе или нации, и все измерял на деньги.

В Дюссельдорфе мы встретились с бывшим генералом Россумом из Грейфсвальда. Его держали во французских тюрьмах шесть лет под следствием по делу об убийстве французских военнопленных, чтобы затем в ходе ремилитаризации полностью оправдать в течение каких-нибудь двадцати минут. Он заявил нам, будто с него хватит «западной культуры». Он, мол, не хочет знать ни о Востоке, ни о Западе, мечтает поселиться на Рейне и вести беззаботную жизнь. Бывший генерал и комендант Варшавы подробно рассказал о своей «успешной борьбе» за высшую пенсию. Его ближайшая цель – выжить из дома второго съемщика, чтобы вместе с зятем быть единственными обитателями прелестного уголка земли.

– Тогда плевал я на все... – добавил он.

Ныне этот генерал служит в армии НАТО.

Так протекала наша поездка по Западной Германии. Беседы и встречи все больше убеждали меня, как важно приподнять аденауэровскую завесу клеветы и рассказать населению Западной Германии правду о Германской Демократической Республике.

Лишение свободы в «свободном мире»

В октябре 1951 года я получил от своего западногерманского друга письмо, которое он опустил в демократическом секторе Берлина. Это был тот самый человек, который в свое время просил меня навестить Бэра в Мюнхене. Он писал: «Сейчас я занят подготовкой всегерманского съезда церковников и долго пробуду в Берлине. Пользуясь тем, что я в Восточном Берлине, сообщаю тебе важные сведения. Б. не может прибыть на условленную встречу. За ним следят, он думает, что его со дня на день могут уволить из ИРО{28}. Он хочет переселиться в ГДР, но желал бы иметь гарантированную работу. Я почти договорился об этом. Чтобы ты мог немедленно запросить межзональный паспорт, посылаю тебе разрешение на приезд к друзьям в Гунценхаузен под Мюнхеном. Когда здесь все выяснится, ты получишь телеграмму и, надеюсь, сразу сможешь выехать. У меня много дел, и я не смогу выбраться из Берлина. Кроме того, я, как борец за мир, состою в черном списке. Мне бы не хотелось еще больше компрометировать Бэра своим посещением. Наша борьба требует больших жертв. Верю, что обратился к тебе не напрасно!»

В начале ноября я получил телеграмму и тут же выехал. В Берлине мы с приятелем отправились к будущему месту работы Бэра.

– Подлинных патриотов мы не бросаем в беде, – сказали нам.

Разумеется, о Бэре были наведены справки. Он был известен как антифашист еще до 1945 года.

Я своевременно получил межзональный паспорт и на следующий день выехал из Берлина в Западную Германию. Ночью на контрольном пункте Пробстцелла проверяли паспорта. Все обошлось без инцидентов. Западногерманский пограничник был подчеркнуто вежлив. Из своего угла, сонный, я протянул ему документы.

– Сразу видно старого солдата и офицера! – любезно заявил он.

Откуда он мог знать, что я бывший офицер? Ведь в межзональном паспорте указывалось только, что я, Рудольф Петерсхаген, проживаю в Грейфсвальде.

В Мюнхен я прибыл продрогший и совершенно разбитый, но после завтрака почувствовал себя сносно. Из гостиницы я отправился к Бэру на работу.

С места в карьер Бэр принялся ругать американскую

политику ремилитаризации Западной Германии. Он заявил, что будет счастлив работать в ГДР, но хотел бы как можно дольше задержаться в Западной Германии. Много зная об американской разведке Си Ай Си, здесь он сможет гораздо эффективнее работать на пользу мира.

Вынув какую-то записку, он стал чертить на ней расположение учреждений, в которых после 1945 года работал по денацификации и демилитаризации. При этом он пояснял:

– Каждой партией Западной Германии занимается соответствующий отдел Си Ай Си. Эти отделы стараются ввести в руководство партиями продажных, преданных американцам людей.

Позже, в 1955 году, во время скандала вокруг министра культуры Нижней Саксонии Леонгарда Шлютера, я вспомнил об откровениях Бэра. При Гитлере Шлютер эмигрировал из Германии на основании «арийского параграфа»{29}. Однако он все же стал одним из создателей ДРП{30}. Чтобы подкупить его и иметь в партии своего представителя, американцы решили ввести этого молодого книготорговца из Геттингена в правительство земли Нижняя Саксония.

– Наводнить партии американскими шпиками удалось быстрее, чем ожидали в США, – продолжал рассказывать сведущий Бэр. – Исключение составляет КПП. Старые члены партии неподкупны, а новых не пускают в руководство. В зависимости от особенностей каждой партии, кроме общих задач, существуют специальные, которые время от времени меняются. Для свободно-демократической партии{31} надо было загодя подготовить раскол, так как в этой партии существует оппозиция против Аденауэра. В социал-демократической партии основной упор делается на подкуп. Это оказалось самым легким. Партией руководят большей частью лица, потерявшие связь с рабочим классом. Они крепко держатся за свое кресло.

Мою усталость как рукой сняло – рассказ Бэра оказался интересным. Но вот он замолчал и попросил принести напитки. Я задумчиво разглядывал записи, которые он передал мне.

– А теперь угадайте: какая из партий обходится американцам дороже всего?

Я подумал:

– КПП.

Бэр высмеял меня.

– На нее не тратят ни гроша. Есть, разумеется, особый отдел для борьбы с «красной чумой». Его цель – учитывать всех членов партии и симпатизирующих ей и заносить их в списки, чтобы затем как можно скорее запереть их в концлагеря. За эту работу с

паразитической энергией взялось несколько немцев. Американцам отбою нет от немецких доносчиков, готовых предать своих «красных» соотечественников. Но попробуйте же угадать, – напомнил мне Бэр.

Я назвал свободно-демократическую партию. Но оказалось, что эта маленькая партия, за которую голосовало от десяти до двадцати процентов избирателей, в американском списке расходов стоит на втором месте. В нее входят и те, кто заинтересован в торговле с Востоком. Поэтому здесь особую роль играют взятки.

Я оскрамился и больше не хотел гадать. Наконец Бэр выдал мне секрет.

– Неисчислимые миллионы долларов уплывают в христианско-демократический союз.

У меня отнялся язык. Бэр заметил мое замешательство.

– Дело в том, что американцы стараются заманить народ в партию, которая использует христианство в политических целях. Приходится выкладывать монету. Надо же как-то привести миллионы избирателей туда, куда они не хотят идти, но куда их тянут американцы.

Бэр продолжал:

– Я с восторгом участвовал в работе, пока борьба шла против фашизма и милитаризма. Но постепенно все повернули вспять, поставили с ног на голову. Тех, кого раньше преследовали, теперь стали поощрять, а антифашистов – преследовать. Между прочим, борцов за мир особенно ненавидят потому, что борьба за единство и мир грозит разрастись до всенародного движения. К тому же сторонников мира трудно учесть – ведь они не входят в определенные организации. Когда пришло секретное распоряжение выключить борцов за мир из общественной жизни и прежде всего изолировать их от влияния коммунистов, а со временем арестовать, я не мог больше совместить работу в Си Ай Си со своей совестью. С помощью своих американских друзей я перешел в ИРО.

И Бэр рассказал о своей деятельности в этом американском заведении. Здесь ему тоже не понравилось. Он убедился, что американцы вовсе не стремятся вернуть перемещенных лиц на родину, а стараются использовать их для шпионско-диверсионных целей.

– Для своих грязных дел американцы используют и евреев и антисемитов одновременно. Никаких норм морали они не признают. Цель у них одна – мировое господство. Я сказал:

– Кто понял это, тот обязан бороться, пока у него хватит сил.

Бэр ответил:

– Давайте продолжим разговор завтра. На воскресенье я вас захвачу к знакомым на Штарнбергское озеро. А сегодня я покажу вам ночную жизнь Мюнхена. Главную роль в ней играют американские солдаты – Джи Ай{32}.

Ночная жизнь Мюнхена быстро утомила меня. В переполненные рестораны и пивные можно было пробиться лишь с помощью локтей. Примерно на пятьдесят Джи Ай приходилась одна немецкая проститутка, из-за которой оруженосцы «западной христианской культуры» тут же начинали драку. Около десяти вечера мы с Бэром условились о воскресной встрече, и он проводил меня до маленькой тихой гостиницы, где я остановился.

Лежа в постели, я с грустью думал о тяжелой доле этого немецкого эмигранта. Но я еще не подозревал, что он разыгрывает заданную ему роль. Мои мысли были прерваны грубыми ударами в дверь.

– Войдите!

– Живо открывай, – орал кто-то возбужденным голосом.

– Дверь открыта, – спокойно ответил я.

Сквозь щель в двери кто-то осторожно просунул ствол пистолета.

– Руки вверх! – крикнул огромный, двухметрового роста, штатский.

Предводитель ворвавшихся не сводил с меня пистолета, а четверо или пятеро подозрительных парней, переговаривавшихся по-баварски, обрушились на все, что находилось в комнате. Очевидно, роли были распределены заранее. В одно мгновение со своих мест полетели картины, занавеси, ковры, половичок. Разобрали кровать, тщательно обыскали мою одежду и прочие вещи. Все свалили в угол. Окна распахнули настежь, и по комнате гулял ветер. Номер выглядел так, словно в лавку старьевщика угодила бомба. Я с поднятыми руками в ночной рубашке стоял среди этого хаоса под направленным в мою грудь пистолетом долговязого штатского.

Вспомнив, как однажды, еще лейтенантом, я тоже стоял по стойке «смирно» в одной ночной рубашке, я вдруг рассмеялся... Долговязый в бешенстве закричал:

– Вы арестованы американской разведкой Си Ай Си!

Чтобы усилить впечатление, он сунул мне в лицо американский паспорт с фотографией. Его подручные стояли в таких угрожающих позах, что всякое сопротивление или даже возражение было, пожалуй, не только бессмысленно, но и опасно.

Долговязый, назвавший себя Фрэм, в машине отвез меня в какую-то казарму на окраине города. Там в большом полупустом

помещении меня ждал какой-то человек в штатском лет тридцати. Это был шеф Фрэя, такой же длинный, но более массивный. Он вежливо представился: «Дэлер», и попросил извинения за «неприятное вторжение». Но это, мол, необходимо, чтобы вывести на чистую воду мистера Бэра. Срочно нужна моя помощь. Дело в том, что я попал в сети одного из опаснейших агентов.

Я был смущен и пытался привести свои мысли в порядок. Это было нелегко. Прежде всего я стал протестовать против унижительной формы, избранной американцами для того, чтобы воспользоваться моей помощью. Дэлер ответил:

– Персоналу гостиницы и Бэру мы скажем, что вы опасный вербовщик, который хотел переманить Бэра на Восток. Так что Бэр не будет знать, почему вы арестованы. Мы надеемся с вашей помощью разоблачить и арестовать его.

Привыкнув к простым и прямым путям в жизни, я не стал вдумываться в смысл этих хитросплетений. Мне было ясно одно: им нужно знать о нашем разговоре и отношениях с Бэром. В полночь меня заставили записать показания.

Дэлер остался недоволен результатом:

– Этого недостаточно, чтобы арестовать Бэра. Вы не должны щадить его. Он же хотел привлечь вас к антиамериканскому шпионажу.

Ошарашенный этим, я заявил, что ничего не соответствующего действительности говорить и признавать не буду.

– Это вас хорошо характеризует. Но так мы не продвинемся! – по лицу Дэлера скользнула лицемерно-сочувственная усмешка.

Я был неприятно поражен и потребовал отпустить меня, ибо добавить к тому, что я уже показал, мне нечего. Дэлер заявил, что отпустить, меня он, к сожалению, не может, так как нужно установить подлинность моей личности. Я напомнил о своем межзональном паспорте и других документах.

– Они могут быть фальшивыми. Неизвестно, кто за ними скрывается.

Дэлер требовал, чтобы компетентный человек подтвердил, что я действительно бывший полковник Петерсхаген из Грейфсвальда. В качестве свидетелей я предложил вызвать своих бывших товарищей и родственников, живущих в Западной Германии. Дэлер отклонил этот простой способ. Об этом случае, заявил американец, никто, кроме нас двоих, ничего не должен знать. Дэлер считал, что лучше всего мою личность может удостоверить жена. Надо, чтобы она немедленно приехала в Западный Берлин.

Я воспротивился этому. Но мне торжественно дали честное слово, что, удостоверив мою личность, жена снова уедет в Грейфсвальд, уже вместе со мной. Конечно, в том случае, если мои документы окажутся подлинными.

Я был рад. Теперь все быстро разъяснится.

Давно миновала полночь. Я устал и попросил разрешения перенести все на следующий день. Ведь и накануне я провел ночь в вагоне и почти не спал.

Дэлер посоветовал мне не откладывать решение на утро. Утром, дескать, явятся газетчики, заглянут в журнал ночных происшествий и прочтут о моем аресте. При здешних свободных нравах американцы не могут отвечать за то, что состряпают немецкие корреспонденты из короткой записи. По мнению Дэлера, они, вероятно, сообщат по радио и в газетах, будто я просил предоставить мне политическое убежище. Тогда, мол, я не смогу вернуться, а жена моя попадет в опасное положение, чреватое неприятными последствиями.

– Мне кажется, вы не должны брать на себя такую ответственность! – добавил он с фальшивым сочувствием.

Теперь он разговаривал очень вежливо, но как-то скользко. Мне принесли поест, закурить и выпить. На чистом немецком языке Дэлер продолжал:

– Неужели вы не понимаете, что мы хотим вам помочь? Напишите жене, что ей необходимо приехать в Западный Берлин для ухода за больной матерью. А пока вы будете находиться под нашей охраной. В этом случае ваша фамилия не появится в полицейском журнале. За несколько дней мы все уладим. Ведь нас интересует Бэр, а не вы. В конце концов вы заручились честным словом американского офицера. Перед вашей женой мы поставим один-единственный вопрос – о вашей личности. Но решайте скорей, а то дело будет предано гласности, и вы не оберетесь неприятностей.

Я написал жене требуемое письмо. Под пустыми предложениями я переписывал его несколько раз, то чернилами, то карандашом. Почему-то я был рад, когда под утро меня наконец доставили в новое место.

Меня довез туда все тот же Фрэй, руководитель арестовавшей меня группы. Это было какое-то отделение американской военной полиции, находившееся в подвале. Там сидели солдаты американской армии – черные и белые, в форме военной полиции армии США. Были здесь и штатские, бедно одетые, с грубыми лицами – безусловно, местные жители. У изящной негритянки Фрэй получил расписку, что сдал меня, и быстро исчез.

Вдоль длинного коридора меня привели к тяжелой, обитой

железом двери. Охранник осветил темную дыру – пустое помещение без окон, с каменным полом, выложенным плитами. Я запротестовал: незаконно помещать сюда человека, задержанного для проверки документов. Меня пытались втолкнуть насильно, я сопротивлялся. Очнулся я разбитый, дрожа от холода, на каменном полу этой камеры. Во рту я почувствовал кровь, не хватало нескольких зубов. Снизу сквозь пальто и одежду проникала сырость. Я повел носом – пахло мочой. Очевидно, постарался кто-то из моих предшественников. Осторожно поднявшись, я вдоль стены добрался до входа и стал громко кричать и бить ногами в дверь. Кто-то пришел и на баварском наречии сказал, чтобы я вел себя спокойно. Я попытался объяснить ему свое положение и потребовал, чтобы мне по крайней мере дали на чем сидеть. Но баварец заявил, что американец не выдаст ключей.

Утром за мной снова приехал Фрэй. Я был совершенно разбит – физически и душевно – и категорически протестовал против того, что проделали со мной ночью. Я повторил свои жалобы шефу Фрэя Дэлери, который вдруг стал именоваться Томасом. Он велел учинить проверку. Явились какие-то американские офицеры. От имени армии США они выразили сожаление о ночном происшествии и попросили извинения. «Проверка» подтвердила, будто никто из американских солдат не принимал участия в ночном избиении. Мне лицемерно заявили, что все это проделали чрезмерно ретивые немцы.

Снова начался допрос:

– В своих показаниях вы щадите Бэра. Это неумно. Может быть, вы хотите скрыть что-нибудь об этом типе, но тем самым вы компрометируете себя.

Я настаивал, что говорил и буду говорить только правду, даже если ее попытаются использовать против меня. Томас, он же Дэлери, распрощался со мной, сказав, что летит в Берлин для встречи с моей женой.

Снова я оказался в руках Фрэя. Немецким языком он владел весьма посредственно, да и вообще был несравненно глупее и безжалостнее своего шефа. Обо мне он располагал подробными сведениями. Откуда – тогда я еще не знал. Во всяком случае, из разговоров с Бэром он не мог все это знать. Его сведения обо мне выходили далеко за рамки наших разговоров и касались Грейфсвальда и даже Альбека на Узедоме. Как и Томас, Фрэй твердил, что моих показаний, к сожалению, недостаточно для ареста Бэра.

Весь день прошел в утомительных допросах. Поздно вечером Фрэй снова повез меня куда-то. По спине у меня забегали

мурашки. Мы прибыли во двор какой-то казармы, состоявшей из нескольких флигелей. Казарма была точно такая же, как грейфсвальдская, да и все другие, построенные незадолго до войны. Думая, что проведу ночь в приличном помещении, я обрадовался. Но преждевременно. Меня снова повели вниз по лестницам, в подвал. Тщетно я протестовал и ссылался на свою астму. Фрэй привел меня вниз и сдал охраннику, который полулежал, положив ногу на стол. Дав охраннику какое-то указание по-английски и получив расписку, Фрэй ушел.

Опять вдоль коридора меня повели в подвал. Часть его была отгорожена тяжелой решетчатой дверью. Там горел свет. Слева по коридору были отдельные боксы с решетками вместо дверей, похожие на клетки в зоопарке. В боксах американские солдаты, большей частью негры, играли в карты, читали, курили или спали.

Меня втолкнули в одиночный бокс. В нем стояла койка, покрытая одеялом, но без белья. Стола и полки не было. Почти под потолком – узкое горизонтально расположенное окошко из толстого матового стекла. Совершенно измученный, я сел на железную койку и тотчас уснул.

Вероятно, около полуночи меня разбудил шум мотора и страшная вонь – перегар бензина. В одном из флигелей располагался ночной бар и большой клуб для американцев, а во дворе перед казармой – стоянка автомашин. Их ставили вдоль стены возле камер. Сквозь щели фрамуг в подвал проникали все выхлопные газы. И так – каждую ночь. Для меня, при моей астме, было пыткой дышать сырым подвальным воздухом, насыщенным выхлопными газами. Но меня утешали, что эти дни быстро пролетят.

Утром я стал в строй вместе с другими арестованными – белыми и черными американскими солдатами. По команде мы, как рекруты, маршировали, поворачивались направо и налево. Охранник привел нас в соседний флигель – в столовую. Там посменно питались расквартированные здесь роты. Мы ели обособленно, в маленьком помещении, но получали то же, что солдаты. В воскресный день или в будни, утром, в обед или вечером – всегда питание было роскошным. Можно было есть, сколько хочешь. Кормили куда лучше, чем в хорошо обеспеченной немецкой семье в праздничные дни довоенного времени.

Арестованные американские солдаты признались мне, что дома, в Америке, им жилось гораздо хуже, чем здесь, в Германии. Ведь «здесь платите вы». («Гопля! Мы живем за счет оккупационных расходов!») – так называлась корреспонденция

одной западногерманской иллюстрированной газеты о широкой жизни оккупантов в Германии. Этот номер был тотчас же конфискован.)

В спертom воздухе подвала мне особенно не хватало прогулок. Каждому арестованному ежедневно полагалось гулять три четверти часа. Эти сорок пять минут прогулки необходимы для сохранения здоровья. Заключенных вместе со мной молодых и крепких американских солдат, сплошь убийц, выводили на прогулку регулярно. Мне же, инвалиду, больному астмой, прогулка была категорически запрещена. Зато мне «разreshалось» ежедневно в собственной одежде чистить в подвале все парашаи. Учтите, ведь я был только задержанный! А позже находился под следствием в «свободном мире»!.. Мои протесты аккуратно заносились в протокол. Мой адвокат добивался встречи с судьей. Но ничего не менялось. Разведка Си Ай Си так же всемогуща и жестока, как в свое время фашистское гестапо. Американские врачи подтвердили, что легкие у меня не в порядке, – все напрасно. Содержа меня в подвале без света и воздуха, без книг, делая мне какие-то инъекции и регулярно вызывая на длительные, изнуряющие допросы, разведка надеялась превратить меня в свое послушное орудие. Кормили нас хорошо, но мне это мало что давало: не хватало не только зубов, но и аппетита. Я был болен и страшно устал.

Наконец из Берлина вернулся Томас.

– Можете нас благодарить – мы выручили вашу жену из красного ада. Она ни в коем случае не хочет возвращаться туда и ждет, когда и вы, наконец, образумитесь и останетесь в свободном мире.

Я ничего не понимал. Это не укладывалось в голову. Мое письмо было абсолютно ясным и недвусмысленным. Ведь она знала мои воззрения – они были ее собственными. Впервые за всю нашу жизнь нас, казалось, разделяла глубокая пропасть. Сегодня я не в состоянии рассказать о своих мыслях и чувствах. Помню только, что они были путанными и мучительно тяжелыми. Я не мог, не хотел поверить, что так случилось. Я находился по ту сторону зональной границы в подвале Си Ай Си, и мне предстояло сделать выбор: отечество или жена? Я не хотел отказываться ни от отечества, ни от жены. Мне сулили всякие блага, если я стану на сторону жены против родины. Еще никогда я не был в таком жутком положении. О, каким простым казалось мне теперь решение, принятое в 1945 году в Грейфсвальде!

Переписка с женой шла через Томаса. При строгой цензуре нам удавалось сообщать друг другу только об одежде, здоровье и погоде. Все остальное вырезали или зачеркивали. Так я и коптил

небо в подвале. Разнообразие вносили только бесконечные допросы и некоторые происшествия в самом подвале.

Описывать подробно все допросы я, конечно, не могу – они были слишком длинными. Допрашивающие то и дело меняли тактику. Основные их методы теперь представляются мне яснее, чем тогда, когда я в жалком состоянии находился в лапах Си Ай Си.

Методы!.. То, что от меня требовали показать против Бэра как агента, теперь он сам приписывал мне, причем он давал полную волю своей фантазии. Я понял, что Бэра делают главным свидетелем обвинения, и потребовал очной ставки. Мне отказали. Никто не должен был мешать Бэру показывать против меня все, что требовали от него американцы. При этом он явно стремился выгородить себя и все спихнуть на меня.

Я строго держался правды. Это всегда самый лучший способ, а особенно в трудных положениях, когда человек и без того теряет голову.

Лишь в одном я уклонился от истины. Американцы хотели знать, кто рекомендовал мне Бэра как борца за мир. У меня были все основания сердиться на моего западногерманского друга, который толкнул меня на эту роковую поездку. Но я не мог поверить, что он сознательно информировал меня неправильно. Решив не называть его имени, я придумал человека с другим именем в Восточном Берлине. Американцы поверили, потому что нашли у меня телеграмму из Восточного Берлина. И все же эта выдумка оказалась невыгодной для меня. О человеке из восточной зоны американцы строили всякие догадки, делавшие мое положение еще более сложным.

– Наверное, это коммунист!

От подобной мысли у американцев перехватывало дух.

– Быть может, даже русский!..

Они настойчиво требовали обрисовать внешность этого «дьявола в образе человека».

Несмотря на тяжелое состояние, я не мог удержаться, чтобы не позлить Фрэй, отвратительно говорившего по-немецки.

– Как он слышит? – спросил Фрэй, коверкая немецкий язык.

– Абсолютно нормально, – отвечал я.

– Расскажите подробно! – требовал Фрэй.

– Это может сделать только врач, – возражал я всерьез, хотя знал, что Фрэй спрашивает не о том, как он слышит, а о том, какие у него уши.

От злости он еле сдерживался. Я дал ему время выбеситься. В конце концов я приехал в Мюнхен не для того, чтобы давать уроки немецкого языка этим «крестоносцам западной культуры».

Однажды меня повезли в здание суда. Американский судья спросил, как долго я нахожусь под арестом.

– Этого я не знаю. В подвале нет ни газет, ни календаря. Меня содержат хуже любого животного. По какому праву?

– Ладно, ладно. А что, собственно, вам надо было в Мюнхене?

– Это наше внутреннее, немецкое дело.

Я требовал, чтобы меня судил немецкий суд. Но американский судья мистер Фуллер отмахнулся, без всяких пояснений выписал приказ о моем аресте и прикомандировал ко мне официального защитника доктора Кислинга. Меня увели.

В подвале Фрэй распекал меня за нетактичное поведение перед американским судьей.

– Вы еще почувствуете, чем это пахнет. Такое мы не прощаем.

Теперь пустили в ход все, доказывая, что я опаснейший коммунист.

Я не отрицал своей принадлежности к НДПГ, к Обществу германско-советской дружбы и работы в Национальном фронте демократической Германии. Из всего этого американцы решили состряпать одно обвинение, а именно – в том, что я «красный». Я заявил, что стою за единую демократическую Германию. Ведь признали же американцы по Потсдамскому соглашению, что обязанность всех наций, включая и германскую, – создание демилитаризованной, денацифицированной Германии. Теперь они не хотели и слышать об этом.

* * *

Свою военную политику в Западной Германии американцы осуществляют с помощью немцев. Эту тактику натравливания немцев против немцев они применили и ко мне. Для поддержки обвинения они где-то выкопали «бывших жителей Грейфсвальда». Это были либо люди, бежавшие из ГДР, либо американские агенты, а подчас и то и другое вместе. Лишенные родины и средств к существованию, безвольные, купленные с потрохами, всецело зависящие от своих американских хозяев и покровителей, они стали послушным орудием в чужих руках и представляли собой позорное зрелище.

Главная фигура обвинения – бывший заведующий хозяйством Грейфсвальдского университета Рюдигер фон Гаген. Во время войны он сумел остаться в тылу. За причастность к покушению на Гитлера 20 июля 1944 года повесили его брата. Этот факт Рюдигер использовал, как только мог. Он добился признания себя «жертвой фашизма». Так началась его восточногерманская

карьера. В автобиографиях 1945—1946 годов он писал: «Я осознал ошибки нашего общественного строя еще в годы гитлеризма и стремился активно участвовать в социалистическом движении. Поэтому я часто бывал в оппозиции к национал-социализму, стараясь защитить настоящий, на мой взгляд, социализм. Уже в декабре 1944 года я был одним из руководителей группы сопротивления на острове Хиддензе. 5 июня 1945 года я совместно с иностранными рабочими без боя передал Красной Армии монастырское поместье острова. Так я оградил остров от тяжелой судьбы».

Спротивляться на том острове было невозможно. Что касается монастырского поместья, занимающего тысячу восемьсот гектаров, то в дни земельной реформы этот «старый борец» отхватил себе в собственность солидный куш. Чтобы его не заставили работать, он сдал землю в аренду и таким образом обеспечил себе постоянный летний отдых на своем излюбленном морском курорте Хиддензе. Кроме того, он много лет получал от Грейфсвальдского университета крупное жалованье, имел собственную машину – словом, жил на широкую ногу. Незадолго до моего ареста «старый социалист» Рюдигер фон Гаген бежал из Грейфсвальда в Западную Германию. Ректору профессору Байеру он оставил вежливое письмо: «Налоговый отдел Грейфсвальда совершенно неоправданно требует с меня 9267 марок 14 пфеннигов подоходного налога за хозяйство на Хиддензе. Все это подстроил какой-то доносчик. Мое существование в ГДР невозможно. Остаюсь преданный Вам и глубоко уважающий Ваше превосходительство Р. ф. Г.». Теперь этим «доносчиком» он объявил меня.

Следующим, кто хотел подмазаться к американцам за мой счет, был торговец углем Блунк. После 1945 года он стал одним из самых богатых жителей Грейфсвальда. Его торговля процветала. Но Блунк допустил какое-то незначительное нарушение закона, кто-то пришел к нему и напугал:

– Завтра вас арестуют!

Блунк попался на эту удочку и исчез, не предупредив даже жену.

Бог троицу любит. Третьим в этой компании был пастор Фихтнер из Грейфсвальда с выправкой и твердой поступью солдата. До 1945 года он, кроме черной сутаны, носил и коричневую форму штурмовика. Теперь пастор всех потряс заявлением, что я «долг ставил выше личных интересов». Что ж, высокая похвала. Но так как дело мира ненавистно старому фашисту в сутане пастора, мое поведение казалось ему предосудительным.

Эти три типичных представителя старого немецкого общества, несмотря на все свое различие, стали политическими эмигрантами. И во время войны и в дни мира Рюдигеру фон Гагену удавалось работать меньше, а жить лучше многих соотечественников. Гаген – тип современного политического спекулянта. Он убрался в Западную Германию, когда его лишили права называться «жертвой фашизма» и предложили уплатить налоги за скрытые доходы. На Западе он разыгрывал из себя «бедного дворянина и помещика, изгнанного красными». Блунка за нарушение экономического закона, возможно, наказали бы мелким денежным штрафом. Но он оказался слишком труслив и очертя голову обратился в бегство.

Проще обстояло дело с пастором Фихтнером, штурмовиком. Он остался тем, чем был, – фашистом. Он сохранил выправку и твердую поступь солдата и по-прежнему ставил свое фашистское «я» выше дела христиан.

* * *

В подвале меня навестил официальный защитник доктор Кислинг. Он напомнил, что вплоть до войны был интендантом в Потсдамской дивизии, где некогда служил и я. Мне не приходилось встречаться с ним на фронте, но тогдашнего адъютанта полка графа Баудисина мы оба знали.

– Показаниям беглецов из Грейфсвальда нужно противопоставить веские аргументы, – говорил доктор Кислинг.

Я предложил вызвать свидетелями моих бывших однополчан – генерала графа фон Габленца и полковника Веллера. Оба знали меня несколько десятилетий. Я продолжал переписываться с ними и после войны. Доктор Кислинг согласился со мной и, кроме того, предложил вызвать хотя бы в качестве нейтрального свидетеля Баудисина. Он поинтересовался, каковы наши отношения. Я дал исчерпывающий ответ. По возрасту и званию я старше Баудисина, но все же он был мне ближе многих моих сверстников. Он дружил с братом моей жены, офицером 9-го полка. Баудисин присутствовал на нашей свадьбе и на свадьбе моего шурина. Он хорошо знал всех родственников моей жены, так как был их соседом.

Переговорив с Си Ай Си, доктор Кислинг навестил меня снова.

– Американцы против приглашения Габленца и Веллера. Они согласны лишь на Баудисина.

Это заставило меня настаивать на Габленце и Веллере в

внушило подозрения по отношению к Баудисину. После длительных переговоров мне все же разрешили вызвать Габленца и Веллера, а у Баудисина запросили письменные показания. Ответ был так оскорбителен, что доктор Кислинг не считал возможным показать его мне.

Кислинг успокаивал меня:

– Право же, не переживайте. Все равно материал следствия недостаточен, чтобы затеять процесс.

Об этом адвокат написал моей жене, и не только ей.

* * *

Мои мучения в подвале продолжались. Однажды, не выдержав, я пожаловался адвокату.

– Скажите, какое тяжкое преступление я, собственно, совершил?

– К сожалению, никакого, – многозначительно ответил он. – Если бы вы запродали вагон цветного металла, я бы мог кое-что сделать для вас. А ведь это процесс политический.

Фрэй всегда с удовольствием находил случай сообщить мне какое-нибудь неприятное известие. Наконец он добрался до моей партии и стал доказывать, что она отказалась от меня.

– Поймите же вы – от вас хотели избавиться, как от неугодного информатора, – при этом Фрэй продемонстрировал поразительное знание всех событий в Грейфсвальде и Альбеке. Откуда у него эти сведения, он не говорил. Затем торжествующе добавил: – Ваша НДПГ исключила вас.

– Благодарю вас, – спокойно ответил я.

С недоумением глядя на меня, Фрэй не знал, принять ли эту благодарность всерьез. Я пояснил:

– Теперь мне совершенно ясно, что вы врете.

Он разозлился, пригрозил мне «допросом третьей степени» и вышел из комнаты. Я не на шутку встревожился и невольно поднес руку ко рту.

Красный как рак Фрэй вернулся от своего шефа, схватил стул и занес его надо мной. Я подумал, что пробил мой последний час, – Фрэй всегда был вспыльчив. Но он швырнул стул в сторону и злобно крикнул:

– Велено обращаться с вами по-прежнему!

Честь и слава Томасу – это он приказал больше не бить меня. Потом я узнал, что это было редчайшим исключением при допросах в Си Ай Си. Но Томас подготовил удары более крепкие. Однажды он появился с письмом в руках. Я сразу узнал на

конверте почерк моей жены. Сердце у меня забилося. Томас не спеша извлек из конверта лист бумаги с машинописным текстом и стал читать: «Скажите моему мужу, что в случае, если он по-прежнему желает вернуться в так называемую Германскую Демократическую Республику, я твердо намерена развестись с ним».

Я попросил показать мне письмо. Он отказал. Снова я в подвале. Болит сердце. Терзает ощущение полной беспомощности. После мрачных раздумий мне удалось, наконец, уснуть.

Спал я беспокойно. Меня преследовали кошмары. Или это была явь?.. Разве не сидела у моих ног какая-то темная фигура, скаля белые зубы:

– Пап, а пап, послушай...

У меня перехватило дыхание. Что это? Я протянул руку. Да, это был огромный негр. Он называл меня папой и требовал, чтобы я, несмотря на свое глубокое горе, помог ему в беде. Его судьба потрясла меня. В войну он добросовестно выполнял все приказы белых хозяев. Он даже показал мне, что это были за приказы: «Чик, чик, и долой голова!» И он схватил меня за горло. Пот выступил у меня на лбу. Как солдат оккупационных войск он завоевал себе «белую барышню». Когда она родила ему второго ребенка, он решил жениться на ней. Чтобы предотвратить это, его отправили домой, в Америку. Но там он не сошел с парохода. Почти умирая от голода, он зайцем вернулся в Европу, отправился к матери своих детей, пробрался к ней ночью и застал ее спящей. Прервав свой рассказ, он стал пить из бутылки пиво, затем предложил бутылку мне. Чтобы не оскорбить его, пришлось выпить. Он задыхался. Белки глаз сверкали на черном лице.

– Моя белая барышня спала не одна!

Он замахнулся пивной бутылкой. У меня закололо в сердце. Я хотел вскочить, но негр не пускал. Он что-то лопотал, уверяя, что хочет показать, как собирался задушить соблазнителя своей «белой барышней». Его посадили как убийцу и дезертира. Судьба этого негра была поистине трагичной.

Силы покинули меня. На следующее утро я вызвал врача. Вскоре в подвал явился врач. После краткого обследования он сказал:

– Вам необходимо немедленно лечь в больницу. Сердце никуда не годится.

Он говорил по-немецки. Спросил, долго ли я нахожусь в этом подвале.

– С десятого ноября.

– Значит, больше месяца? Возмутительно.

Он быстро исчез. Я не мог ни есть, ни пить. Пришел Фрэй из Си Ай Си и повез меня к американскому военному врачу. Ему тоже не понравилось мое состояние.

Фрэй потребовал, чтобы мне сделали кардиограмму, поскольку я жалуюсь на сердце. Врач заявил, что болезнь скорее легочная, чем сердечная.

– Значит, вы врал! – закричал на меня Фрэй. Несмотря на мое тяжелое состояние, Фрэй повез меня на допрос, в котором принял участие и Томас.

– Сперва вы предали Грейфсвальд. Теперь собираетесь предать и собственную жену?! А могли бы жить так хорошо.

Мне всегда в самых розовых тонах изображали преимущества жизни на Западе, очевидно надеясь склонить к предательству... Я снова и снова протестовал против того, что мою жену, несмотря на честное слово, допрашивали и задержали в Западном Берлине.

– Этого я не ожидал от американского офицера. Это гангстерские, гестаповские методы!

Выведенный из себя моими бесконечными протестами, Томас проговорился:

– Мы тоже не ожидали, что ваша жена такая же розово-красная, как вы!

Теперь до меня дошло. Все ясно. Я попросил дать мне время на размышление, сославшись на свое тяжелое состояние. В подвале я прежде всего отоспался и снова почувствовал под ногами твердую почву. Впервые за время ареста спал я крепко и долго.

На следующий день я трезво обдумал и сопоставил противоречивые утверждения американцев: с одной стороны, моя жена якобы просила «о политическом убежище» и даже «собиралась развестись» со мной, с другой, – она неисправимая «розово-красная». Американцам нравилось это выражение – так они постоянно называли меня. Я и раньше не верил в мнимый побег моей жены на Запад, а теперь уже не сомневался, что со мной ведут жестокую игру. А если ту же игру ведут с женой?.. От одной этой мысли голова у меня шла кругом.

Я решил поводить за нос господ американцев. Но как? Здесь нужен добрый совет. А с кем тут посоветуешься?

– Иди, пап, выпьем!

Мой черный друг подсел ко мне на койку и все жужжал о своей бедной «белой барышне», которая осталась совсем одна с маленькими детками. Он с гордостью показал мне почтовые переводы на солидные суммы, которые он посылал ей из своего содержания. Но его приговорят, и все это кончится. Что будет тогда?

– Бедная белая барышня с четырьмя детишками! Придется ей голодать...

Я спросил, почему же четыре. Нет, он не ошибся: двух она родила раньше. Воспользовавшись случаем, он стал расхваливать мне все ее телесные и душевные качества.

Я осторожно осведомился, все ли дети его «белой барышни» белые. Так же серьезно, как он рассказывал мне о своей любви и убийстве, он ответил:

– Нет, все четверо цветные.

Так я узнал еще одну трагедию оккупантов. Помочь я не мог. У меня хватало своих забот. Днем и ночью я ломал себе голову, как вырваться из лап американского вампира.

* * *

И вот у меня готов план обмана Си Ай Си. Уже достаточно долго я обучался у американской разведки и решил зацепиться за «цветной металл» доктора Кислинга. Этот вожделенный дефицитный товар в то время был особенно высок в цене как на Востоке, так и на Западе и служил объектом неистовой спекуляции. Однажды, когда Фрэй зашел в подвал, я спросил:

– Скажите, что, собственно, я совершил плохого? Почему со мной так обращаются? Я никого не убивал, не спекулировал цветным металлом...

Не подумав, Фрэй ответил:

– Вы противопоставили себя нам.

Неожиданный маневр удался. Я подбавил масла в огонь:

– Я же нахожусь в Германии. Я боролся за единство своего отечества и за мир.

– Мира не будет! – грубо крикнул Фрэй, стукнув ногой об пол.

– Ах, вот, значит, в чем дело. – Я произнес это вполголоса, но очень серьезно.

Фрэй даже опешил. Сперва он не находил слов, затем добавил, желая смягчить впечатление:

– Во всяком случае до тех пор, пока на земле существует эта преступная система!

Так этот международный жандарм выдал себя с головой. Наступила пауза. Я решил продолжать наступление. С тех пор как я убедился, что моя жена тоже «розово-красная», я почувствовал себя уверенней, а главное – предприимчивей.

– Я думал, вы все-таки образумитесь, – сказал Фрэй.

– Так оно и есть, – подтвердил я, дразня его. Удивление

отразилось на лице Фрэя. Радуюсь, но еще не веря своим ушам, он вопросительно смотрел на меня:

– Ну и как?

– Я решил быть верным жене.

Он облегченно вздохнул, уверенный, что наконец достиг цели. Желая «морально» поддержать мое решение, он повторил старую басню:

– Ваша партия все равно продала и предала вас. Районное правление партии вывело вас из своего состава. По происхождению и образованию вы принадлежите Западу. А ваша жена – тем более. Здесь вы сможете, получая пенсию полковника, жить легко и свободно.

Он засуетился. Ему, видимо, не терпелось сообщить о своем «успехе» шефу. Оставив мне два номера «Мюнхенер меркур», поддерживающего правый курс в политике католического центра, Фрэй удалился.

Я снова остался один в своем подвале. Меня стали мучить сомнения. Хорошо, если все сойдет гладко.

Я чувствовал озорную радость. Теперь важнее всего дать знать жене о положении дел. До сих пор это не удавалось. Но сейчас ситуация благоприятнее, чем когда бы то ни было. Как же это сделать? Наконец меня осенила мысль, и я тут же написал жене письмо.

В связи с приближением зимы естественно звучали всякие хозяйственные указания: по поводу зимней одежды, отопления и т. д. Между прочим я вставил: «... а главное, не забудь застраховать имущество от пожара». Эта фраза должна была сказать жене, что я ни в коем случае не собираюсь порывать с домом.

Письмо ко мне не вернулось. Значит, прошло цензуру. Теперь меня тревожило только одно: поймет ли жена мой намек насчет страхования и сможет ли так же хитро водить за нос американцев, пока будет длиться мой процесс?

Следующее утро началось с волнений. Как я и ожидал, меня повели к Дэлери. Он был осторожнее и последовательнее, чем Фрэй. Ловко затеял разговор о том, что мы с женой имели бы гораздо меньше хлопот, если бы я сразу принял решение просить политическое убежище.

– И нам было бы меньше хлопот. А теперь все осложнилось. На основании вашего прежнего поведения я обрисовал вас начальству, как неисправимую жертву красной чумы. – Он наблюдал за мной. – От вас потребуют доказательств вашей доброй воли.

Я молчал.

– Но мы ваши друзья и не будем особенно мучить вас. Достаточно, если вы раза два выступите по радио с осуждением политики вашей партии и Национального фронта.

Я отказался. Он заявил спокойно и доброжелательно:

– Подумайте на досуге...

Enfant terrible{33} Фрэй добавил, что доклады очень хорошо оплачиваются.

– Я вам советую подумать и о своей жене.

О ней я думал больше, чем он предполагал. Поймет ли она? Может быть, ее так же обманывали и опутывали ложью, как меня? По всей вероятности, так оно и было. Все теперь зависело от «страховки от пожара». Я рассмеялся при этой мысли.

Поворот наступил скорее, чем я предполагал.

Появился Фрэй с искаженным от злости лицом. От волнения он говорил с трудом.

– Письмо от вашей жены из Грейфсвальда! – выпалил он.

Да, Фрэй не был дипломатом. Он злобно швырнул на стол толстое письмо со множеством марок. Значит, дошло. Я схватил письмо, написанное от руки. От него исходило счастье и избавление. Как и я, моя жена мучительно ждала выяснения. Бешенство Фрэя не трогало меня, я почти не слушал его. Запомнилась лишь одна его фраза:

– Вы, как змея, которую держишь в руках, а она ускользает.

Снова потянулись тяжелые дни в подвале. Для Си Ай Си я был беззащитным подследственным, на которого они натравливали других заключенных. Состав заключенных менялся, но негры по-прежнему оставались моими друзьями. Они жалели меня за то, что я так долго сижу в этой невыносимой дыре. Когда какой-то белый американский сержант попытался было избить меня, негры встали на мою защиту. Но у Си Ай Си было достаточно других средств. Меня усиленно потчевали какими-то инъекциями.

Однажды меня повели на второй этаж казармы. Там я еще не бывал. Все до боли сжалось во мне: неужели сейчас начнется допрос «третьей степени»? Я не мог избавиться от этого чувства и после того, как вошел в большое помещение, где кроме Томаса и Фрэя, находилось несколько незнакомцев. Все молча смотрели на меня. Тягостная, гнетущая тишина...

Вдруг раздался голос. Я не видел, кто говорит, по голосу показался мне знакомым. Взглянув в угол наверх, я обнаружил там репродуктор. Из него несло: «Свои показания я даю с тяжелым сердцем, потому что господин Петерсхаген показался мне очень симпатичным. Но мой долг – говорить чистую правду».

Я испугался: это был голос Бэра. Репродуктор выключили, и

все, кроме меня, засмеялись.

– Может быть, вы, наконец, сделаете подробное признание или вы хотите услышать собственный голос?

– Я уже подготовил вам должность, и неплохую. Вы сможете жить в мире и бороться за мир, – прозвучал из репродуктора чей-то чужой голос.

Репродуктор снова выключили.

– Вы это говорили?

– Да. Но это не мой голос.

Снова включили репродуктор. То, что доносилось из него, казалось мне таким же таинственным, как сказки из «Тысячи и одной ночи». Я категорически потребовал очной ставки с Бэрм, чтобы, глядя ему в глаза, опровергнуть его ложь. Американцы отклонили мое требование, и тогда я отказался признавать столь странное средство доказательства.

– У-у, змея... – прошипел Фрэй.

Мне стали угрожать «детектором лжи». Я не слышал даже такого названия. Мне объяснили. Допрашиваемый включается в электрическую сеть, как при электрокардиограмме. Аппарат-детектор отмечает все колебания. Они становятся якобы особенно сильными, когда допрашиваемый говорит неправду. Я тут же согласился подвергнуться этой странной процедуре. Но «детектор лжи» был отклонен, как и требуемая мной очная ставка с мастерами лжи Бэрм, фон Гагеном и компанией. Зато меня без конца пугали «суровой карой». На мой вопрос: «За что?» мне отвечали общими фразами:

– Вы сами знаете, что вы натворили. Это хуже убийства.

Предложение работы, которое я по настоятельной просьбе Бэра привез ему в Мюнхен, теперь рассматривалось, как подготовка к похищению человека. Чтобы я не ушел от «земной справедливости», у меня отобрали бритву и даже шнурки от ботинок. Механически я стал снимать и свой добротный кожаный ремень, но его мне разрешили оставить. Недвусмысленный намек! Нет, такого одолжения эти «христианские носители культуры» от меня не дождутся. Я не стану огорчать своих близких. В таком виде – без шнурков, небритый, в потрепанном костюме – я ходил, шаркая ботинками, по подвалу Си Ай Си, чистил параша черных и белых убийц, получал инъекции и ждал процесса.

Мне прислали обвинительный акт. Да, формально все шло даже слишком корректно. Обвинение составлено на основании оккупационного статута. Заголовок и подпись – по-английски, текст обвинения – по-английски и по-немецки. Меня обвиняли в нарушении §2 закона № 14 Верховной союзнической комиссии.

Вина моя состояла в том, что 19 июля и 9 ноября 1951 года в Мюнхене, Германия, мои действия были направлены якобы на распространение и поддержку деятельности Национального фронта демократической Германии (НФДГ) – группы, враждебной интересам союзных вооруженных сил. Мои противозаконные действия, указывалось далее, выражались в том, что я установил контакт с неким Эрнстом Бэром и пытался завербовать последнего на службу НФДГ, то есть заставить его работать против интересов союзных вооруженных сил. Как говорится, кашу маслом не испортишь, и мне для верности инкриминировалось еще нарушение §3 раздела 2 закона № 14 оккупационного статута: передача сведений, полученных от Бэра, «подрывала безопасность и интересы оккупационных властей и оккупационных войск».

* * *

В подвале у всех было рождественское настроение. Арестованные веселились. Как сообщили мне мои чернокожие друзья по несчастью, нам разрешат присутствовать на праздновании. Они перечисляли, что мы там увидим. Но истинная причина их хорошего настроения была иная. Дело в том, что неграм разрешили поговорить с американским адвокатом. Тот заявил, что, учитывая настроение немецкого населения, они будут строго наказаны, возможно, даже получат смертный приговор. В печати будет опубликовано: «Американский солдат оккупационных войск приговорен к смерти за убийство шофера такси» или «за изнасилование и убийство немецкой женщины». Но потом их быстро помилуют, и через год или два они окажутся на свободе. В конце концов, жертвы – всего-навсего немцы. Это несколько примирило негров с их американскими хозяевами.

А мне было не до праздника. Я думал только об одном – поскорее выбраться из этого сырого, душного подвала.

– Ваше дело завершено, – заявил мне однажды сам Томас, – и хуже вам не будет. Но чтобы выбраться из подвала, необходимо подписать протокол об окончании предварительного следствия и об ознакомлении со всеми материалами по делу. Никакого влияния на ход процесса это не окажет.

Казалось, он говорил искренне. Протокол был составлен, и я, вконец разбитый душой и телом, подписал его.

Томас, он же Дэлэр, торжествующе удалился, прихватив этот трофей. Я понял, что совершил ошибку, но это почти не трогало

меня. Сломленный физически, я испытывал какое-то странное безразличие к своей судьбе. Хорошо, что я так и не назвал имени своего друга. Это утешало меня и злило деятелей Си Ай Си.

Последнее напутствие дал мне Фрэй:

– Если вы будете защищаться в суде так же, как здесь, вам припают высшую меру. Учтите: все в ваших руках... – многозначительно заявил он.

Но я не пожелал воспользоваться этой сомнительной свободой выбора и навлек на себя непримиримую ненависть Си Ай Си.

В рождественские дни я оказался в немецкой тюрьме Штадельгейм, неподалеку от казарм Си Ай Си. Этот перевод не обошелся без новых душевных потрясений, и все же я облегченно вздохнул. В камере было хоть окно, пропускавшее свет.

Как все заключенные, я имел право на ежедневную сорокапятиминутную прогулку. Правда, она ограничивалась узким пустынным двором тюрьмы, и ходить можно было только по кругу, но я с наслаждением вдыхал свежий зимний воздух. Скучная тюремная еда казалась мне вкуснее обильных американских обедов за счет оккупационных расходов.

В немецкой тюрьме я ждал американского суда. Он был назначен на 14 января 1952 года и должен был продлиться по крайней мере восемь дней. Почему так долго? Ведь свидетелями вызываются только два бывших офицера – фон Габленц и Веллер. Как мне хотелось, чтобы в эти дни со мной была жена!

Юристы и сведущие люди независимо от того, где они жили – на Западе или Востоке, говорили жене, что исход процесса может быть только один: полное оправдание. Ну, в худшем случае, три месяца тюрьмы.

Я был настроен не так оптимистически. Однажды я пережил политическую истерию американцев. Это случилось в тот день, когда заключенных из подвала привели для медицинского обследования в большой лазарет. В регистратуре сверяли данные о каждом из нас, записывали, кто в чем обвинен. Убийство или двойное убийство американцы фиксировали с таким же спокойствием, как данные о месте и дне рождения. Но вот очередь дошла до меня. На вопрос, в чем меня обвиняют, я ответил: «Политический заключенный». Пишущие машинки затихли. Все служащие с ужасом уставились на меня. В этой пугающей тишине вдруг раздался хриплый истерический голос какой-то женщины врача: «Is he communist?»{34} Атмосфера до того накалилась, что чиновник Си Ай Си вынужден был вмешаться и остудить пыл слишком ретивых служащих.

После этого происшествия я ждал предстоящего процесса

весьма скептически. Но что делать? Пока, сидя в немецкой тюрьме, мне приходилось только ждать дня американского суда. Я радовался, что хоть тюремные надзиратели относились ко мне хорошо.

Однажды надзиратель объявил, что меня желает видеть гость – лютеранский пастор. Я обрадовался, что могу поговорить с человеком, который по своему призванию и долгу обязан понимать, что такое справедливость. С этого я и начал наш разговор, но мы тут же застряли. Тюремный пастор не признавал «мира на земле». Подняв кулаки, он требовал ремилитаризации и не двенадцати, не четырнадцати, а по крайней мере пятидесяти немецких дивизий для начала. Я был подавлен. После окончания второй мировой войны я впервые слышал подобные рассуждения от немецкого пастора.

Праздновать рождество вдали от родины всегда неприятно. Но особенно тяжело в такие дни в один-очной камере, невинно обвиненным. Печально шагал я взад и вперед, с тоской и грустью думая о жене. Вот в коридоре послышались шаги. В одиночестве невольно прислушиваешься к любому шороху. Шаги затихли возле моей камеры. Загремели ключи. Тяжелая скрипучая дверь медленно открылась. Вошел надзиратель, неуклюжий в своем пальто с оттопыренными карманами, и сразу же принялся ругаться. Ах, если б я лучше понимал по-баварски!.. В его глазах я уловил хитрую искорку. Он сказал, что жена моя прислала посылочку со всякими запретными вещами и что из-за этого он может попасть в беду.

– Почему?

Не говоря ни слова, но сияя, он вытащил из одного кармана толстопузую водочную бутылку, из другого – всевозможную снедь и сразу приобрел нормальный вид. Доброе сердце совратило человека и привело на путь нарушения служебных обязанностей. В узкой камере тюрьмы надзиратель и заключенный вместе праздновали рождество и рассказывали друг другу о пережитом. Надзиратель был из «двенадцатирогих»{35}. Отслужив свой срок, он как кадровый унтер-офицер попал в органы юстиции и автоматически стал членом нацистской партии. За это он поплатился в 1945 году, подобно многим другим рядовым членам национал-социалистской партии. Теперь, во времена ремилитаризации, его решили вернуть на прежнюю должность и назначили надзирателем с «испытательным сроком». Для каждого из таких кандидатов испытание было вопросом его существования. И опять, как в былые времена, чтобы пройти испытание, надо было состоять в «государственной партии». В Баварии это христианско-демократический союз (ХДС). Такое

условие ставилось теперь еще откровеннее, чем при нацистах.

– В нацистскую партию мы вступали охотно. Как солдаты мы считали себя вне политики, но, разумеется, были настроены националистически. Нам, маленьким людям, немецкая национал-социалистская рабочая партия казалась самой подходящей.

Я хотел возразить ему, но оказалось, он и без меня уже понял, что немецкий народ был обманут.

– Теперь мы, раскаявшиеся грешники, очутились в ХДС. – Он печально покачал головой. – После всего, что я пережил, как-то не очень веришь этой братии в черных сутанах. Вы только взгляните на нашего тюремного пастора! – надзиратель боязливо оглянулся на дверь и прислушался.

– Он у меня был, – сообщил я. – Если бы мне не сказали, что он священник, я бы тысячу раз поклялся, что это бывший офицер, а теперь вербовщик из ведомства Бланка.

Бросив на кровать тяжелую связку ключей, надзиратель рассмеялся до слез. Потом снова заговорил серьезно и официально:

– Господин полковник, вы, наверное, знали об этом?

– О чем?

– Ну, что этот лютеранский пастор действительно был офицером. Он сменил только форму и больше ничего.

– А вы, лично вы, тоже хотите вернуться на прежний путь? – спросил я.

– А что же мне, черт побери, остается делать? – возразил он, почесав в затылке.

Вдруг послышался шум, стук и крики. Мы испуганно притихли – в пылу разговора мы и забыли обо всем окружающем. Положение было довольно опасное. Схватив связку ключей, надзиратель выглянул за дверь и сказал:

– Минуточку. Перемещенный из четырехста четвертой камеры опять бунтует. Припадочный.

Вскоре все стихло, и он вернулся.

– На этих перемещенных жалко смотреть. Не знают, куда податься. Пропадают ни за грош в лагерях. Становятся преступниками и – в тюрьму. Кто соглашается вступить в армию ЕОС{36}, в любой американский или другой рабочий батальон, – освобождается из лагеря. Но вскоре снова туда попадает.

Мне пришлось много рассказывать ему о родине на «той стороне», о которой он знал очень мало.

– Если бы нам удалось повесить тех немногих, кто готовит новую войну, во всем мире воцарился бы чисто баварский королевский покой, – заключил он.

Остаток вина он вылил в мой стакан, забрал пустую бутылку

и исчез.

На следующий день меня вернули с прогулки. Обычно это предвещает что-то недоброе. Я уже слышал, что во всех камерах производили тщательный обыск.

Чужой надзиратель втащил меня в камеру, закрыл дверь и закричал по-баварски:

– У вас тут вино! – он указал на мой стакан. – Где это видано! Здесь не бар!

Судя по тону, он был ко мне расположен, и я ответил, что коричневая жидкость в стакане – лекарство для полоскания горла.

– Полоскание! Ишь ты, придумал же! – ухмыляясь, он понюхал «лекарство».

Запах пришелся ему по душе. Это был ликер, настоенный на травах и присланный моей женой из Грейфсвальда. Мы подмигнули друг другу. Он осторожно выглянул в коридор, а затем признался, что знает все не только о моем деле, но и насчет посылки. Он посоветовал поскорее принять «лекарство» – так будет вернее. Презрительно отозвавшись об американцах и их методах, он ушел.

Тем временем прогулка закончилась, и арестанты, стуча башмаками, вернулись в камеры.

Доброе отношение надзирателей поддерживало меня в трудное время. Эти старые солдаты и простые люди не хотели ни фашизма, ни войны, они считали себя жертвами Гитлера и его хозяев. Многие из них после страшных преступлений и переживаний ощутили потребность уйти в религию. Этим ловко воспользовались определенные политические круги. Всех, отшатнувшихся от фашизма и войны, они старались завербовать в ХДС и впрягали в свою колесницу. Им было совершенно безразлично, верующие ли это люди, нет ли. Перед теми, кто начинал сомневаться, тут же вставал вопрос о хлебе насущном: «Смирись или подыхай с голоду!»

Не таким ли путем однажды уже накопили силы?.. На первый взгляд как будто ничего общего. Там – авантюристы. Тут – добрые христиане. Значит, не может быть повторения былых преступлений. Так наивно рассуждали многие легковверные люди.

* * *

Во время прогулок разрешалось ходить по двое, но можно было менять партнера. В нашем отделении жили только подследственные. Среди них много уголовников-рецидивистов,

которые великолепно разбирались в законах. Они точно предсказывали, кто сколько получит, и редко ошибались. Они же давали ценные советы, как держать себя на процессе. По опыту они знали, что самые лучшие перспективы – у автомобильных воров, спекулянтов американскими папиросами и кофе, у сутенеров и прочего не любящего работу сброда.

– Заяви, будто ты рвался в армию ЕОС, не успел найти работу и в конечном счете обанкротился. Все будет о'кэй. Ничего тебе не сделают. Ну, если ты наворотил бог знает что, американец ради проформы вкатит тебе несколько годочков условно. Практически – остаешься на свободе и получаешь полную возможность взвесить на досуге, что лучше – служить американцам пушечным мясом или промышлять в прежнем духе.

Услышав о выдвинутых против меня обвинениях, эти «юристы» призадумались.

– Черт побери, дело дрянь! Тут поможет только одно – сжечь на корню пальму мира и переключиться на ЕОС. Иначе вам придется плоховато!

Речь моих «адвокатов» была пронизана американско-английским жаргоном. Что ж, общность идеалов – общность языка.

– Во всяком случае надо поскорее выскочить из вашего восточногерманского драндулета. Иначе вам крышка.

В отличие от принятой в тюрьме манеры обращения со мной разговаривали на «вы» и весьма предупредительно.

Однажды во время прогулки я обратил внимание на новое лицо. Сорокалетний хорошо одетый мужчина несколько раз сменил партнеров и, наконец, подошел ко мне. Он представился редактором крупной газеты. В баварский ландтаг и в газету поступили жалобы на плохое обращение и питание в тюрьме Штадельгейм. Редактор хотел знать мою точку зрения. Я ответил, что после подвала Си Ай Си, где я жил без света и воздуха, здесь как в доме отдыха. Но я охотно расскажу ему о безобразном отношении американцев.

– Для меня это не ново, но исключено. На подобную тему в печать не проникает ни слова.

До сих пор я, признаться, все-таки верил в западную свободу слова, хотя и в определенных рамках. Признание западногерманского журналиста ошеломило меня.

Столкнулся я и со шпиком. Несмотря на ничтожный опыт в этой области, я быстро раскусил его топорную игру. Назвав себя «политическим», он переборщил в осведомленности о моем деле и чересчур настойчиво стал выспрашивать, кто рекомендовал мне Бэра. Шпик утверждал, что поскольку он скоро выйдет на волю,

его долг – разоблачить «предателя и виновника моего несчастья». Значит, американцы так ничего и не узнали, Это обрадовало меня.

Перед началом процесса меня перевели в общую камеру тюрьмы при полицейском управлении Мюнхена. На сплошных двухэтажных нарах тесно, как сельди в бочке, лежало человек тридцать. Было холодно.

– Как вы сюда угодили? Ведь сюда волокут всякий сброд. Во время процесса каждому обвиняемому положены покой и отдых.

Для меня это было новостью, в я тут же попросил надзирателя перевести меня в отдельную камеру.

– Разумеется, это ошибка, просим прощения! – ответили мне.

Но все осталось без перемен. Один из надзирателей признался:

– Ничего не поделаешь: распоряжение американцев.

В полицейской каталажке не было покоя ни днем ни ночью. Санитарные условия – ниже всякой критики. Как в голубятне, то и дело хлопали двери. Особенно ночью. Кого ни подберут на улице, швыряют в нашу дыру. Пьяные дебоширят, ругаются, остальные протестуют против несправедливого ареста и грубого обращения.

Время было карнавальное, происшествий много. Каждый новичок непременно докладывал, что с ним стряслось. Случаи бывали курьезные. Один юноша в «Визне», мюнхенском парке, выиграл стилет. Какой-то американский солдат, желая отбить у него девушку, с помощью военной полиции арестовал его за незаконное хранение оружия. Молодой человек стал сопротивляться. И вот, избитый, без воротничка и галстука, очутился в камере. Это был ученик из какого-то торгового предприятия, с судами никогда не сталкивался. Как и я в свое время, он то ощупывал недостающие зубы, то искал сорванный воротничок и галстук. Он тоже иначе представлял себе американских освободителей.

– Будь спокоен, твою милаху американцы обработают! – издевался над ним весь сброд.

Но молодой человек был уверен в своей девушке. Кто-то сказал:

– Да что говорить, немецкая верность и в этом смысле стала дешевым товаром. Впрочем, это не удивительно. Наши верхи показывают пример. Не успела кончиться война, как дочь бывшего кронпринца Вильгельма отправилась с каким-то американцем за океан, в Техас. Исключительно за доллары.

Еще долго саркастически судили и рядили о делах семьи бывшего кронпринца. На городской свалке жили весело и дружно.

14 января начался мой процесс. Параллельно слушались дела уголовников, которых, как и полагалось, содержали в отдельных камерах. Ежедневно после мучительной ночи я вынужден был становиться рядом с ними в строй на нижнем этаже тюрьмы. После переключки нас попарно сковывали наручниками и на «зеленой Минне» везли в суд. Там запирали в общую камеру, где мы ждали вызова. От зала заседаний камеру отделял только коридор, и все же каждый раз на меня надевали наручники. Не гнушались ничем, чтобы унижить меня, запугать, словом, морально растлить перед процессом.

В зале заседаний я увидел только представителей Си Ай Си во главе с Томасом (он же Дэлэр) и Фрэм. Появился генеральный прокурор доктор Ноггль, а за ним немецкий прокурор на американской службе доктор Бауэр. Секретари – молодые американские девушки и переводчица – уже сидели на своих местах. Мне пришлось занять место на скамье подсудимых. Рядом со мной – официальный защитник доктор Кислинг.

Вдруг раздалися слова команды. Все поднялись. Вошел американский судья Фуллер, облаченный в черную мантию. Он восседал на возвышении один – заседателей не было.

Вначале исполнили всякие формальности. Меня вызвали к столу свидетелей и привели к присяге. По немецкому процессуальному кодексу обвиняемый, как известно, не присягает. У американцев же его. заставляют предварительно принять присягу вместе со свидетелями.

Я начал с протеста против скверного обращения при аресте. Доктор Ноггль вскочил и отклонил протест, шокированный моим выражением «подвальная дыра». Он заявил, что в тех же условиях содержатся «наши парни», то есть американские уголовники-убийцы. Я пожаловался, что в течение сорока дней мне не давали прогулок и не оказывали врачебной помощи. Представители Си Ай Си возразили, что я без конца получал лекарства и инъекции. Тогда мой адвокат очень осторожно выразил сомнение в пользе таинственных инъекций. Он обратил внимание суда на противоречие: с одной стороны, мне делали дорогие пенициллиновые инъекции, а с другой – лишали света и воздуха.

Представители Си Ай Си пропустили это мимо ушей, заявив:

– Обвиняемый должен благодарить господ бога, что не попал в советские органы госбезопасности.

Я напомнил, что за четыре года пребывания в советском

плену до меня никто и пальцем не дотронулся. Со мной обращались корректно, хотя для них я был оккупантом, участником нашествия на их страну. А здесь, в своей родной стране, я, немец, боролся за единство Германии и за мир.

– Ладно, об этом поговорим позже.

Какой смысл во всем процессе, когда Фрэй недвусмысленно пригрозил мне: «Будете защищаться – судья даст вам высшую меру. Признаетесь во всем, скажете то, что мы требуем, – вас могут оправдать...»

Маленький худощавый судья производил впечатление строгого, дотошного, интеллигентного человека. До сих пор он молчал. Наконец изрек:

– У вас еще будет достаточно возможностей приобрести симпатии суда.

– Дело не в симпатиях, а в справедливости, – возразил я. – Но в этом мне отказано. Надо мной совершено грубое насилие.

Адвокат доказал, что в свое время суд запротоколировал его протест против моего содержания в подвале. Было обещано принять меры, но положение так и не изменилось. Я клятвенно подтвердил показания защитника.

Тут ни с того ни с сего вмешались деятели Си Ай Си. Томас – Дэлер заявил, что со мной обращались слишком хорошо. «Петерсхаген не заслужил того хорошего питания, которое он получал». Подхватив этот шар, судья спросил меня, каково было питание.

Я ответил:

– Превосходное! Но я им не пользовался. Я почти не мог есть.

Защитник выразил энергичный протест против протокола об окончании предварительного следствия. Он заявил, что, пользуясь моим тяжелым состоянием и посулив улучшить мое положение, меня принудили подписать этот документ. Такой протокол не действителен. Защитник потребовал вызвать в суд врача, который обследовал меня в то утро, когда я находился в подвале. Представитель Си Ай Си настаивал на вызове другого врача, военного, который пришел ко мне позже. Судья решил вызвать на следующий день и того и другого врача.

Мне предложили рассказать, что происходило со мной после возвращения из плена. Когда я дошел до высоких знакомств господина фон Гагена, мне запретили касаться этой темы. На его имя американцы наложили табу, оберегая репутацию продажного, готового на все политического спекулянта.

На следующий день в суд явились врачи. Только теперь я узнал, что первый врач, который меня обследовал, был немец, доктор Розенталь. Несмотря на нажим Си Ай Си, он не изменил

прежнего диагноза: сердечная недостаточность. Врач подробно описал мое состояние. Американский военный врач спокойно и деловито подтвердил диагноз немецкого коллеги. Снова вмешались работники Си Ай Си. Ссылаясь на электрокардиограмму, они заставили молодого – американского военного врача признать, что сердечные недуги были вызваны астмой, а не условиями заключения. Защитник заметил, что – причины заболевания и жалоб не может указать сам пациент. Важно, что оба врача подтвердили факт заболевания. Фрэй из Си Ай Си крикнул:

– Свои болезни он привез с войны!

Итак, Фрэй вынужден был признать, что я все-таки болен.

Но здесь решали не врачи. И приговор, и все определения суда давным-давно были расписаны за пределами зала заседаний. Судья был игрушкой в руках Си Ай Си. Он заявил, что в тот день, о котором идет спор, я был в состоянии давать показания. Добытый провокационным путем протокол об окончании предварительного следствия и об ознакомлении со всеми материалами по делу был признан действительным.

В зал вызвали Бэра. С мертвенно бледным лицом он присел у свидетельского стола. Тщетно пытался я перехватить его взгляд. Он избегал смотреть в мою сторону и давал показания тихим, измученным голосом.

Снова, как и при записи на магнитофон, он заверял, что я ему симпатичен. Защитник попросил разрешения задать Бэру несколько вопросов.

– Мистер Бэр, вы не заявляли властям о вашем госте из восточной зоны?

– Нет.

Собственно, этот факт уже был подтвержден Си Ай Си. Защитник продолжал:

– Но как бывший сотрудник Си Ай Си, разбирающийся в подобных вопросах, вы обязаны были заявить об этом?

Бэр, не подумав, под присягой ответил:

– Я не видел для этого никаких оснований. Наши разговоры были совершенно безобидными.

Судья помрачнел. Заерзали на своих стульях смущенные представители Си Ай Си. На меня никто не решался взглянуть.

Защитник установил:

– Это признание единственного свидетеля обвинения опровергает все улики и доводы против обвиняемого.

В тишине раздался скрипучий голос судьи. Переводчица перевела:

– Суд сам решит, что безобидно, а что нет.

Я переглянулся с защитником: судья яснее ясного дал понять нам, что факты не имеют никакого значения. Мою судьбу решает политическая цель процесса: внушить страх всем, особенно бывшим офицерам и солдатам, кто вздумает в Западной Германии бороться за единство и мир.

Объявили перерыв. Из комнаты судьи вышла женщина лет тридцати, направилась прямо ко мне и сказала:

– На Западе живетсЯ куда лучше, чем за «железным занавесом». Я думаю, вы не сможете этого отрицать.

– Нет, я не могу с этим согласиться. Во всяком случае мне жилось за «Железным занавесом» лучше, чем здесь.

Разговор оборвался. В этот роковой час я был против любых, пусть даже чисто тактических уступок.

Следующее заседание назначили на завтра. Зная, что предвидятся новые свидетели, защитник попросил отложить начало заседания хотя бы на полчаса: ему необходимо по делам одной из подопечных фирм побывать в нотариальной конторе. До его прихода за эти полчаса можно провести положенные формальности с новыми свидетелями.

– Извольте быть здесь так же точно, как я! – потребовал генеральный прокурор доктор Ноггль.

Тогда защитник обратился к судье Фуллеру:

– Высокий суд, у меня еще одно серьезное дело, где речь идет о миллионах!

Вместо судьи снова ответил доктор Ноггль:

– Может быть. Но здесь речь идет о большем! – он с ненавистью взглянул на меня.

Защитник, обычно выдержанный и спокойный, возбужденно воскликнул:

– Ни на одном процессе со мной не обращались так скверно, как на процессе полковника Петерсхагена!

– Во всяком случае завтра вы обязаны быть ровно в девять, иначе вас не допустят! – заключил доктор Ноггль.

Все встали: судья покидал помещение.

Измученного, в наручниках, вместе с уголовниками меня вернули в полицейскую каталажку. Отдыха не было. Кололо сердце, в горле что-то клокотало. Я задыхался в спертom воздухе. Но надо выдержать до конца. Только бы скорее кончился этот мрачный фарс.

На следующий день ровно в девять, одновременно с новыми свидетелями, явился и мой защитник. Он боялся рисковать своим положением сотрудника американцев. Да, смирись или подыхай с голоду!..

Формальности, предшествовавшие допросу свидетелей,

длились целую вечность. Защитник покраснел от негодования.

– Я бы давно подписал договор и был здесь! – зло бурчал он мне, как будто в этом виноват я.

Что за свидетели и зачем они вызваны – для меня было загадкой. Эту таинственную процедуру проводил доктор Бауэр. Я только понял, что свидетели были баварскими чиновниками среднего ранга.

– Что у вас общего с ними? – с упреком спросил меня доктор Кислинг.

Мне нечего было ответить – я сам недоумевал.

Оказалось, что находящийся на американской службе немецкий прокурор доктор Бауэр подошел к делу с прославленной немецкой пунктуальностью. Чиновники должны были заявить, что мой межзональный паспорт – фальшивый. Но доктор Бауэр – гражданин Федеративной Республики Германии, проникшийся американским образом мышления, – вынужден был убедиться, что эти простые люди остались немцами. Под присягой они подтвердили подлинность паспорта, выписанного на мое имя, и достоверность подписей официальных лиц. Доктор Бауэр настаивал:

– Может быть, подпись все-таки поддельная?..

– Я считаю ее подлинной, – упорствовал баварец.

Разочарованный молодой прокурор, испуганно заглядывая в глаза своему американскому шефу и кормильцу, заикаясь, начал что-то бормотать о современных технических средствах, о графологии и прочем. Попытка запутать свидетелей доктору Бауэру не удалась. После долгих расспросов правдолюбивых баварских чиновников очень нелюбезно отпустили. В суде снова воцарилась ледяная атмосфера.

Мои старые сослуживцы – генерал граф фон Габленц и полковник Веллер, вызванные в качестве свидетелей, ждали в коридоре уже несколько дней. Каждый раз меня в наручниках проводили мимо них. Через защитника я попросил их присутствовать на заседаниях. Но американская разведка никого не допускала на открытые заседания. Итак, процесс показательный, но – без публики. В этом «свободном мире» я решил защищать себя до конца, не обращая внимания на угрозы Си Ай Си.

Защитник передал моим бывшим товарищам просьбу прислать мне немного фруктов. Они тотчас купили апельсины, лимоны и ландрин и, по указанию Си Ай Си, все сдали в тюрьму. Всем уголовникам до приговора разрешались передачи, но я своей так и не получил.

Очередной день процесса. Габленц и Веллер по-прежнему ждут в коридоре. Молча шествую в наручниках мимо них. Опять в зале какие-то свидетели, которых я не знаю, – чиновники почты и железной дороги. Зачем их вызвали? Защитник вопросительно смотрит на меня. Пожав плечами, шепчу:

– Понятия не имею.

И снова режиссер представления доктор Бауэр с важным видом носится взад и вперед. Притащили стопу каких-то пакетов. Все они одного формата, аккуратно перевязаны.

К моему удивлению, меня снова вызвали к столу свидетелей, напомнили о значении клятвы и так далее. Доктор Бауэр спросил:

– Вы прибыли поездом номер сто пятьдесят? Этого я, конечно, не мог знать. Стали выяснять и, наконец, установили, что 8 ноября 1951 года в 14 часов 49 минут я выехал из Берлина с Восточного вокзала. – Is that correct? – спросил меня по-английски доктор Бауэр, немец.

Переводчица невозмутимо перевела:

– Это правильно?

– Конечно, правильно. Я этого не отрицал.

– Значит, вы прибыли поездом номер сто пятьдесят? – Пухлое детское личико доктора Бауэра просияло. – Благодарю, обвиняемый, достаточно. – Он отпустил меня жестом победителя.

Очередь дошла до почтового чиновника. Бедняга от волнения едва лепетал. И снова повторилось представление: номер поезда и так далее. Все – с немецкой пунктуальностью, за американские сребреники. Чиновник был в поезде номер 150 дежурным, готовил почту. Он торжественно поклялся, что эти таинственные пакеты, находясь в почтовом вагоне, в двадцать четыре ноль-ноль миновали зональную границу возле Пробстцелла.

– Они показались мне подозрительными. Все одинаковые и отосланы из восточной зоны!..

Доктор Бауэр, сияя, резюмировал: под присягой доказано, что пакеты доставлены тем же поездом номер 150, с которым прибыл обвиняемый. Теперь странный юрист перешел к содержимому пакетов. В них лежали экземпляры «Белой книги», изданной Национальным советом Национального фронта. Доктор Бауэр угрожающе прочел заголовок:

– «Белая книга о политике американско-английских интервентов в Западной Германии и о возрождении германского империализма».

– Гнусные нападки на американскую политику в Германии! – злорадно выкрикнул генеральный прокурор Ноггль.

Упоенный успехом в борьбе против своего немецкого соотечественника, доктор Бауэр спросил меня:

– Обвиняемый, что вы можете сказать по этому поводу?

Я присягнул, что еще не знаком с недавно изданной «Белой книгой» и ничего общего не имею с этими пакетами. Мой раздраженный защитник потребовал вскрыть пакеты и доказать, что все они содержат одно и то же.

Генеральный прокурор доктор Ноггль тут же высокопарно встал:

– Мы ведем сейчас самый большой и важный политический процесс после 1945 года!

Если это так, то зачем же, дескать, копаться в мелочах?!

Доктор Бауэр перестал ерзать и ловить ободряющий взгляд своего американского шефа. Он быстро листал «Белую книгу» в поисках даты ее выхода – ему не терпелось уличить меня. Но тщетно. Все молча ждали. Было слышно, как нервно шелестит страницами отчаявшийся прокурор.

Не считаясь с американским порядком ведения процесса, я попросил дать мне одну из «Белых книг», чтобы я смог ознакомиться с этой «опасной» литературой. Мою просьбу обошли ледяным молчанием. Заседание перенесли.

На следующем заседании были, наконец, допрошены генерал Габлекц и полковник Веллер. Оба заявили, что и после войны как письменно, так и устно они продолжали со мной живой обмен мнениями. Веллера спросили, какие у меня политические взгляды. Он ответил правдиво и продуманно, что я активный приверженец Национально-демократической партии Германии и Национального фронта.

– Значит, революционер! – сказал судья резко.

Веллер возразил, что я всегда ратовал за мирные методы и мирные цели. Недовольный ответом, судья продолжал докапываться:

– Затрагивал ли обвиняемый военные проблемы?

– Нет, только политические. Главным образом единство и мир.

Судья подумал, заглянул в бумаги:

– Вы дружите почти три десятилетия, служили в одном полку. Его любили или у него были враги?

– Его любили все. О врагах я почти не слышал.

Жена генерала Габленца по делам службы находилась в Вашингтоне. Судья уцепился за этот факт. Он спросил генерала:

– Интересовался ли Петерсхаген вашей женой?

– Нет.

– Не задавал ли вам обвиняемый вопросов, из которых можно

было бы заключить, что он шпион?

Темпераментный генерал схватился за голову:

– Никогда в жизни!

Да, теперь мне понятно стало, почему в Си Ай Си так противились приглашению этих двух свидетелей. Габленц знал меня так же долго, как и Веллер. Его спросили о моих отношениях с другими офицерами. Ответ был довольно длинным, но смысл я помню точно:

– Все сослуживцы настолько любили Петерсхагена, что я удивлялся, узнавая об исключениях.

Судья раздраженно листал бумаги. «Ага, сейчас всплывет Баудисин», – подумал я.

Допрос генерала фон Габленца и полковника Веллера кончился провалом американских режиссеров.

На следующий день состоялся перекрестный допрос, предусмотренный порядком. Обвиняемый может отвечать только «да» или «нет». На более подробные ответы надо испрашивать специальное разрешение. Вопросы защитника тоже регламентированы. Было запрещено упоминать имя моей жены и фон Гагена. Защитник обратил на это мое внимание. Бессонными ночами я доискивался причин запрещения. Может быть, агенты Си Ай Си боялись, что их грязная двойная игра со мной и моей женой будет разоблачена?.. Помимо угроз и шантажа, против меня применяли и другие подлые приемы: защиту ограничили разными запретами, меня самого довели до полного изнеможения.

С утра до вечера доктор Бауэр спрашивал: «Is that correct?»

Да, это правильно – я участвовал в создании организации НДПГ в Грейфсвальде. Да, я входил в районное правление Общества германо-советской дружбы и в состав окружного комитета Национального фронта. Да, я подписал протокол об окончании предварительного следствия. Но в каком тяжелом состоянии и под каким нажимом!.. Это не важно, обвиняемый должен отвечать только «да» или «нет». И: «Is that correct?», что я так и не назвал имени своего друга, вокруг которого нагромождались невероятные комбинации? Передал ли я Грейфсвальд Красной Армии без боя? Да, передал. Значит, бывший полковник Петерсхаген – коммунист. Но ведь США были союзником Советского Союза! От этого восклицания мое положение не улучшилось.

Потом я снова сцепился с карьеристом Бауэром. Я заявил, что между «да» и «нет» невероятно много тонких переходов, особенно если приходится отвечать на замысловатые, нарочито запутанные вопросы. Бауэр покраснел. Но представители Си Ай Си питали его

сомнительную храбрость записочками. Американская разведка – вот кто руководил этим «показательным политическим процессом». Разведка направляла и судью, и прокуроров. Слишком много общего с германским фашизмом и гестаповскими методами!

Защитник еще раз доказал суду, что показания Бэра путанные, противоречивые, ложные.

– Бэр лишь однажды сказал правду, – повысив голос, воскликнул защитник, – когда он заявил, что его разговоры с моим подзащитным были абсолютно безобидными!

Итак, установлено: Бэр дал ложные показания, и прокуратура обязана вмешаться в это дело. Но ничего подобного: судья не желал уличать Бэра в лжесвидетельстве.

Вопреки строгому запрету упоминать о моей жене, я рассказал суду о жестокой интриге, затеянной Си Ай Си, и о нарушении честного слова. И снова – ледяное молчание. У меня уже не хватало сил для борьбы!.. Впервые за время этой жестокой игры в кошки-мышки у меня сдал голос.

Сам генеральный прокурор доктор Ноггль произнес многочасовую заключительную речь. Он говорил быстро, возбужденно. О моем так называемом преступлении – почти ни слова. Вся речь о политике вообще. Генеральный прокурор на все лады превозносил американскую «освободительную политику» и предавал анафеме политику мира, эту «мировую коммунистическую опасность». Особо досталось НДПГ. Доктор Ноггль заявил:

– НДПГ – это опасная, преступная партия. Ловко маскируясь, она пытается втянуть мелкую буржуазию в красную систему. Обвиняемый с успехом создал такую розово-красную организацию в Грейфсвальде, а затем по поручению Национального фронта перенес свою разлагающую революционную деятельность в Западную Германию.

Итак, я не совращенный, а опасный совратитель.

– В Западной Германии, – продолжал Ноггль, – он действовал с невиданной наглостью, перетянув на свою сторону Эрнста Бэра. Это сильнейший после 1945 года удар по безопасности союзных армий! Предложение Бэру работы на Востоке – это возмутительная попытка переманивания в советскую зону. Подсудимый ни слова не сказал ни о ком из своих закулисных вдохновителей. Разве это не доказывает, что он упрям и опасен? Всю жизнь он занимал положение, которое давало ему возможность отлично разбираться в политике. Он достаточно развит, чтобы распознать преступность красной системы. Но он и по сей день держится за свою партию и за политику Востока,

которая является самой большой опасностью для западной христианской культуры. В 1945 году мы не постеснялись вешать патриотов и героев. Теперь мы обязаны без колебания расправляться с политическими противниками. Говорят, что обвиняемый ослеплен и действовал из идеалистических соображений. Тем хуже. Тем он опаснее. Это заставляет нас быть более бдительными. Такова великая задача, поставленная перед нами историей и богом!

Американка-переводчица взмолилась о передышке. Устроили перерыв.

Я обсудил с защитником положение. Он был настроен скептически. После речи прокурора мы уже не сомневались, что все будет решено не по закону, а в интересах определенной политики.

Указав в заключительном слове на множество необъяснимых противоречий в показаниях единственного свидетеля обвинения Бэра, защитник заявил:

– Обвиняемый ни разу и ни в чем не противоречил себе и энергично опроверг все показания Бэра. Разве можно считать преступлением принадлежность к НДПГ или деятельность в Национальном фронте? Мне кажется – нет. Ни одна из этих организаций в Западной Германии не запрещена. Даже Коммунистическая партия Германии – составная часть нашей западной демократии {37}. Служащие-коммунисты получают жалованье, значит, являются слугами государства. Если даже предположить, что Национально-демократической партией Германии и Национальным фронтом управляют коммунисты, все равно нет оснований для обвинения, пока Коммунистическая партия в Западной Германии не запрещена. То, что здесь, на процессе, было названо наглостью обвиняемого, на самом деле есть признак его чистой совести и веры в демократические свободы западного мира, признак убеждения, что его деятельность не преступна.

Защитник говорил спокойно и убедительно, но в конце попросил только о смягчении приговора. Это удивило и расстроило меня. При такой сильной аргументации он мог требовать полного оправдания.

В своем последнем слове я вновь изложил политические цели своей деятельности и твердо заявил, что не признаю за собой никакой вины.

– Мое поведение соответствовало моим взглядам, а это право и даже обязанность каждого немца, особенно в дни раскола. Мое дело – дело чисто немецкое. Доказано, что я не интересовался американской армией. Это под присягой подтвердили два

офицера. Доказано, что Бэру верить нельзя. Вы сами заявили, что это сомнительный и опасный человек. Вы хотели с моей помощью разоблачить его. Не могу себе представить, что я, человек, безусловно проживший пятьдесят лет, стал жертвой шпики и провокатора.

Американцы ответили молчанием и презрительными гримасами. Судья объявил, что приговор будет вынесен 22 января. Впереди оставалось еще воскресенье, которое я снова провел в Штадельгейме. Я был совершенно разбит этим «показательным» процессом без публики и ночами, проведенными в полицейской каталажке. Состояние здоровья ухудшилось. Днем и ночью меня терзало бессилие перед западными, оккупантами и неведение. Что же со мной будет?

22 января 1952 года, войдя в наручниках в зал заседаний, я увидел необычную картину: впервые на «показательный» процесс была допущена публика. Судья цинично подвел итоги. Он заявил, будто на этом важном процессе все было особенно тщательно расследовано и выяснено. Суд длился восемь дней с утра до вечера. Генеральный прокурор доктор Ногтль все взвесил и оценил в речи, длившейся несколько часов. И вот суд, состоящий из единственного судьи Фуллера и из-за кулис управляемый Си Ай Си, пришел к заключению, что подсудимый виновен по двум пунктам закона № 14 Верховной союзнической комиссии. Пусть теперь генеральный прокурор внесет предложение о мере наказания. Восемь дней наблюдал я за ним, всегда таким самоуверенным, суетливым и категоричным порой до патетики. Иногда он даже бил себя в грудь. И вдруг сегодня он, согнувшись, опершись руками о стол, тихим неуверенным голосом произнес:

– Я требую высшей меры!..

Наступила гробовая тишина.

– Суд удаляется на совещание. – И судья Фуллер вышел в соседнюю комнату.

В зале зажуужжали, как в улье. Незнакомые мне люди что-то быстро писали. Представители Си Ай Си куда-то исчезли. На меня надели наручники, повели по коридору. Тут я столкнулся с Дэлером и Фрэм, выходящими из кабинета судьи Фуллера. Они смутились.

Когда представители Си Ай Си вернулись в зал заседаний, к ним протянулось множество рук с блокнотами. Господа корреспонденты давали на просмотр свои отчеты. Я видел, как Дэлер и Фрэй предлагали что-то исправить, давая указания целым группам. В зале стоял такой шум, что никто не расслышал слов: «Суд идет! Встать!» Судья резко обратился к переводчице. Она перевела:

– Высокий суд уже в зале, и господа представители прессы обязаны считаться с этим.

Ах, так, значит, публика на процессе – представители «свободной» западногерманской прессы?! Они не были на прежних заседаниях и не знали истины. А теперь представители Си Ай Си диктовали им, что следует писать о моем деле.

Судья не затруднял себя: признав меня виновным по двум пунктам закона, он приговорил меня дважды к шести годам тюремного заключения, отбывать которое надлежало в Ландсберге. Для вящей убедительности он вытащил откуда-то из-под мантии газетную вырезку, помахал ею и сказал:

– В советской зоне опять затеян процесс против так называемых шпионов. Они приговорены к большому сроку наказания. Поэтому приговор, вынесенный мною, считаю умеренным. Подсудимый признал, что дважды был в Федеративной республике по политическим причинам. Процесс окончен. Приговоренного отвести для отбытия наказания!

«Встать!» потонуло в общем шуме. Большинство и без того вскочило. Какая-то американка, подбежав ко мне, крикнула:

– Неужели вы не будете опротестовывать?

Защитник тут же заявил суду, что приговор будет опротестован.

* * *

– Вынести параши! – так приветствовали нас каждое утро в тюрьме Штадельгейм, и каждый из арестованных выставлял в коридор для очистки свое ведро. Все спали, так сказать, в собственной уборной без спуска. Затем убирали помещение. Самое приятное за день – прогулка. На пустом грязном дворе между серыми стенами тюрьмы арестованные по двое шагали по кругу под наблюдением надзирателя.

Меня навестил защитник. Он принес два апельсина и газеты. Просторное помещение для свиданий было похоже на канцелярию: там стоял письменный стол. Только решетки на окнах напоминали о тюрьме. Мы поговорили о процессе и перспективах обжалования. Защитник считал, что капитан Бэр вначале имел, видимо, честные намерения. Но подкачал, когда почувствовал, что за ним наблюдают. Не считаясь ни с чем, сам себе противореча и давая ложные показания, он решил выпутаться за мой счет.

– Из Си Ай Си все время пытались протянуть вам руку. Вы и теперь имеете эту возможность, – осторожно намекнул Кислинг. –

Си Ай Си чувствует себя в вашем деле не очень уверенно, – добавил он. – А суровое наказание получили вы за свою верность восточной зоне.

Но я не захотел говорить на эту тему.

Вернувшись в камеру, я набросился на газеты. Раньше защитник приносил мне только «Меркур», а теперь было и несколько других газет. Они сообщали примерно одно и то же: «Бланк объявил воинскую повинность», «Полицейские налеты на КПГ по всей территории ФРГ», «Аденауэр требует общего договора и европейской армии для защиты христианской западной культуры». Кроме того, я прочел: «Кавалер ордена „Рыцарский крест“ – шпион», «Красный полковник получил два раза по шесть лет!» Под такими заголовками «свободная» западногерманская печать сообщала о моем процессе, на который она, собственно, не была и допущена. Американская разведка определила не только содержание, но и направление заметок: корреспонденты с иезуитской подлостью расписывали, какая опасность предотвращена осуждением «красного полковника», и связывала «уроки процесса» с требованием всеобщей воинской повинности, европейской армии и террора против коммунистов. «Красный полковник»! Да разве это не самая страшная «опасность»?

Однажды забрел ко мне и его преподобие – ради утешения раба божьего. Он стал осторожнее и на этот раз уже не говорил о пятидесяти дивизиях. Но все же посоветовал мне ориентироваться на американцев.

– Американцы продержат вас не больше года. Это терпимо.

Он заговорил о свободе выбора, которая дана нам от бога.

– Благодаря этой свободе я и примкнул к миру на земле, – подхватил я.

Его преподобие запетлял вокруг да около:

– Надо помнить и о своей судьбе. Это не противоречит воинственному протестантизму. Вы обязаны подумать о себе и о своей жене.

Я не сразу понял, к чему он клонит. Одно таинственное посещение в начале февраля пролило свет на все.

– К защитнику, – строго сказал надзиратель. Сперва меня привели в камеру ожидания. Когда я вошел, оттуда вызвали какого-то заключенного. В холодном пустом помещении находился еще один. Одетый в тюремный костюм, он бегал из угла в угол и что-то бормотал. Это был опустившийся человек из перемещенных. Разговаривая сам с собой, он проклинал лагерь Валька под Нюрнбергом, откуда его привезли. Чтобы вырваться из того ада, он обворовал какой-то магазин и получил полтора года.

– Зато деньги я хорошо припрятал. За такой куш имеет смысл отсидеть! – заявил он торжествующе.

Он рассчитал, что на каждый день отсидки приходится десять – двенадцать марок «заработка», если разложить припрятанное на полтора года.

– Столько я в жизни не зарабатывал!

Его цинизм потряс меня. Впрочем, в таких условиях это не удивительно.

В комнате для свиданий никого не было.

– Господин находится у директора, – заявили мне.

По тюремной привычке я шагал из угла в угол, размышляя и готовя себя к разговору с доктором Кислингом. Вот дверь открылась, я поспешил навстречу защитнику, но... не поверил глазам своим: передо мной стоял Фрэй. Без всяких предисловий он сказал:

– Вам очень хочется отсидеть шесть лет или вы образумились?

Я ухватился за край письменного стола и молчал, пока не пришел в себя. Затем я потребовал отвести меня обратно в камеру. Надзиратель недоуменно взглянул на Фрэя, потом на меня и молча повел меня в камеру. В ту ночь я спал особенно плохо. Неужели и после приговора меня не оставят в покое?

* * *

– Вас собираются спихнуть.

Надзиратель несколько раз повторил мне это слово. Наконец я понял: меня собираются перевести в Ландсберг. В плену перевод-в другой лагерь мы называли «транспортом».

На машине расстояние Мюнхен – Ландсберг можно преодолеть за два часа. Ведь это не тысяча километров от Красногорска до Моршанска. Так что даже зимой «спихивание» не проблема.

На рассвете 5 февраля 1952 года «зеленые Минны» доставили нас в пересыльную тюрьму Мюнхена. Там я оказался в отдельной камере. С начальником этой тюрьмы можно было разговаривать. Он сказал, что скоро поедем дальше, ждали только меня.

– Завтра поедете поездом, – добавил он покровительственно. – Машинами слишком шикарно для вас, бродяг.

На следующее утро нас стали «спихивать» дальше. Сперва мы построились в коридоре тюрьмы. Прибыли конвойные с целой кучей папок. Вызывали подряд и попарно сковывали

наручниками. Когда дошла очередь до меня, возникло замешательство. Начался какой-то спор. Наконец один из надзирателей громко сказал:

– Ничего не поделаешь, здесь все ясно написано.

«Значит, мне не наденут наручников», – подумал я, но ошибся: по предписанию американцев мне тоже приказали заложить руки за спину и защелкнули на них наручники.

В тюремном автомобиле поднялся психоз маскировки. Стреляные зайцы, зная, что нас ждет, пытались изменить свою внешность. Все зарились на мой берет. Я отдал его одному мюнхенскому консульскому чиновнику, осужденному за выдачу фальшивых эмиграционных документов одному еврею из перемещенных. Я не собирался маскироваться. Даже жалел, что на грудь мне не повесили плакат: «Приговорен американцами дважды к шести годам заключения за то, что боролся за единство Германии и мир!»

У вокзала нас встретила большая толпа. Людей привлек лай сторожевых собак и усиленный наряд полиции. Мы шли как сквозь строй. Теперь я понял, почему все старались замаскироваться.

Шагая сквозь толпу к вокзалу, я вспомнил далекий 1923 год. Здесь, в Мюнхене, я был курсантом пехотного училища. Незадолго до производства в офицеры нас небольшими группами, пригласил к себе Гитлер, чтобы «ознакомить со своими идеями и целями, внешними и внутренними». Мюнхен был так называемой «столицей движения». Здесь вскоре после первой мировой войны была создана национал-социалистская партия Германии. Тогда Гитлер требовал вести с берлинским правительством борьбу не на жизнь, а на смерть. Мы, солдаты рейхсвера, присягнули этому правительству, но наши офицеры-воспитатели терпимо относились к общению курсантов с Гитлером и даже поощряли его подрывную политическую деятельность. Считая это нарушением присяги, я написал в Потсдам своему командиру роты 9-го полка капитану фон Габленцу, тому самому фон Габленцу, который теперь не побоялся выступить на моем процессе. Еще в те времена я видел в нем не просто командира. Он ответил на мое письмо, что к присяге надо относиться серьезно. «Я тоже ни в грош не ставлю этого коричневого прожектера».

В письме я поделился своими впечатлениями о Гитлере: «В маленьких аудиториях он орет, как на митинге, стремясь подчинить себе волю слушателей». Эта истеричность сразу оттолкнула меня от Гитлера, и я перестал ходить на его «курсы».

Мой поступок не остался без последствий. Кое-кто из

воспитателей и однокашников начал избегать меня. Я был поражен неожиданным гитлеровским путчем 9 ноября 1923 года. Пехотное училище в полном составе приняло в нем участие. Представителем Гитлера к нам явился сам Людендорф. Но на меня не повлиял даже он: я отказался принять участие в «историческом марше к Фельдхеррнхалле»{38}, обосновав это верностью присяге. Нарушители присяги, взбунтовавшиеся офицеры посадили меня на гауптвахту за нарушение дисциплины.

Позже из Мюнхена же я несколько раз ездил на лыжные прогулки в горы. С этого самого вокзала двадцать лет назад мы с женой отправились в свадебное путешествие. Вот какие воспоминания проносились передо мной, когда я шагал в наручниках.

Я вошел в тюремный вагон, точно такой же, как «зеленая Минна». «Для короткой поездки терпимо», – подумал я. Но когда мы миновали Пазинг, наш маршрут показался мне странным, а когда вечером очутились в Аугсбурге – даже подозрительным.

Измученные дорогой, мы, наконец, вышли из вагонов. У вокзала нас встретил конвой. Снова всех сковали попарно. Когда дело дошло до меня, руководивший этой операцией чиновник опешил. Он снова и снова перечитывал мои бумаги, качал головой и, наконец, сказал конвоирам:

– Нет.

Затем он обратился ко мне:

– Можете идти одни и без наручников. Но помните – от вас зависит наша судьба... – недоговорив, он незаметно вытер глаза и прошептал: – Какой позор!

Я следовал за арестантами почти как свободный штатский.

Ночь я провел без сна – в огромной сырой камере было невыносимо холодно. Я дрожал, как в лихорадке.

Каждое утро и вечер очередного немецкого чиновника мучила совесть: должен ли он исполнить американский приказ и надевать наручники на соотечественника, не имеющего ничего общего с уголовниками? Наручников на меня больше не надевали, и доверия чиновников я не обманул.

Мы ехали поездом еще один день. Переночевали в Ульме. Я уже отчаялся когда-либо увидеть Ландсберг. От Ульма дорога шла вдоль реки Иллер к Альпам. Природа становилась все красивее. Наш вагон подолгу стоял на станциях. Одних заключенных высаживали, других подбирали. Наконец Кемптен в Альгейе. Ландсберг несколько севернее. Мы находились у подножия величественных, одетых в зимний наряд Альп. Опять потянулись дни, перегоны... Припоминаю какую-то станцию

Кауфбейрен. На шестой день нас, трех «ландсбергцев», на маленькой станции, кажется Бухлоэ, пересадили на местный поезд. Двое симпатичных на вид пожилых чиновников юстиции тщательно ознакомились с бумагами и отнеслись к нам по-человечески. В бумагах значилось, что двое моих спутников следуют в Шпетинген, а я в Ландсберг, в американскую тюрьму для военных преступников. Мы видели ее еще из окна вагона: комплекс зданий с массивной башней в центре. От нее, как крылья ветряной мельницы, отходили четыре одинаковых корпуса, ниже башни, но выше окружающих домов. Запомнилась еще высокая труба. Затем все осталось позади.

С вокзала, расположенного на южной окраине города, мы пешком отправились в Шпетинген. Конвойные рассказали, что Шпетинген был раньше подсобным хозяйством, принадлежавшем Ландсбергской тюрьме. В 1945 году оно перешло в ведение баварского правительства. А крепость Ландсберг стала американской тюрьмой номер один для военных преступников. В хозяйстве работают заключенные, впервые осужденные на небольшой срок или переведенные сюда за «хорошее поведение». Мои спутники принадлежали к этой категории. Когда мы открыли дверь управления Шпетингена, мелодично зазвенел старомодный колокольчик. Все сверкало чистотой, напоминая опрятный крестьянский двор в Гольштинии, на моей родине.

Мои спутники остались здесь, а меня вдоль кладбища, мимо красивой часовенки один из конвоиров повел в крепость. Мне бросилось в глаза, что могилы расположены симметрично. Сотни деревянных крестов выстроились ровными рядами, как на прифронтовых солдатских кладбищах.

– Разве и здесь шли бои? – спросил я конвоира. Он промолчал.

Я всмотрелся в надписи на крестах: ни одного имени, только номера погребенных и даты смерти. Я снова попробовал добиться ответа от конвоира, но он отмахнулся:

– В крепости все узнаете.

* * *

Стемнело. В тюрьме зажглись огни. Стены корпусов стали похожи на огромные, длинные шахматные доски: освещенные четырехугольники окон на фоне темной стены образовывали белые поля – сто по горизонтали и четыре этажа по вертикали. Решетка превращала в шахматную доску каждое из освещенных окон. За каждой решеткой сидел человек. Еще несколько минут –

и я окажусь там на шесть лет! Ноги налились свинцом.

– Только бы выбраться отсюда живым, – пробормотал я.

– Да. Уж лучше бы вам быть военным преступником! – заметил конвоир.

Мы вошли. Красивые новые здания. Вылизанный двор. Нигде ни снежинки. А ведь на всем нашем пути были горы снега.

– Административный корпус, – пояснил мой сопровождающий.

По его звонку нам открыл американский солдат в синем стальном шлеме, на котором большими белыми буквами было начертано: «СIC» (Си Ай Си). Меня передали с рук на руки, и вскоре я очутился на первом этаже управления.

Лестничная клетка и помещение, где я находился сейчас, напоминали скорее роскошную гостиницу, чем тюрьму. Повсюду горел свет. Все сверкало чистотой и излучало тепло. За столом сидел рыжеватый американский капитан лет тридцати. Он читал мои бумаги. Я сел, не дожидаясь приглашения. Он удивленно взглянул на меня, но ничего не сказал и продолжал читать. После этого зимнего «спихивания» я выглядел, видимо, настолько скверно, что офицер, кончив читать, отдал распоряжение, и передо мной появился огромный кофейник с настоящим кофе, сливки, сахар и толсто намазанные сэндвичи. Я набросился на бодрящий напиток.

Все пожитки у меня забрали. Пришел врач в тюремной одежде. Проверил, нет ли у меня инфекционных болезней, лишаев или вшей. Он шепнул мне:

– Я вас знаю. Вы меня крепко обложили на харьковском шоссе.

Врач был худой, довольно приятный человек. Позже я узнал, что это майор медицинской службы доктор Зикель из дивизии СС «Адольф Гитлер», которого я в свое время резко обругал за недисциплинированную езду.

Дежурный отвел меня в душ, а затем в камеру.

В тюремном корпусе было тихо и пустынно: демонстрировался кинофильм. Теперь я изнутри увидел башню, господствующую над крестообразными корпусами крепости. Она не только архитектурно, но и по своему назначению была центром всего комплекса зданий. От нее лучами, как пристройки в церквах, отходили четыре флигеля. Снизу вверх нарастали ее этажи, замыкаясь над крышами флигелей куполом из толстого стекла. Днем купол башни становился источником естественного света. Внизу в круглом холле находился небольшой стеклянный павильон. В нем всегда дежурили двое. Крыша павильона служила вышкой для надзирателей. Двери камер открывались

внутри. Вдоль камер шла узкая галерея, огражденная металлической сеткой. Вышка охраны была связана с каждой из галерей такими же железными дорожками. Все выглядело игрушечным, словно смонтированным из детского конструктора.

Моя камера была меньше и уже, чем в Штадельгейме, но зато теплее и чище. Над приделанной к стене откидной доской стола находилась выдвижная электрическая лампочка с абажуром. Правда, без выключателя, но лампочку можно было самому вывернуть или ввернуть. Я тут же воспользовался этой возможностью, погасил свет и лег спать.

На следующее утро я прежде всего осмотрел выданную мне одежду. Хорошее нижнее белье, длинные черные брюки с заглаженной складкой, темно-синяя навывпуск верхняя рубашка с пришивным воротничком и черная куртка на подкладке с матерчатыми погончиками. На всех вещах, включая верхнюю рубашку, было клеймо, нанесенное белой масляной краской: WCPL. Это сокращение означало: War Criminal Prison Landsberg, то есть Ландсбергская тюрьма для военных преступников.

Каждое утро надзиратель открывал камеру. Под его присмотром я должен был в соседней камере, где находился водопровод, очищать парашу. Как и все надзиратели, он носил стальной шлем и дубинку, которая, кстати, была не из резины. Это я понял, когда кто-то из надзирателей нечаянно уронил ее на железный пол. Я хотел задать ему какой-то вопрос, но он боязливо покосился на центральную башню, откуда все было видно, и потихоньку сказал:

– Вам запрещено разговаривать, пока вы в карантине.

В соседней камере, где я мыл парашу, он на чистом немецком языке объяснил мне, что изоляция в корпусе «Б-нуль» заключается в запрете разговаривать и продолжится примерно две недели. Оказывается, корпуса условно обозначались первыми четырьмя буквами алфавита, а этажи цифрами от нуля до трех. Теперь я кое-что знал о своем положении.

Меня повели к парикмахеру. Вблизи центральной башни в том же коридоре находились великолепно обставленные помещения. На одной из дверей было написано: «Barber-Shop» – парикмахерская.

– Сколько? – прошептал тюремный Фигаро.

– Шесть лет.

– Бог ты мой, какой же смысл сюда попадать! А я вот все еще «ПЖ», – с гордостью заявил он. В тюрьме это означало «пожизненно». Перед парикмахерской находился щит с объявлением: заходить за этот щит в «Б-нуль» запрещено. Потому-то в моем коридоре царила такая мертвая тишина. Я

действительно был изолирован.

Еду мне приносили в камеру. Количество и качество ее было значительно выше, чем в обычных тюрьмах.

Вся одежда, которую мне выдали, пришлось в пору, кроме обуви, но это из-за моей раненой ноги. После длительных переговоров я с трудом добился возврата своей ортопедической обуви, а заодно вечной ручки и принадлежностей для бритья, что в обычных немецких тюрьмах не разрешалось. В камере была жалкая обстановка, только освещение хорошее. Возле откидного стола находилось узкое сиденье, тоже откидное, как и железная койка. Складные, из трех частей, матрацы были такие же, как в других немецких тюрьмах. На стене висела полка. Как и всюду, в дверях камеры было открывающееся снаружи маленькое отверстие для выдачи пищи, настолько узкое, что человек не смог бы протиснуться сквозь него. В Ландсберге эти отверстия закрывались только целлофаном. Это было преимущество: заключенный мог смотреть в коридор. Но сейчас это ни к чему, так как «Б-нуль» – мертвый этаж. Наоборот, это даже стесняло меня: в любое время надзиратель мог заглянуть в камеру, так что заключенный постоянно чувствовал себя под наблюдением.

Условные сигналы гонга созывали заключенных на поверку. Я привык к неизменной последовательности звуков: топот, болтовня и внезапная тишина после команды «Смирно!» Довольно долго – ни звука: дежурный сержант, очевидно, пересчитывает заключенных. Потом снова топот ног, гул голосов. Поверка кончилась. По утрам после проверки все расходились на работу. Шума было меньше. В обед и вечером все спешили за едой: бегали, сустились. Шум усиливался. Мне еду приносил уборщик из «Б-нуль», тоже заключенный, который обслуживал все камеры нашего коридора.

Уборщика, бывшего эсэсовца, почему-то радовал мой хороший аппетит. Он снабжал меня газетами, принес даже вырезку о моем процессе, в которой подчеркивалось, что я отстаивал единство и мир. Такие отчеты возможны были лишь в провинциальных газетах, менее зависимых от американской цензуры. При всей сдержанности по отношению ко мне бывший эсэсовец заявил:

– Мы, конечно, тоже кое-что соображаем насчет американской военной политики и вашего процесса!

Это звучало не так уж плохо. И потом он сказал «мы»!..

За мной зашел надзиратель и повел в госпиталь на медицинский осмотр. Я попал к доктору Максу Шмидту. Этот спокойный баварец, похожий скорее на крестьянина, когда-то был сельским врачом, а во время войны – капитаном медицинской

службы в войсках СС. Поверхностно осмотрев меня, он заявил:

– Вам нужно заниматься легкой работой на свежем воздухе. Из-за вашей астмы.

В несколько минут беглого осмотра, не услышав от меня ни слова, он установил болезнь, которую американцы отрицали много месяцев.

– И зубы следует привести в порядок, – сказал он, понимающе подмигнув.

Я согласился с ним и подтвердил его догадки.

– Ясно, ясно, – добродушно сказал он.

Все кругом заулыбались – это была его вечная присказка.

Надзиратель не торопился. Решив заскочить к зубному врачу, он оставил меня в приемной в обществе еще одного заключенного. Тот сказал:

– Наш Макс сидит тоже безвинно!

Оказывается, доктор Макс Шмидт на фронте отрезал головы убитым американцам и для «учебных целей» препарировал черепа. После войны один такой череп нашли у него в кабинете на письменном столе. Эта история показалась мне отвратительной, недостойной врача. Но собеседник недоумевал:

– Так они ж были мертвые! Будто вы не знаете, что американцы вытворяли с живыми!

Он вскочил, выглянул в коридор – нет ли там кого.

– Видели Шпетинген? Там они лежат рядами – четыреста человек. Все убиты, да как!

Вернулся надзиратель, и разговор пришлось прервать.

– Давай, – сказал он по-русски.

На это неожиданное обращение я ответил тоже по-русски:

– Пожалуйста, товарищ.

Он вытаращил глаза, но промолчал. Мы шли по пустынным коридорам. Меня выводили из камеры в самое «мертвое» время. В коридорах попадались только уборщики. Все сверкало чистотой, везде было тепло.

После нескольких месяцев тяжелой жизни я постепенно приходил в себя. Питание было хорошее, но главное – целительно действовала тишина.

Однажды ко мне зашел сержант и резко сказал:

– Завтра начнете работать.

Где и как – неизвестно. Не прошло и половины срока изоляции. Оказалось, что, вопреки всем правилам, работая, я останусь в карантине.

Вечером мне разрешили посетить концерт возле центральной башни. В конце коридора «Б-нуль» специально для меня поставили стул. Напротив находился оркестр – человек двадцать

со скрипками, трубами, саксофонами, ударными инструментами, виолончелями, роялем – словом, всем, что полагается. У металлической сетки, облокотившись на перила, на всех этажах стояли заключенные.

Слева от меня стояло десятка два пустых стульев. Для кого, интересно? Может быть, для американского персонала?

Я почувствовал, что меня разглядывают: еще бы, новый, из «политических», «красный полковник». Но вдруг все взоры, даже взоры музыкантов, обратились в другую сторону, лица радостно просияли: в сопровождении охраны появилось около двадцати женщин. Все в одинаковых юбках и жакетах цвета хаки, хорошо сшитых, но с клеймом «WCPL». Женщины выглядели усталыми, особенно пожилые. Они едва заметными кивками приветствовали знакомых. Оркестр исполнил несколько пьес и был вознагражден громкими аплодисментами. Но в центре внимания оставались не музыканты, а женщины.

Я же приглядывался к мужчинам, рядом с которыми мне предстояло прожить долгие годы. Многие из них напоминали нордический тип, воспетый в фильмах и печати «Третьего рейха». Это были высокие, стройные блондины с широкими, выступавшими вперед подбородками, но ни ума, ни души в них не чувствовалось. Рядом с надменными лицами аристократов – грубые, дегенеративные физиономии откровенных бандитов.

На следующий день меня повели к центральной башне. Заключенные уже находились на работе. Уборщики, как всегда, наводили чистоту. Мне выдали палку с железным наконечником. Сержант объяснил задачу: коридоры выложены рифлеными плитами, чтобы не было скользко, и вот в выемках всегда накапливается грязь. Я должен выскребать ее, собирать в кучи и ведрами относить к башне. Это был сизифов труд, потому что тут ежедневно проходили сотни заключенных. Так я начал свою карьеру подметалы. Старые заключенные удивлялись:

– Такого еще не бывало.

– Что за бред!

– Нашли, наконец, дурачка...

Такие реплики сыпались без конца. Надзиратель, переступая с ноги на ногу, не отходил от меня. Стоило кому-нибудь остановиться и обронить слово, он испуганно косился на башню: ведь мне запрещено разговаривать.

Один из надзирателей-сержантов, сидевших в стеклянном ящике, вышел, чтобы лучше наблюдать за мной.

Мой надзиратель тотчас набросился на меня:

– Вам запрещено разговаривать!

– Да я и не произнес ни слова. Не виноват же я, что все меня

цепляют!

Сержант подошел, спросил, в чем дело, и дал надзирателю какое-то распоряжение. Я не поверил своим ушам: он разговаривал с охранником на одном из славянских языков. Я понял последние слова:

– Следи за ним как следует. Это опасный красный.

Я снова вспомнил «давай» в госпитале. Куда я угодил? Сколько тайн еще впереди!

Чистя плитки, я мог спокойно наблюдать. На дверях камер висели таблички. Тушью печатными буквами на них написано имя заключенного, его профессия, мера наказания, дата прибытия в тюрьму и дата освобождения. Короче всех были карточки с двумя толстыми буквами «ПЖ». Это «П» выглядело, как виселица, и предвещало мрачную перспективу.

Теперь я работал на «Ц-нуль». Там находились больные, освобожденные от труда. Они распоряжались временем по своему усмотрению.

«Бонгартц, Петер – ПЖ» – стояло на первой двери справа. Петер, детина двухметрового роста, ходил, опираясь на палку. Он часами стоял перед своей дверью или шагал по коридору, пока не находил партнера для игры в шахматы. Напротив я прочел: «Гот, офицер, 15 лет». Бывший генерал-полковник, невзрачный человечек с белоснежными волосами, был похож на гнома. Его большой нос усиливал это первое впечатление.

Еще помню «фон Позерн – ПЖ» и «Вальбах – ПЖ».

На одной из дверей было написано: «Чайная комната». Там заключенные варили себе кофе или кипятили чай. Кроме того, в каждом коридоре были уборные и умывальники.

От середины «Ц-нуль» направо и налево отходили коридоры, закрытые выдвижными железными решетками.

Направо располагались различные мастерские, так называемые «шопы» – портняжная, сапожная, шорная, печатная, а также «алюминиевая» и граверная. Эти две играли большую роль в тюрьме. Здесь из алюминия, бронзы, меди и других металлов руками умелых заключенных изготавливались всевозможные «сувениры» для американцев: пепельницы, вазы, портсигары, столики – курительные и для цветов, выложенные плитками и т. д. Прекрасные вещи изготавливались там за бесценок. После соответствующей обработки изделия упаковывались и отправлялись за океан. В других «шопах» шили на заказ костюмы и обувь, конечно, для леди, затем эта продукция тоже пересекала океан. Заключенным в лучшем случае перепадала коробка американских папирос, беспопытно ввезенных для снабжения оккупантов. Да, это была рабская работа, обогащавшая

окупантов! Левый коридор вел к женским камерам.

В конце коридора «Ц-нуль» – дверь, перед которой день и ночь стояла охрана. Это был вход в госпиталь, где меня осматривали в день приезда. Теперь меня вызвали туда на просвещение.

Доктор Фриц Фишер уже ждал меня. Вежливо представившись, он поздоровался. Как многие в этом заведении, он служил в дивизии СС «Адольф Гитлер». Во время высадки десанта союзников в Северной Франции он потерял правую руку, но левой пользовался так ловко, что мог продолжать медицинскую практику. Он крутил рентгеновскую аппаратуру, а его замечания записывались на магнитофонную пленку. Он был энергичен и жизнерадостен. Его живые глаза внимательно оглядели меня. Поставив четкие врачебные вопросы, он подтвердил, что мне необходима легкая работа на свежем воздухе.

Моего надзирателя он попросил подождать у входа в рентгеновский кабинет. Поэтому нам удалось поговорить без свидетелей. Выразив сожаление, что я нарвался на такую неприятность, он заметил:

– В такие времена нужно знать, к кому примкнуть.

– Да разве в этом дело! – возразил я так быстро и твердо, что он опешил.

Он понял. Это был первый, но далеко не последний разговор с доктором Фишером.

Я продолжал чистить плитки, площадь которых вечерами вычислял в камере. Мне предстояло чистить еще икс квадратных километров.

– Долго вы намерены терпеть? Это же издевательство! – сказал однажды Петер Бонгартц, проходя мимо меня.

Надзирателя он словно не замечал. Я уже давно понял, что к этому странному заключенному все относились с большой предупредительностью.

– Здесь по крайней мере тепло, а на остальное мне наплевать... – пробормотал я, не подозревая подлинной роли Бонгартца.

На следующий день моя бессмысленная работа прекратилась.

Другой надзиратель повел меня на чердак, где было невероятно холодно.

Когда-то здесь чинили крышу и замусорили чердак битой черепицей. Мусор уже много лет валялся в самых дальних углах заброшенного чердака. Именно мне приказали извлечь черепицу из закоулков. Проникнуть туда мог разве что акробат.

– Как прикажете делать это? – спросил я надзирателя.

– По мне, можете вообще ничего не делать. Но, к сожалению, нам придется предъявлять ведра с содержимым.

Этот ответ и дружеское «нам» меня озадачили.

– Ведро не обязательно наполнять доверху. Я постараюсь объяснить ами, что это трудно, – утешил меня надзиратель.

Я начал работать. Не работа, а мука. Я думал и гадал над словами надзирателя. Он меня заинтриговал.

– Вам ведь тоже не очень приятно с утра до ночи торчать на таком морозе?

– Да мне вообще паршиво. Все это знакомо мне еще по концлагерю.

Можно ли ему верить? В конце концов, не я ему рассказываю, а он мне. Я обратил внимание на его твердое «р» и решил пока ни о чем не расспрашивать. Он прислушался, что делается на лестнице, и закурил папиросу.

– Здесь действительно холодно. Но зато хоть слышно, когда кто-нибудь подкрадывается, – снова начал он.

Лежа на полу и кряхтя, я извлекал куски черепицы. Шаги! Хромая, вошел какой-то заключенный. Он порыскал по чердаку и при этом бросил взгляд на ведро, которое было уже почти полным. Затем снова исчез.

– Хромой Майер. Опасный тип! – сказал надзиратель.

Я стал припоминать, где же я видел это неприятное лицо. Ах, да – это один из парикмахеров. Тогда у него тоже в углу рта торчал огрызок размокшей папиросы. Что подразумевает надзиратель под «опасным типом»?

Казалось, он угадал мои мысли:

– Этот американский шпик приходил проверить нас! – он злобно, изо всей силы стукнул кулаком по балке.

Я уже ничего не понимал и молчал, разглядывая форму надзирателя. Форма на нем была темно-синяя, а ведь у американцев цвета хаки?..

– Сейчас у вас на родине лето, – осторожно сказал я, растирая заочечневшие пальцы.

Он усмехнулся.

– И вы считаете меня американцем? Я из польской роты.

– Значит, настоящий товарищ? – шутливо спросил я, последнее слово произнеся по-русски.

– Да, да, – обрадованно подтвердил он.

Работа на холодном чердаке была очередным издевательством. Но нет худа без добра. Здесь по крайней мере не мешали разговаривать, и я узнал, что заключенных в американской тюрьме охраняют поляки. В лагерях перемещенных лиц американцы на вербовали добровольцев, объединили в так

называемые польские роты и назначили им полное содержание. Одна из таких рот охраняла в Ландсберге военных преступников, которые разорили Польшу, сгноили многих поляков в концлагерях. Американцы дали полякам возможность отомстить военным преступникам. Резко повернув курс на подготовку новой войны, деловитые янки решили объединить польских ландскнехтов с военными преступниками, науськивая и тех и других на «опасность с Востока». Это удалось им только частично. Американские офицеры старались внушить полякам, будто «красные» препятствуют их возвращению на родину. Корень зла не в военных преступниках, убеждали они, а в «красных». Вот, например, «красный полковник» – один из самых опасных.

– Но я не такой уж дурак! – воскликнул надзиратель. – Я бы с удовольствием поехал на родину, в «красную» Польшу, если бы только мог.

Я сидел на одной из балок чердака и внимательно слушал поляка.

– Служить в польской роте – мучение. Никто никому не верит. И вы никому не должны доверять.

Да, в этом-то и загвоздка. Можно ли верить и ему? Я вглядывался в его лицо: горечь, озлобление, даже ненависть, желание излить наболевшую душу...

Мы не расслышали тихих шагов хромого Майера. Он нас поймал. Огрызок папиросы по-прежнему висел у него в углу рта. Ах, до чего неприятно! Надзиратель резко приказал:

– Ну, несите ведро вниз!

– Так оно же еще неполное, – вмешался хромой Майер.

Я возразил, что полное оно слишком тяжелое.

– Когда имеешь курево, все кажется легким, – намекнул Майер, хитро сощурился.

Я сообразил:

– О, для меня табак не такая уж проблема.

Хромой Майер тут же подхватил ведро.

– У меня американец не станет проверять. Он меня знает.

В стеклянном ящике башни, кроме польского, сидел и американский сержант. Майер добавил, что будет заходить и за другими ведрами. У него, мол, дело на чердаке. Мы открыто высмеяли его. Ничуть не смутившись, он смеялся вместе с нами. Растленный тип! В Ландсберге таких называли «прожженными».

– Сегодня в обед я зайду за своей пачкой, о'кэй? – хромая, он исчез вместе с ведром.

Мы посмеялись над продажным парикмахером и порадовались, что так удачно сумели избавиться от неприятности.

– Будьте с ним поосторожнее. Опасная ласточка из башни! – так в Ландсберге называли доморощенных шпииков, которые постоянно вились вокруг центральной башни, продавая американцам товарищей за пачку сигарет. – Этот вас основательно выпотрошит.

И действительно: в обед, когда меня должны были запереть, хромой Майер оказался у моей камеры. От жадности он наполовину втянул потухший окуроч в свой лягушачий рот. Он ушел, спрятав в карман пятидесятиграммовую пачку табака «ЛД». Каждый заключенный ежемесячно получал три или четыре пачки легкого табака фирмы «Луи Добберман» и достаточное количество папиросной бумаги. Табак в Ландсберге, как и всюду в неволе, был ходким товаром.

После обеда хромой Майер без напоминаний таскал полупустые ведра. Мне казалось, что папиросы он не курит, а прямо-таки глотает. Он не возражал.

– Иначе я не чувствую вкуса. Просиди, сколько я, в кацете{39}, а потом здесь, и тогда поймешь, – что это единственная радость в жизни. Без табака лучше сразу повеситься.

Странно: кацет и – тюрьма для военных преступников.

Скоро я узнал, что здесь целая группа таких. Эти заключенные были посажены нацистами еще в 1933 году, одни как политические, другие как уголовники. Уголовники дослужились до «капо»{40}. Усердием и главным образом доносами они добивались должностей надсмотрщиков, преуспевали за счет товарищей по несчастью и в конце концов становились лагерными полицаями. Этих послушных помощников СС называли «капо» или «обер-капо». Предатели настолько зарекомендовали себя, что к концу войны, когда стала ощутимее нехватка в людях, на них надели эсэсовскую форму, как бы обязывая к новым преступлениям. В 1945 году открылись ворота концентрационных лагерей, и «капо» были наказаны наравне со всей эсэсовской охраной. Они попали в Ландсберг, приговоренные к смертной казни или к пожизненному заключению за убийства и жестокое обращение с узниками. На Нюрнбергском процессе союзники квалифицировали как преступление против человечности тот факт, что в тюрьмах «Третьего рейха» политические и уголовные содержались вместе. Преступным было сочтено и то, что в этих лагерях уголовники получали власть над антифашистами-евреями. Теперь в Ландсбергской тюрьме для военных преступников американцы повторяли все то, что сами когда-то осудили. Политические заключенные были вынуждены жить бок о бок с военными

преступниками, которые к тому же занимали в тюрьме командные посты. По приказу американцев они охотно издевались над всеми инакомыслящими.

К сожалению, мои надзиратели часто менялись. С одним мрачным поляком у меня даже было столкновение. Из чердачных люков я изредка выглядывал на волю. Однажды я засмотрелся на покрытую снегом цепь Альпийских гор. Надзиратель резко окликнул меня.

– Насколько мне известно, мне запрещено только разговаривать, а не смотреть, – ответил я тем же тоном.

Он смолчал, но отомстил мне, заставив вылавливать черепичную крошку из самых дальних углов чердака.

В этот момент на чердаке появился хромой Майер. Увидев, чем я занимаюсь, он напал на надзирателя.

– Как вы смеете так обращаться с этим человеком? Он вдвое старше вас и полный инвалид!

Надзиратель послушно подчинился. А в обед хромой Майер снова стоял перед моей камерой с размокшим окурком в углу грязного рта. Он ждал мзды за свое заступничество. Думаю, я не зря отдал ему эти две пачки табака. Надо же было иметь почву под ногами...

Что за странные взаимоотношения! Военные преступники имеют власть над надзирателями в стальных шлемах и с дубинками. Собственно, кто кем управляет?

Это было еще неясно.

* * *

Из библиотеки мне прислали книгу «Блуждание и прозрение» Мюллер-Графа, в которой защищалось «животворное христианство». Это, конечно, хорошая вещь. Но почему ее прислали именно мне? Не случайно. Я понял, что и чтение направляют. Изредка мне давали читать некоторые старые номера «Франкфуртер альгемейне цейтунг». Кроме того, у меня в камере находились библия и псалтырь – своего рода инвентарное имущество каждой тюремной камеры в Западной Германии. Так что в долгие зимние вечера, сидя в своей камере возле теплой печки, похожей на тумбу для объявлений, я мог заниматься чтением. Топили так жарко, что порой приходилось открывать задвижку.

Переписка с женой наладилась, она писала регулярно и держалась стойко: «Нас ничто не может разъединить. Я сделаю все, чтобы ты снова оказался на свободе. Теперь главное, чтобы

мы оба сохранили здоровье!» Это давало мне силы держаться, не падать духом.

Вечером, когда я сидел над письмом к жене, дверь в камеру отворилась. Я думал, что это надзиратель, но вошел человек в штатском и произнес:

– С нами бог, господин полковник.

Это был тюремный лютеранский священник Леттенмайер. Его интересовали мои невзгоды и желания.

– Вряд ли вы сможете вернуть мне украденную свободу, – сказал я.

– В тяжкие времена следует уповать на бога, который возложил на нас эти испытания и даст нам силу вынести все, если мы верим в него и молим его об этом.

Я невольно вспомнил письма жены. В них я находил утешение и черпал силы для этой горькой борьбы.

Леттенмайеру, высокому, статному, любезному, с неизменной улыбкой на устах, было лет около сорока пяти. Его круглое лицо увеличивал высокий гладкий лоб, из-под которого смотрели большие карие глаза. Он выглядел добродушным и наивным и, как я позже убедился, действительно был таким. Это впечатление усиливалось его неуклюжими манерами. В тюрьме он играл важную роль.

Уходя, он пригласил меня в воскресенье зайти в церковь. Это разрешено даже в период карантина.

– Вас проводит надзиратель, а там вы сядете в сторонке, – сказал он смеясь.

– Как во время спектакля Си Ай Си, на скамье бедных грешников? Это меня не устраивает, – возразил я и тут же шутя добавил: – Или уже наступил мой судный день?

Пастор громко рассмеялся. Он понимал юмор. Это обрадовало меня. Он обещал похлопотать о прекращении карантина, чтобы я мог беспрепятственно посещать богослужения.

– Да пребудет с вами господь, господин полковник, – распрощался со мной Леттенмайер.

Я обратил внимание, что, кроме складок от смеха, на лице его не было никаких морщин.

Свое обещание пастор сдержал. Уборщик сообщил, что меня переводят в «Б-2», камера 420.

– Там вам дадут настоящий «шоп».

Итак, я наконец включаюсь в жизнь тюрьмы, с которой до сих пор знакомился со стороны, из своего карантина. Впрочем, я уже довольно многое узнал.

Меня поместили в камеру на двоих. Хорошо, если останусь

один. Я надеялся, что мне дадут какой-нибудь легкий «шоп» – работу на свежем воздухе, как это предписано врачами. Но меня назначили на чистку картофеля. С этого началась моя дальнейшая жизнь в крепости Ландсберг.

Теперь по утрам моя камера открывалась и оставалась открытой до девяти ноль-ноль. Жизнь регулировалась гонгом. Кормили нас в так называемой «кают-компании».

Каждый получал в кухонном окне поднос, миску супа и остальную еду и со всем этим отправлялся в «кают-компанию» – узкое продолговатое помещение. Справа и слева от прохода стояли узкие, покрытые линолеумом столы, за которыми разрешалось садиться только с одной стороны, по шесть человек в ряд. Все должны были смотреть в одном направлении – в затылок впереди сидящего. Надзиратели следили, чтобы места на скамьях не пустовали. Освобождается место – двигайся к соседу. Сидеть полагалось лицом к комнате, где мыли посуду. В мойку посуду сдавали после того, как остатки пищи каждый выбрасывал в бочку.

Эти бочки, как зеркало, отражали некоторые нюансы послевоенной политики.

Вначале было приказано уничтожить все отбросы, даже картофельные очистки, чтобы не раздражать голодающее окрестное население. Потом, когда США избрали себе в военные союзники Бонн, жизнь в тюрьме для военных преступников стала более роскошной. Изменилось и содержимое бочек. Городская беднота жадно набрасывалась на тюремные отбросы. Это омрачало картину «экономического чуда», и на содержимое бочек был наложен строгий запрет. Пришлось завести свиней для использования остатков пищи. Теперь ежемесячно кололи свиней, и питание заключенных снова улучшилось. Специалисты из военных преступников руководили откормом свиней и жаловались на их привередливость.

– Лучше нас не живет ни одна свинья на свете, – нечаянно скалambuрил кто-то за столом и был не так уж неправ: его оговорка соответствовала истине.

У входа в столовую, против мойки, находилось деревянное возвышение, на котором во время концертов располагался оркестр, певцы и другие артисты. За возвышением висел экран. После завтрака, во время которого всегда давали хороший молочный суп, следовал сигнал утренней поверки. Строились по «шопам». Я становился в ряд с работниками кухни как член команды, чистившей картофель.

Для этой работы, кроме обычной спецодежды из тика, выдавались высокие резиновые сапоги. Подвал, где мы чистили

картошку, был таким сырым, что ножки наших скамеек всегда были в воде.

«Легкая работа на свежем воздухе» – так предписали врачи. Работа, правда, не трудная, но без движения и воздуха. В сыром нездоровом подвале мы сидели, пригвожденные к своим скамьям, и изо дня в день, по восемь часов подряд, чистили картофель. Нас было пять или шесть человек. Большинство – бывшие кацетники из уголовников, сплошь рецидивисты. Один из них сидел по тюрьмам с восемнадцати лет. Он начал с ограбления и убийства. Затем – каторга, кацет. Став «капо» и эсэсовским убийцей, он попал в Ландсберг. Вот жизненные пути моих «коллег». Судьбы их внешне были очень схожи, но по существу различны. Кроме меня, здесь находился только один заключенный, который не являлся военным преступником, а был осужден Верховной союзнической комиссией по американскому оккупационному статуту. Это молодой хитрый паренек небольшого роста по имени Мюгге. В 1945 году пятнадцати-шестнадцатилетним мальчишкой он помогал зенитчикам. Дома и родных у него не было, и он пристал к одной американской части. Вскоре он стал там полезным и даже необходимым человеком. Парень способный и сообразительный, Мюгге легко научился говорить по-английски. Американцы, любившие погулять и относившиеся к караульной службе как к чему-то крайне обременительному, охотно перепоручали Мюгге свои дежурства. Так он получил американскую форму и с согласия командира части стал нелегальным Джи Ай. Мюгге заменял всех и всюду, и это вполне устраивало командира роты. Частенько, особенно по понедельникам, кто-нибудь оказывался в самоволке, и вместо двухсот человек в строю находилось, допустим, сто девяносто девять. Но с Мюгге, одетым в американскую форму, получалось все те же двести. Командир спокойно докладывал о полном порядке в роте.

«Настоящие Джи Ай еще не то вытворяют», – решил Мюгге и сам себе присвоил звание сержанта армии США. Умножая славу этой страны, он запугивал немцев своей формой цвета хаки, приставлял пистолет и требовал часы. Однажды вечером этот же трюк он решил испытать на одном важном господине в штатском, но попал не по адресу. Вернее, по правильному адресу: он нарвался на американского генерала в гражданском костюме. Случай роковой – Мюгге поймали. Его роскошная жизнь кончилась. Ношение американской формы и дежурства в американской части были квалифицированы, как «шпионаж» и «нанесение ущерба союзным войскам». Волшебная формула оккупационного статута, позволяющая любому событию дать

желанный оборот! Бывшие начальники Мюгге вдруг перестали узнавать его. Их даже удивило, что таковой существует. Этот юный авантюрист был единственным «шпионом», которого я встретил в Ландсберге.

В компании рецидивистов проводил я ежедневно по восемь часов, чистя картошку. Никто из них не делал мне ничего плохого. Они работали легко и хорошо, я медленно и неважно. Но они не сердились. Они были рады, что у них появился новый слушатель, и с утра до вечера рассказывали о себе и обо всем на свете, особенно о Ландсберге. После их рассказов я многое увидел в ином свете. Некоторые из этих преступников были жертвами социальных и политических условий. Отец одного налетчика и убийцы в 1933 году попал в концлагерь как член КПГ. Мать послала своего безработного семнадцатилетнего сына на станцию подобрать уголь на путях. Столкновение с железнодорожной полицией. Один из полицейских убит. Молодой парень попал в тюрьму, и жизнь его была загублена. Чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс на будущее, он стал образцовым заключенным кацета. Эсэсовцы растлили его душу, и Альбрехт в конце концов превратился в «капо». Потом он стал эсэсовцем, а в 1945 году за свои дела в лагере был приговорен американцами к смерти.

– Не мы же придумали кацеты. Нас туда заперли, и нам приходилось выполнять приказы. Мы рисковали головой, а господа, которые нами командовали, уже давно на свободе. С нашим братом американцы не очень-то церемонились. Мой процесс длился всего пять минут, и я получил веревку на шею.

О положении в Ландсберге в первые годы после войны они рассказывали без устали:

– Тогда здесь все выглядело иначе. Вот когда жизнь была ключом! Похлеще, чем в кацетах.

– Тогда здесь был настоящий ад! – рассказывал один бывший кацетник. – Высокопоставленные господа были во-от какими маленькими, – он показал крошечную картофелину и зло швырнул ее в угол. – Мне еще повезло – я был уборщиком. Вы бы послушали, как генералы умели просить: «Дорогой камрад, вы не могли бы достать мне то или это?» И я, болван, бегал, высунув язык. А теперь к этим господам не приступись. Они и не смотрят на нас.

– Если кто-нибудь из нас за пачку табака соглашался убирать камеру и чистить сапоги, господа генералы позволяли нам обращаться к ним. Но только в третьем лице, – с горечью говорил другой кацетник. – Впрочем, любителей лизать задницы здесь хватает и теперь. Таким путем надеются влезть в доверие к

американцам.

– Они уже влезли!

– Конечно. А кто брезгует – тот торчит здесь, в этом дерьмовом подвале. И скоро подохнет! – Заключенный так разволновался, что покраснел как рак, вскочил и с криком: «Я не желаю больше чистить картошку для этих сволочей!» выбежал из подвала.

Для остальных это было не ново.

– Кто много пережил и давно сидит, с тем это частенько случается.

Кто-то пошел за ним, иронически произнося:

– Заключенный, ведите себя прилично!

Всех рассмешило это привычное обращение тюремщиков. Только тот, которому оно было адресовано, не мог успокоиться. Он яростно изливал душу, забыв о картошке:

– Когда появились вы, политические, мы вдруг стали хороши для ами. Мы нужны, чтобы в «народном единстве» с высокими господами выступать против «красной швали с Востока». Нет, господа, без меня! – кричал он. – Это они давно умеют – науськивать одних на других. Вот в чем наше несчастье! А теперь, «ласточка из башни», – крикнул он вдруг тому, кто до сих пор молча слушал, – лети, доноси на меня!

Тот схватил нож. Началась кровавая драка. Отвратительно, скажете? Да, но весьма поучительно. Вот почему «великие „Третьего рейха“» говорят теперь, что эти кацетники сперва были жертвами, а потом опорой их системы. И снова онигодились как союзники против „красных“ – новых врагов согласно американской политике.

Драчуны успокоились, перевязали раны, чтобы надзиратели ничего не заметили. Разгорячившийся парень продолжал:

– В первые годы после войны в наших камерах специально забили все вентиляционные люки. Двери и все отверстия были наглухо законопачены. При тогдашней жратве в камерах можно было задохнуться. Ни воздуха, ни света, зато сколько угодно холода и сырости.

– То и дело налеты и обыски, все перевертывалось вверх дном. Американцы забавлялись, бросая вещи через ограждения верхних этажей. Разорванные письма и бумаги летали в воздухе, как конфетти, стаканы и посуда с грохотом разбивались. Но самой страшной была жизнь в корпусе «Б», где размещалось шестьсот приговоренных к смерти. Ами повесили около четырехсот человек. Это мучение длилось четыре года!

Вспомнив об этом, кацетник поблел.

– Все военные преступники, в том числе и генералы, с

содроганием думали о казни. Приговоренные к смерти каждый день ждали, что сегодня им наденут на шею веревку. Многих по несколько раз водили к виселице. Развлекаясь, американцы в последнюю секунду объявляли казнимому, что произошла ошибка и «очередь до него еще не дошла». Было много попыток самоубийства. Но этому мешали охранники из польской роты.

В Ландсберге находился штандартенфюрер доктор Блюме, который дважды пытался повеситься.

– Как мне было хорошо, когда я терял сознание, – разглагольствовал он теперь. – И как мучительно было ощущать, что меня искусственно вернули к жизни. Я виновен в смерти около ста тысяч человек. Но я запрещал так мучить людей, как это делают ами. Меня без конца преследовали во сне убитые женщины и маленькие дети. Мне очень хотелось умереть тогда. Но именно поэтому ами оставили меня в живых. Жить для меня было большим мучением и наказанием, чем умереть.

– А теперь жить не страшно? – спросил я.

– Прошло уже много времени. Ами убедились, что они были неправы. Они пообещали реабилитировать нас и сделают все возможное. Фюрер был прав. Всемирное еврейство снова празднует свое возрождение в коммунизме. У нас опять есть цель. Вместе с американцами мы должны избавиться от мировой опасности – Советского Союза!

Я смотрел на него с ужасом и удивлением. Значит, в 1945 году его мучила вовсе не совесть, а страх перед смертью на виселице. Теперь, увидев американский пряник, его черная душа праздновала страшное воскресение. Внешне этот эсэсовский полковник выглядел сущим ангелом, который не способен тронуть и волоска на голове. Он сам себе нравился в роли поклонника муз, ценителя литературы и философии. Но какие же выводы сделал для себя этот участник массовых убийств!..

В мою камеру вселили новенького – молодого человека лет двадцати пяти. Это было не особенно приятно, тем более что он оказался прожженным аферистом. Во время своей бродячей жизни он по ошибке влез в машину какого-то американца и перевероршил чемоданы и портфели.

– А так как им нужен был материальчик для своей пропаганды, они взяли да осудили меня за шпионаж. В газетах сообщалось, будто я имел задание взорвать радиостанцию «Свободная Европа» в Мюнхене. Чепуха! Я даже не знаю, где эта радиостанция, и в жизни своей не был в Мюнхене!

Минуту спустя он добавил:

– Им нужны дураки. Они так обработали меня, что я все, что им надо, признал. Я подписал бы даже обвинение в

изнасиловании собственной бабушки.

Холодную войну надо подкармливать. Для науськивания против Востока требуются сенсации. А если их нет, нужно придумать. Гитлер в 1939 году тоже сфабриковал «нападение Польши» на радиостанцию в Глейвице, чтобы иметь предлог для разбойничьего похода на Польшу. Жизнь людей при таких преступлениях не имеет никакой цены. У империалистов нет морали, хотя они охотно и часто говорят о ней.

Все борцы за мир, приговоренные по оккупационному статуту, находились в корпусе «Б» – в том самом, где много лет жили приговоренные к смерти. Постепенно у меня перебивало большинство политических заключенных.

– Вы себе не представляете, что тут было, когда газеты писали о вашем процессе, – рассказывали борцы за мир. – Военные преступники взбеленились. Они обращались с нами, как с отбросами человечества. Как, за дело мира вступился полковник, да еще с «Рыцарским крестом»! Это было пощечиной для всей касты, а для нас – великой радостью. Кстати, кто-нибудь из военных преступников вас уже навестил?

– Никто, – ответил я.

Однажды меня предупредили:

– Я работаю санитаром в госпитале и многое слышу. Военные преступники хотят либо перетянуть вас в свой лагерь, либо окончательно скомпрометировать.

Я решил ждать. И вот что произошло.

Мне передали приглашение на чашку кофе от бывшего генерал-полковника фон Зальмута. Когда-то он, как и я, служил в Потсдаме, в 9-м полку, был монархистом и горячим приверженцем «старого Фрица»{41} и Бисмарка. Внешне, особенно благодаря нависшим бровям, он поразительно напоминал «железного канцлера»{42}. Фон Зальмут был до крайности самоуверен и держался этаким патриархальным помещиком.

– Мне хочется вернуть свои имения, и прежде всего то, которое там, у вас. Его я особенно любил! – начал он обстоятельно, наливая свежесваренный кофе.

– Эти времена давно прошли и не вернуться, – твердо возразил я.

– Не торопитесь с выводами. У нас здесь великолепные связи с Бонном. А там, слава богу, многое меняется. Да так оно и не может оставаться! Впрочем, сначала надо поговорить о вашем деле.

После упоминания о «связях с Бонном» было любопытно услышать его предложение.

– Нам ясно, что вас предали и от вас отреклись, – произнес он с глубоким убеждением.

Я было возразил, но он настаивал:

– Да, да, именно так. Даже если вы не хотите этого признать. Вы не представляете, что за типы там, на вашей стороне.

– Почему? – спросил я удивленно.

– Кто-то из них дал в Москве показания, будто Гот и я применили приказ «о комиссарах»{43}. Поэтому мы и торчим здесь.

Шестидесятилетний генерал-полковник, бывший командующий армией, задохнулся от волнения и возмущения. Я получил возможность обдумать свой ответ.

– Разве тот, о ком вы говорите, дал неправильные показания? – Я думал, что именно это возмущает генерала, но старик недоуменно посмотрел на меня:

– При чем здесь правда? Взаимная выручка – вот что требуется! Но они об этом и знать не хотят.

– Но ведь это не имеет ко мне никакого отношения, – сказал я. – Я поехал в Западную Германию по своему делу. Никто меня не принуждал.

Зальмут недовольно пробормотал:

– Так мы не продвинемся ни на шаг.

Он был прав.

В корпусе «Б», куда военные преступники старались не заходить, будто здесь жили прокаженные, мой визит к старику Зальмуту был сенсацией. Шпики, приставленные к обоим лагерям, почуяли добычу. В погоне за ней они легко выдавали себя. Атмосфера подглядывания и вынюхивания особенно характерна для тюрьмы Ландсберг, причем раньше шпикам приказывали вынюхивать сторонников национал-социализма, а теперь – противников возрождения фашизма. Сперва анти-, а теперь профашисты. Но единой точки зрения не существовало и сейчас.

При каждой встрече во время еды или прогулок некоторые генералы рассказывали мне об оскорбительном поведении американцев.

– Я входил в правительство Деница. Тогда мне было уже за шестьдесят, и я имел чин генерал-полковника. Но вы не представляете себе, как ами дубасили нас резиновыми палками в день ареста, десятого мая 1945 года!

– За четыре года в советском плену я ни разу не видел, чтобы кого-нибудь били, – заметил я.

– Когда изо дня в день, из года в год слышишь и читаешь обратное, в конце концов всему поверишь. Но в одном меня уже

не обманешь. На собственной шкуре я испытал, что такое американские «носители христианской культуры».

– К сожалению, дело не только во вранье. Дело в том, что, ведя целеустремленную кампанию клеветы на Советский Союз, они готовят новую войну, – возразил я.

Генерал боязливо оглянулся:

– Боже мой, все это верно. Но если здесь кто-нибудь услышит...

Так военные преступники, возненавидев своих американских тюремщиков, все же охотно следовали за ними, потому что ненависть к Советскому Союзу, которую посеял в них Гитлер, преобладала над всем. Теперь эта ненависть вспыхнула с новой силой. Они и слышать не хотели о национальных интересах. «Что сейчас нужно Германии? Какая дорога приведет к единству и мирному возрождению?» В этих вопросах бывшие верхи «Третьего рейха» снова оказались несостоятельными.

Вторую вылазку из лагеря военных преступников сделал бывший обергруппенфюрер Лоренц:

– Здесь принято, чтобы вновь прибывшие наносили визиты старожилам. Рекомендую заняться этим – только так можно установить нужный контакт.

«Правильный путь» – говорили реакционеры в Красногорском лагере. «Нужный контакт» – называлось это здесь. Я призадумался.

– Учтите, у нас старые солдатские традиции в почете, – высокопарно поучал обергруппенфюрер.

– Как прикажете понимать? – поинтересовался я.

– Ну, к примеру, обращаться следует по старопрусской традиции, называя чин... – Он неуверенно добавил: – Само собой разумеется, в третьем лице. Это лучший барьер от здешней публики.

Это уж слишком!

– В американских «Правилах поведения» заключенным в Ландсберге запрещено именовать друг друга по чину, дворянскому титулу и даже по академическому званию! – сказал я, желая подчеркнуть нелепость его претензий.

Шокированный эсэсовский генерал ответил:

– Слава богу, это давно забыто благодаря нашей солдатской настойчивости и принципиальности.

Я напомнил, что, насколько я знаю, официально в вермахте не было принято обращение в третьем лице. А в эсэсовских войсках оно и вообще не существовало.

– Ну, мы извлекли уроки из недавнего прошлого! Просто курам на смех!

– Только такой самодисциплиной можно утвердить и сохранить привилегированное положение здесь. А на свободе это тем более необходимо. Мы, из войск СС, убедились, что так надо, и подчинились. И вы привыкнете.

Я категорически отверг все его требования. Но эсэсовский генерал еще не считал свою миссию законченной. Он продолжал, хотя и неуверенно:

– Первым шагом с вашей стороны должно быть прекращение всякой связи со шпионами.

Нацистские генералы и офицеры в Ландсберге не признавали никаких приговоров за военные преступления. Но зато они охотно присоединялись к американцам в травле мнимых шпионов. Я высказал это своему собеседнику. Он тут же возразил:

– Судебную механику американцев мы в 1945 году испытали на себе. Ами фабrikуют все, что им в данный момент требуется для пропагандистской мельницы. То военные преступники, то шпионы. Но сейчас наша взяла. Только бы не упустить поезд времени. Особенно вам. В так называемом лагере мира вас предали. И продали.

– О-о, это уж моя забота! Я знаю, что я сделал и что мне предстоит сделать. А ультиматумов не принимаю.

– Тогда вы пропали! – С этой угрозой визитер удалился.

Снова навестил меня пастор. С ним я мог поделиться всеми невзгодами. В течение долгих лет в Ландсберге он облегчал мне жизнь. Зимой он проводил богослужения в лекционном зале на сорок – пятьдесят человек. Приходило процентов десять заключенных. У других пастырей посещаемость была еще хуже, и наш пастор гордился такими результатами, хотя это было не его заслугой.

Дело в том, что заключенные всегда не прочь поразвлечься, а заодно заработать право на «пароль»{44} за «гуд тайм» – «хорошее поведение». О «гуд тайме» в Ландсберге говорили без конца, разумеется, и во время чистки картофеля.

– Чисти тоньше, а то никогда не добьешься ни «пароля», ни «гуд тайма».

– Да разве так зарабатываешь «гуд тайм»? Главное, лизать им задницу. Лучше всего это получается у ловких дипломатов. Чему обучали – того не вытравить!

Практически дело обстоит так: по американскому закону каждый заключенный, отбыв одну треть срока, имеет право подать прошение на «пароль». Если прошение удовлетворено, его могут досрочно отпустить под полицейский надзор с испытательным сроком. Если заключенный отбыл две трети срока, вступает в силу «гуд тайм» – хорошее поведение. В таком

случае заключенного отпускают без всяких ограничений в правах. Каждый, конечно, старается добиться этой привилегии. С помощью этого закона американские карательные органы крепко держат заключенных в руках и могут по своему усмотрению выпускать их досрочно. В первые годы после войны в Ландсберге не существовало ни «пароля», ни «гуд тайма». Эти законы вступили здесь в силу, когда военные преступники понадобились американцам для подготовки новой войны. Одним росчерком пера тюремщики без ведома суда получили право амнистировать любого осужденного. Так, в первые дни моего пребывания в Ландсберге они выпустили на свободу военных преступников, осужденных на процессах над промышленниками и дипломатами.

Мне рассказали некоторые подробности об этих группах освобожденных.

– Для подготовки войны американцам в первую голову понадобилась братия с Вильгельмштрассе{45}. Здесь сидел граф Шверин фон Крозиг. Он покориł их своими докладами. Вы не представляете, как ловко. Я как-нибудь притащу вам один из его докладиков.

Экземпляры докладов графа Шверина фон Крозига в большом количестве распространялись по тюрьме. Доклады такого типа: «Принц Евгений – благородный европеец». Вы только вдумайтесь: не «рыцарь-завоеватель», а «европеец». Исторические факты перевертывались с ног на голову в угоду конъюнктуре: «Благородное древнее стремление последнего рыцаря – объединение всех народов Европы – должно, наконец, стать явью!» И автор, последний министр иностранных дел «Третьего рейха» из правительства Деница, тут же подкреплял эту мысль, напоминая о своем выступлении по радио в мае 1945 года. «С Востока все дальше продвигается железный занавес, который навсегда скроет от остального мира творимый там вандализм».

Этой цитатой из самого себя граф Шверин фон Крозиг подчеркивал свою политическую «дальнозоркость». Ненависть к Востоку гарантировала графу «пароль» на Западе. Не только ему, но и всей группе осужденных на процессе по делу гитлеровских дипломатов, которые дудели в его дуду. Они делали это достаточно громко и добились освобождения.

Другая группа военных преступников, с которыми американцы быстро сторговались, – крупные промышленники во главе с Круппом и Фликом. Условились начать с сельскохозяйственных машин и молочных бидонов, чтобы исподволь восстановить концерны.

– А когда придет время, – говорил один из заключенных, – они снова переключатся на вооружение и вместе снимут

«урожай». Но тогда потекут не молочные и медовые реки, а кровь и слезы. И это принесет им миллиарды. Я знаю, я был уборщиком в их коридоре. «Да, дорогой камрад, в эти тяжелые времена мы должны крепко держаться друг друга. Скоро мы снова окажемся наверху, и тогда я вас не забуду!» – так разговаривали со мной эти господа из концернов.

– Теперь они уже наверху. А мы по-прежнему в подвале! – зло вставил кто-то из слушателей.

– Надо быть справедливым. Промышленники все-таки присылают нам обещанные посылки! – заметил другой.

На доске объявлений регулярно вывешивались списки тех, кому присланы подарки. Благодетели оставались неизвестными. Посылки получала самая разношерстная публика. Генерал-фельдмаршал стоял в списке рядом с кадетником, который в качестве уборщика в свое время облегчал существование своему нынешнему благодетелю.

Когда кто-нибудь из привилегированных военных преступников выходил на свободу, его имя в списке подарков тотчас занимал другой, обычно тоже видный нацист. Об этом заботились закулисные режиссеры – самые «знатные» из военных преступников.

В нашем подвале предсказывали:

– Теперь один за другим по «паролю» пойдут домой генералы. Это ясно, как дважды два! Шпейдель положил начало.

– Подумаешь, фокус! При его-то связях с ами... – Речь шла о брате нынешнего главнокомандующего сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе.

– Даю руку на отсечение, что следующий кандидат на выход – генерал Варлимонт!

– Нет, я ставлю на Рейнгарда. Варлимонт им еще нужен здесь.

Два новых имени, две новые истории. Тема для разговора – неиссякаемая. Заместитель генерал-полковника Йодля Варлимонт с первого до последнего дня состоял при Гитлере в штабе оперативного руководства вооруженных сил. Но Йодля как главного военного преступника приговорили в Нюрнберге к смерти и повесили, а его заместитель генерал артиллерии Варлимонт сперва получил «ПЖ», а потом пятнадцать лет.

– Этот тоже знал, как действовать. В Нюрнберге он прикинулся смирнехоньким и звонил в колокольчик, как служка во время мессы. А от алтаря до ами рукой подать. Теперь они платят ему пятьсот марок, и он, сидя в теплой комнате, после сытного обеда пишет для них историю войны. И это в то время, как мы здесь надрываемся.

– По утрам он гуляет в саду. Это называется работой. Хотел

бы я так пожить!

Варлимонта не любили по разным причинам. На Нюрнбергском процессе он резко отмежевался от Гитлера и национал-социализма, хотя всю войну охотно просидел в безопасной ставке фюрера. Ему пришлось признать свою причастность к преступным приказам «о комиссарах» и «мрак и туман»{46}. Он, правда, старался доказать, что сочиняли эти приказы другие, а он только «редактировал» их. Так как на суде никто не верил, что «он всегда был против», Варлимонт лез из кожи вон, доказывая свои антинацистские воззрения. Например, однажды, докладывая Гитлеру, он якобы назвал Гиммлера не рейхсфюрер, а рейхсферфюрер{47}. Он уверял на суде, что эта оговорка была не случайной, а характерной для его «истинных» настроений, которые он в течение многих лет «мучительно» скрывал. Такое откровенное заискивание перед американцами возмутило ортодоксальных нацистов.

В Варлимонте не было ничего солдатского. Холеный, важный, седовласый, он сверкал, как фальшивая монета. Надушенный, в безукоризненно чистом костюме, самодовольный, он тщательно следил за своей внешностью и осанкой. Варлимонт никогда не позволял себе произнести грубое слово.

– Хотелось бы знать, где его родина, – говорили заключенные: – французская кровь, кайзеровский офицер, нацист и доверенное лицо Гитлера, верующий католик, а жена англичанка, протестанского вероисповедания. Теперь он любимец американцев и пламенный приверженец «европейской армии». Черт ногу сломит!

– Для «чертей» с Востока такие не проблема, – сказал я.

Все разинули рот и даже перестали чистить картошку. Я продолжал:

– «Отечество» таких господ – их сословие. За свои привилегии они заставили немецкий народ проливать кровь.

Вот это дошло! Люди, потерпевшие крушение в жизни, вовсе не были такими глупцами, какими их считали.

– Вы же сами из этого сословия, – возразили мне. – И всю жизнь ехали с удобствами.

– Это верно. Но куда все мы, весь немецкий народ, приехали?

Очевидно, они неплохо разбирались в разнице интересов маленькой клики и целой нации.

Такие разговоры получали отклик во всей тюрьме. Видимо, не случайно завел со мной провокационный разговор Рейнгард, которого вот-вот должны были выпустить:

– Горько и возмутительно, что русские так разоряют прекрасную плодородную землю вашего края!

– Мой прекрасный край принадлежит не русским, а немцам. И никто его не разоряет. Наоборот, мы восстанавливаем его, и «злые русские» помогают нам.

– Чтобы использовать его как дойную корову? – прервал меня бывший генерал-полковник.

В одно мгновение «разоренная земля» превратилась у него в «дойную корову». С Рейнгардом было бесполезно спорить. Он вместе со всей волчьей стаей выл на Восток.

Кстати, Рейнгарда всегда считали ловким приспособленцем. В начале войны, когда в армии изредка еще протестовали против зверств эсэсовцев и не хотели иметь ничего общего с этими «братьями по оружию», Рейнгард сочинил письмо к фюреру, прося «оказать честь» и присоединить к его дивизии эсэсовские части. «Честь» была оказана, и расчеты Рейнгарда оправдались: дивизия стала корпусом, а командир дивизии – командиром корпуса. Кроме того, посыпались ордена. Рейнгард получил «дубовые листья».

Ландсбергские генералы поносили своего ловкого коллегу, как только могли. А он, помня былые удачи, и тут взялся за перо. На сей раз Рейнгард адресовался уже не к своему «любимому фюреру Адольфу Гитлеру», а к федеральному канцлеру Аденауэру.

В то время в связи с ремилитаризацией в бундестаге и с других трибун раздавались требования освободить военных преступников. «Пока прославленные полководцы второй мировой войны томятся в тюрьмах, ни один порядочный немец не наденет форму», – угрожала аденауэровская печать, вдохновляемая американцами. Майор в отставке Менде и другие депутаты бундестага заявили, что до полного удовлетворения этих требований они не дадут согласия на вооружение. Американская общественность воспротивилась немедленному освобождению военных преступников, о злодеяниях которых она еще не забыла. Задуманное освобождение волей-неволей пришлось отложить. Эта отсрочка деморализовала даже «крепких парней» из бундестага. Только ловкач Рейнгард, сидя в тюрьме, сумел воспользоваться ситуацией. Он обратился к Аденауэру с открытым письмом:

«Глубокоуважаемый господин федеральный канцлер! Стоит ли вопрос о ремилитаризации связывать с судьбой нескольких генералов, объявленных военными преступниками? Серьезность положения требует решительных мер. Невзирая ни на что, надо быстро решать проблему, жизненно важную для всего немецкого народа!»

Аденауэр, конечно, и без письма Рейнгарда выполнил бы

американский приказ о вооружении, не связывая своего решительного шага с судьбой нескольких генералов. Но как и письмо к Гитлеру во время войны, письмо к канцлеру принесло свои плоды: через две недели Рейнгард так, совсем между прочим, был выпущен из тюрьмы. За «хорошее поведение». Вскоре он уже стал председателем союза бывших солдат и держал речь у памятника павшим. В ней он говорил: «Вы не напрасно пали. Ваша героическая смерть будет примером для европейской армии, которая освободит, наконец, мир от коммунистической опасности!»

Так бывший генерал-полковник включился в кампанию клеветы на Восток. Он пытался показать, что действует бескорыстно, но умел при этом словно невзначай извлечь личную выгоду.

* * *

В подвале, где мы чистили картофель, ко мне относились неплохо. Но сырой воздух был для меня ядом. Собственно, поэтому меня и загнали сюда. Зимой негде было дышать свежим воздухом. На вечернюю прогулку нас выводили в узкий, мрачный внутренний двор. Мощные вентиляторы выкачивали туда спертый воздух из камер. Пространство между тюремной оградой и корпусами занимает большой сад. Часть его, возле административного здания, отведена для начальства. Другая часть превращена в футбольное поле. Дальше размещены некоторые «шопы» – столярная, слесарная. Оставалась узкая полоска вдоль стены, где проходила тропинка. Между корпусами был еще фруктовый сад и госпитальный сад – для больных. Но только летом после работы разрешалось гулять в саду до наступления темноты. Зимой его открывали лишь в субботу, всего на несколько часов. После спертого воздуха подвала я был рад даже вонючему двору и по вечерам старался гулять там как можно дольше. Мой организм, подорванный в подвалах Си Ай Си, не выдерживал такого режима. Пришлось заявить, что я болен. Меня назначили на просвечивание легких.

– Пур хочет разоблачить вас, – предупредил меня вечером в госпитале санитар.

О докторе Пуре я слышал немало. Сейчас ему было всего сорок лет. Австрийский нацист с золотым партийным значком, несмотря на свои «героические» фашистские убеждения, оказался трусом и, чтобы избежать фронта, добился назначения на должность врача в концлагере. Там он так старательно

оправдывал свои нацистские взгляды и золотой значок, что в сорок пятом году американцы приговорили его к смерти за убийства. Но он первый вышел целехонек из камеры смертников. Красную куртку и шапку смертника Пур сменил на белый халат врача. Без всякого перехода и юридического обоснования военный преступник, приговоренный к смертной казни, превратился в американского служащего – главного врача тюрьмы доктора медицины Пура.

– Сногшибательный поворот! Надо же так выкрутиться! – завистливо говорили о нем заключенные.

Пур, разумеется, старательно выслуживался перед теми, кто избавил его от веревки и так высоко вознес. В качестве врача заслуженный нацист руководил казнями своих товарищей по партии, вместе с ним приговоренных к смерти. Когда повешенных снимали с виселицы, он обследовал их и, если они еще подавали признаки жизни, затыкал им рот, нос и уши ватой.

Единственный смертник, пытавшийся бежать из Ландсберга, получил пулю в бедро и оказался пациентом доктора Пура. И этот «врач» допустил, чтобы тяжелораненного привязали ремнями к доске и повесили.

Пур был холеный, элегантный мужчина с нравом кровожадного пса. От его произвола зависели все больные в тюрьме, в том числе «красные» и «политические». Я впервые увидел Пура, очутившись перед аппаратом в рентгеновском кабинете. Он стоял позади, в углу. Присутствовали все врачи.

– Дайте ток, – сказал рентгенолог Беккер-Фрейзинг. – Спасибо. Выключить.

Рентгенолог, тоже из военных преступников, твердо сказал:

– Этого надо срочно положить в госпиталь.

Он обращался к Пуру, очевидно оспаривая другое указание. Пур ничего не ответил. У меня создалось впечатление, что он решил еще немного выждать.

Госпиталь был частью так называемой крепости, тоже двухэтажным, но с нормальными большими окнами. Конечно, зарешеченными. Из них можно смотреть на волю. Для обычных больных существовало несколько палат с шестью или восемью койками, для знатных – отдельные палаты. Меня положили в общую палату на первом этаже. Нас обслуживали санитары из заключенных. Как и повсюду в Ландсберге, здесь было очень чисто. Лечением руководили преимущественно Беккер-Фрейзинг и Фишер. Оба знающие врачи. Я часто задавал себе вопрос: как они решились пойти на преступные эксперименты в фашистских кацетах? Сегодня я могу на это ответить: не так уж трудно, систематически влияя на людей, толкнуть их на ложные, даже

преступные пути. Растлевать и отравлять сознание гораздо легче, чем завоевывать для высоких целей. Беккер-Фрейзинг и Фишер не раскаивались в своем прошлом, но ко мне относились вполне лояльно. Зато Пур не скрывал своего враждебного отношения. К счастью, его как главного врача целиком поглощали связи с американцами.

* * *

В госпитале я наслаждался удобной койкой с пружинным матрасом и видом из окна. Правда, пейзаж ограничивала тюремная стена. На ней сохранились отчетливые следы от пуль. Здесь расстреливали поляков, участников фашистских военных преступлений.

– Полякам разрешалось умереть от пули. А наши подышали на виселице. Вон на стене все еще висят крюки от виселиц! – злобствовались соседи по палате, понося американцев.

– А вон там стоял стол, за которым пили кофе!

Кофе?.. Мне разъяснили, что казни были превращены в зрелища. Присутствовали американцы и представители немецких властей с женами. Наблюдая за действиями палача, они пили кофе. Предсмертные слова казнимых транслировались в Вашингтон.

– Мы в камерах корпуса «Ц» слышали каждое слово. Можно было сойти с ума! – рассказывая мне об этом, санитар и сейчас побледнел. – Стоя на эшафоте, приговоренные к смерти твердили палачам: «Я делал то же самое, что делаете вы. Я выполнял приказы!» Ами это не нравилось. Они быстро натягивали им на голову капюшоны. Мы слышали, как открывался люк, как проваливалось тело, потом как натягивалась веревка, как об стену в агонии бился человек... И это несколько лет... В один день как-то повесили сорок девять человек. Каждый раз казалось, будто вешают нас самих. От этого я поседел и нажил себе язву желудка.

– Некоторые перед смертью повторяли за пастором: «И прости нам долги наши...» На этом микрофон выключался. Дальнейшее – «яко и мы прощаем должникам нашим» – в Вашингтоне не желали слышать. Американцы не хотели вспоминать о своих долгах.

– Теперь они хотят заполучить нас для своей европейской армии. Пусть сперва оживят зарытых в Шпетингене, – вставил эсэсовский генерал Прис, обычно лежавший на своей койке молча, безучастный ко всему.

Кроме Шпетингена, его трогала еще одна тема: наступление в

Арденнах в рождественские дни 1944 года. Он, некогда унтер-офицер Шверинского артиллерийского полка, принимал участие в разработке этого наступления в самом генеральном штабе. Это был кульминационный пункт в его жизни! Разглагольствования Приса о воскрешении повешенных были так же неумны, как и он сам – эта эсэсовская туша в сто килограммов.

Я не вмешивался в такие разговоры, хотя они раздражали меня. В адрес Восточной Германии и в мой часто пускались шпильки. Меня хотели втянуть в бесплодную, изнурительную дискуссию, но это не удавалось.

Однажды мы остались наедине с соседом по палате.

– Вы правильно себя ведете, – сказал он. – Вас хотят спровоцировать, а затем уничтожить. Теперь я узнал вас ближе и не приму в этом участия. Я сам служил в эсэсовских войсках и остаюсь национал-социалистом. Но то, что здесь хотят с вами сделать, мерзко.

Мне казалось, что он говорит искренне, но все же я ответил:

– Мне все равно – шпик вы или говорите от души. Мне скрывать нечего. И вам и американцам известны мои взгляды. Я молчу, чтобы не изматываться в никому не нужных спорах. Они только и ждут, чтобы я пустился в спор. Но самая лучшая защита – молчание.

– А это всех страшно злит. Счастливый вы, что у вас так получается.

Я не ошибся в нем. Он был действительно расположен ко мне, но скрывал это от других. Сосед по палате рассказал много интересного из закулисной жизни Ландсберга. Не один он тайно симпатизировал мне. Военные преступники боялись открыто демонстрировать свои симпатии к «красному». Лишь немногие решались на шапочное знакомство со мной. Ловко натравливая одних немцев на других, американцы сами оставались в тени. Военные преступники становились послушными исполнителями их воли.

Однажды в палату вбежал санитар и нервно заметался по комнате, разговаривая сам с собой:

– Со всеми пациентами я обращаюсь одинаково, если они хорошо себя ведут.

Я догадывался, в чем дело, но наивно спросил его:

– А где остальные?..

– На очередном инструктаже у Зеппа Дитриха. Я просто удрал оттуда.

Ах, так вот откуда ветер дует! Потом мой сосед по палате добавил:

– Мне не хотелось называть имен, но теперь вы знаете все. Вы

не представляете, какую власть этот человек имеет здесь, в тюрьме.

Как и Варлимонт, обер-группенфюрер Зепп Дитрих перестал быть «ПЖ» и получил двадцать лет. Но против него как убийцы в немецких судах накопилось немало материалов. Между прочим, он руководил массовым истреблением своих товарищей по партии 30 июня 1934 года в Штадельгейме. Очевидно, его мучила совесть, и вместо положенного: «Огонь!» он каждый раз командовал: «Так требует фюрер! Огонь!» Прежде он работал коридорным в гостинице, но благодаря своей «беспредельной верности фюреру» быстро продвинулся до генерал-полковника войск СС. Обременять себя знаниями не требовалось – достаточно было покорно исполнять все приказы о расстрелах. Как фюрер, он завел себе усики. Теперь Дитрих занимал важный пост в тюремной типографии. Во время больших праздников он получал от ста до полутора ста посылок от своих единомышленников, которые вышли на свободу и занимали теперь высокие должности. Вести он себя не умел. Близких друзей любил приветствовать крепким пинком пониже спины. Приятель отвечал ему тем же. Тщетно генералы вермахта пытались воздействовать на него, считая, что он подрывает и без того подмоченный авторитет всей касты. Всеобщее отвращение вызывала его интимная дружба с заключенным Хумбом – неисправимым преступником, осужденным по статье 175{48}. Каждую свободную минуту этот Хумб проводил у Зеппа.

Еще недавно Хумб состоял в интимных отношениях с американским сержантом Хаубергером. Используя свое положение, сержант устроил для своего друга, любившего рисовать, мастерскую вблизи башни. При красном свете они там укрепляли американо-германскую дружбу на свой лад. Это возмущало даже большинство военных преступников. Они потребовали прекратить «идиллию».

Американцы так благоволили к Зеппу Дитриху и так считались с ним, что называли его по имени и на «ты». Однажды ко мне обратился на «ты» американский сержант Чухан, руководитель рабочей колонны. Когда я ответил ему тем же, он перестал замечать меня.

– Если этот Зепп Дитрих такой любимчик американцев, не понимаю, почему его собираются держать здесь двадцать лет? – осведомился я. – Ведь множество «ПЖ» уже на свободе.

– Его держат тут в его же интересах, иначе сами немцы снова притянут его за убийства. Из немецкой прокуратуры несколько раз приходили, советовались с американцами и самим Зеппом, как быть. И решили, что ему следует оставаться здесь, пока его

дела не забудутся.

– Но ведь преследование за убийство не прекращается за давностью времени? – возразил я.

– Это верно. Зато они рассчитывают, что вскоре общественное мнение в Западной Германии и Америке будет настолько обработано, что исполнителей приказов фюрера простят.

Не только Дитриха, но и многих других убийц американская тюрьма спасала от немецкого суда. А в Ландсбергской тюрьме для военных преступников им жилось недурно. Американцы охраняли их, как «памятники старины».

Ныне уже пробил час американской свободы и для Зеппа Дитриха. Правда, рановато, кажется, выпустили. Несколько западногерманских газет очень осторожно выразили удивление по этому поводу. Дюссельдорфская газета «Миттаг» писала 25 октября 1955 года:

«Согласно сведениям, полученным из министерства юстиции Баварии, бывший командир дивизии СС „Адольф Гитлер“ генерал-полковник СС Зепп Дитрих, приговоренный в июле 1946 года за участие в убийстве американских военнопленных к пожизненному заключению, выпущен в субботу из тюрьмы Ландсберг. Об освобождении Зеппа Дитриха официально не сообщалось ни генеральным консулом США, ни администрацией тюрьмы Ландсберг. Штаб-квартира американских войск в Гейдельберге отказалась подтвердить или опровергнуть эти сведения». И эта и другие газеты напоминали, что Зепп Дитрих в качестве командующего 6-й танковой армией СС во время наступления в Арденнах принял участие в убийстве трехсот сорока американских солдат и девяноста бельгийских граждан...

Но аденауэровская пресса весьма изворотлива, и у нее короткая память. Так, «Нейе прессе», выходящая в Пассау, сообщала 28 декабря 1955 года: «Ландау. В охоте, которую устроил хозяин станционного ресторана Михел Хагль, принимал участие бывший командир дивизии СС „Адольф Гитлер“ Зепп Дитрих. Он прибыл на охоту в своем черном „Кадиллаке“.

Гоп-ля, мы живем!..

Последовательность освобождения военных преступников зависела исключительно от американцев. Они определяли, кто принесет им больше пользы в ремилитаризации Западной Германии.

– Зальмуту еще придется покоптить. Сперва он называл себя участником 20 июля, и тогда обижались только нацисты. А теперь это не устраивает и ами. Стариком недовольны. Фельдмаршалы фон Кюхлер и Лист имеют больше шансов. Кюхлер вечно хвастал своей дружбой с принцем Луи Фердинандом, а американцы любят шумиху вокруг титулованных особ. Особенно в связи с западногерманской политикой реставрации. Гогенцоллерны снова врутся на трон и предоставили себя в полное распоряжение американцев.

Я обращал мало внимания на такие рассказы. Но позже я удивлялся, как правильно судил и насколько верно был информирован мой тайный благодетель из госпиталя, бывший эсэсовец. Кюхлера за «хорошее поведение» отпустили досрочно. Вскоре западногерманская печать сообщила, что бывшего генерал-фельдмаршала фон Кюхлера видели вместе с принцем Луи Фердинандом в сопровождении двух господ на собрании «землячества верноподданных Восточной Пруссии». Кенигсберг долгое время был гарнизоном Кюхлера. И его друг принц как старший в роду Гогенцоллернов считался лучшей лошадей в западногерманской конюшне. «Верноподданные из Восточной Пруссии» были, правда, разочарованы в фон Кюхлере и принце: двое господ, сопровождавших германских аристократов, оказались агентами Си Ай Си!..

Нацисты Ландсберга не могли простить Кюхлеру интервью, которое он дал представителям прессы после своего освобождения. В нем говорилось: «Самым мучительным в Ландсберге было для меня жить рядом с эсэсовскими бандитами и висельниками». Особенно негодовали эсэсовцы.

– Ведь этот господин почтенного возраста каждую неделю приглашал меня на кофе. Мы всегда были одного мнения по всем принципиальным вопросам прошлого и будущего! – жаловался доктор Блюме из ведомства Гиммлера, участник массовых убийств.

Высокопоставленные нацисты объявили генерал-фельдмаршала гнусным предателем фашистских «идеалов».

– А Лист хитро заработал себе американские шпоры! {49} И подумать только, всего-навсего в тюремной библиотеке! – сообщил мне один из больных.

Библиотека находилась на втором этаже крепости, над женскими камерами. На полках стояло двадцать две тысячи книг

по всем отраслям искусства и науки. В передней части большого зала, отгороженной деревянным барьером, была читальня. Тут стояли стулья, столы, неоновые лампы, на столах – все иллюстрированные журналы и газеты, кроме левых. После появления статьи «Гоп-ля, мы живем за счет оккупационных расходов!», в которой рассказывалось о роскошной жизни Джи Ай, исчезла иллюстрированная газета, поместившая эту статью. С информационным бюллетенем «Дер Шпигель» случилось то же самое, только несколько позже.

Во время ремилитаризации постепенно стали исчезать журналы и даже книги, числящиеся в каталоге. Эта тоже была «заслуга» генерал-фельдмаршала Листа. Он ввел списки – кто какие книги имеет право читать. Определенные книги не выдавались «политическим», а лишь идейно стойким военным преступникам. Некоторые книги вообще исчезли, например «Ватикан – мировая держава» Бернгарда. Лютеранский генерал-фельдмаршал Лист просто разрешил полемику о Ватикане: изъять! Зато он горячо рекомендовал книгу «Эсэсовские войска в действии» генерала Пауля Гауссера, журнал «Национ Европа» и информационный бюллетень эсэсовских войск «Клич викингов».

Лист слыл в тюрьме признанным вождем сословной иерархии. Даже генералы обращались к нему в третьем лице. Когда началась ремилитаризация, его признали и американцы, хотя еще в 1947 году в постановлении суда они записали: «Позорные дела Листа на Балканах – мрачное пятно на немецкой нации». Этот фельдмаршал «Третьего рейха», защищая себя на судебном процессе, отмежевался от своего «верховного повелителя Гитлера» и его практики, о которой, как он выразился, «меньше всего имеет представление свободный гражданин свободной демократии». Он тогда говорил дословно следующее: «Мы, обвиняемые, не хотели войны... Против нас стояли те же силы, против которых ныне повернулся весь западный мир».

После поворота политики освобождение военного преступника Листа, приговоренного к пожизненному заключению, стало лишь вопросом времени. Оно последовало уже в 1954 году за «хорошее поведение» (в американском смысле).

О тюремной библиотеке мне рассказывал заключенный, работавший в этом «шопе» с самого начала и лежавший вместе со мной в палате. Однажды он разоткровенничался:

– Больше трех лет, как кандидат на виселицу, я носил красную куртку и шапку, несколько раз прощался с женой и детьми. Когда меня, наконец, перевели из корпуса смертников в камеру «ПЖ», я был разбит душой и телом. Американский

полковник, начальник тюрьмы, сказал мне: «Мы совершили ошибку, заколов не ту свинью». Я подумал сначала, что он имеет в виду повешенных в Шпетингене, но «не той свиньей» оказалась гитлеровская Германия, а той «свиньей», которую следовало заколоть, были «красные». «Мы решили, – сказал мне полковник, – исправить ошибку и создать живущим здесь нашим товарищам приятные условия». После всего пережитого я просто не верил своим ушам. Подумайте, мы, военные преступники, осужденные американцами, вдруг стали их товарищами! Конечно, это товарищество на тропе войны. «Нужно создать здесь хорошую библиотеку, – продолжал начальник тюрьмы. – Вы должны помочь нам. Такое занятие будет для вас отдыхом». Вот как я попал в библиотеку, где было тогда всего несколько донельзя зачитанных книг. Мы написали всем издательствам, крупным промышленникам, большим торговым фирмам, в разные высокие инстанции. Подпись американского полковника на просьбе прислать книги в тюрьму для военных преступников гарантировала, что нам никто не откажет. И действительно, нам прислали тысячи интереснейших книг. Подействовала и жалость к военным преступникам, раздуваемая в печати. Так мы собрали библиотеку в двадцать две тысячи томов.

Систематическая клевета на Советский Союз, где были осуждены якобы невинные, вызвала в Западной Германии сочувствие к военным преступникам, приговоренным судами западных держав. Американцы спокойно реагировали на это недовольство – ведь они сами подогревали клеветническую пропаганду против Востока и старались внушить немцам, что войны – естественное, даже предписанное богом состояние человечества.

От своего собеседника я узнал, что библиотекари исполняли шпионские задания, сообщая американцам, кто какие книги читает. Всеми этими откровениями он явно хотел расположить меня к себе.

– Вы знаете, отсюда можно бежать! – шепнул он мне однажды.

– После вас, – спокойно ответил я.

Он сказал, что для него бегство не имеет смысла: все равно, мол, на Западе его быстро поймают. Но у меня другая перспектива: стоит мне скрыться за «железный занавес», и преследователи не доберутся до меня. Он даже рассказал о каком-то подземном ходе от подвала под церковью до рва, окружающего тюрьму, и предложил мне при случае осмотреть этот ход. Я категорически отказался:

– Невинный не просит о помиловании и не бежит, а требует

справедливости.

– Ну, тогда будете ждать, пока вас кондрашка не хватит.

– Ничего, и мой срок пройдет. Но с прямого пути я не сойду.

Так я отделался от провокатора и был спасен.

Подземный ход действительно существовал – его проложили сами американцы, как ловушку. Организатором провокационного «побега» был гнусный предатель Ганс Папе из так называемой хорошей семьи. Он заманил участников «побега» в подземный ход для осмотра и всех предал. Многие очутились в карцере на воде и хлебе. Все, кроме Папе, потеряли свой «гуд тайм».

Спровоцированы были, разумеется, те, кого хотели на чем-нибудь поймать. Я радовался, что удержался от искушения. Это стало для меня уроком.

Как часто предлагали мне тайно передать на волю письма!

– Все, что мне нужно сообщить, я пишу в двух письмах, разрешенных мне еженедельно. А вас я не хочу ставить в затруднительное положение и подвергать опасности, – так я отказывался от помощи и честных друзей и коварных провокаторов.

И все же они не отказывались от надежды поймать меня. В тюрьме широко применяли поощрительные добавки к питанию. Я думаю, читателю уже не требуется пояснений, по каким принципам эти добавки распределялись. Их раздавал уже знакомый нам доктор Пур.

Однажды и мне вздумали всучить на добавок масло и яйца.

– Мне не полагается добавка, это только для здоровых, – насмешливо ответил я и отказался.

И эта грубая попытка подобрать ко мне ключи не удалась.

Каждый год в ноябре меня, как и других, вызывали в управление и предлагали подать прошение об амнистии или «пароле». Каждый раз я отказывался. В 1954 году некий Московия телеграфно запросил у меня письменное обоснование отказа. Я послал ему следующий ответ: «Так как ГДР является моей родиной и будет ею впредь, „пароль“ для меня не осуществим. А просить об амнистии я не буду, так как я не признал себя виновным».

Вскоре появился и сам господин Москович, вместе с неким мистером Хаганом. Польский эмигрант Москович заслужил американские шпоры за предательство и участие в кровавом подавлении голодного бунта в каторжной тюрьме Штраубинга в 1950 году. За эти убийства народная Польша заочно приговорила Московича к смерти, а американцы назначили его главным инспектором американских тюрем в Европе.

Мистер Хаган был сотрудником Си Ай Си. Меня привели к

этим двум. Они оба умели разговаривать ловко и вежливо, в чисто американской манере, и нередко дезориентировали людей.

– Если у кого-нибудь и есть шансы на помилование или снижение срока, то только у вас, господин полковник.

– Это надо было сделать, когда я обжаловал приговор, – ответил я. – Тогда были все юридические основания освободить меня. А теперь я не хочу, чтобы меня унизили, отказав в пересмотре дела. Что касается просьбы о помиловании, то она нелепа для человека, не признающего себя виновным!

Снова пустив в ход все свое красноречие, они пытались уговорить меня. Но я сказал:

– Господин Москович, я только в тюрьме узнал от защитника, что отягчающим обстоятельством на процессе стало ложное показание, будто я был офицером-разведчиком. Можете прямо отсюда позвонить в ведомство Бланка и спросить об этом моих самых злостных политических противников. Они вынуждены будут подтвердить, что всю жизнь – и во время войны и в мирное время – я был армейским офицером. Но ведь эта правда вам не нужна. Вам хотелось бы вопреки истине связать мою политическую деятельность со шпионажем. Москович стал смущенно просматривать мои документы.

– Может быть, я ошибаюсь, но в вашем деле это обвинение не сыграло никакой роли.

– Это вы говорите сейчас. А раньше вы считали это настолько важным, что назвали моему адвокату как причину отклонения жалобы. Ведь приговор, вынесенный мне, – политический. Он заранее сфабрикован, и нечего о нем говорить. Если вы хотите сами снизить срок наказания – пожалуйста. Но я ничего предпринимать не буду. – Я встал.

– Еще минуточку, – сказал мистер Хаган, холеный, как Москович, но обрюзгший и бледный. До сих пор он молчал, роясь в моих бумагах. – Вы были в Сталинграде. Часто ли вы разговаривали с Паулюсом?

– Фельдмаршал разговаривал со мной один раз. Очень кратко, когда осматривал расположение моего полка.

– А каковы сейчас ваши отношения с ним? – спросил Хаган. Дешевая хитрость! Он добавил подчеркнуто насмешливо: – Дело в том, что я был и есть офицер-разведчик.

– Тогда вам следовало бы знать, что Паулюс только теперь, когда я был уже в Ландсберге, вернулся в ГДР, – сказал я, раздраженный этими несуразными попытками снова приписать мне что-то невероятное.

– Посмотрим, – закончил Хаган двусмысленно. Я повернулся, чтобы уйти.

– Мы надеемся, что вы обо всем подумаете. Спокойно, наедине, – сказал Москович с деланной приветливостью.

Ну что ж, я подумал, но решения не изменил.

* * *

Освобождение и возвращение в ГДР Паулюса взбудоражило весь ландсбергский генералитет. Нацистские генералы никак не могли смириться с тем, что фельдмаршал, прошедший старую школу генерального штаба, остается в «красной» Германии. Они утверждали, что это не добровольное решение Паулюса. Наверное, его заставили, применили какую-нибудь инъекцию. Газеты старательно распространяли эту чепуху. В слепой ненависти к Советскому Союзу использовали все, чтобы умалить достоинство фельдмаршала, – и все из-за того, что он сумел из трагического прошлого Германии сделать выводы для себя и для всей нации.

Военные преступники были в курсе международных событий, знали о взглядах официальных кругов и различных политических деятелей. Между выпущенными на свободу и оставшимися в тюрьме не прекращалась оживленная переписка. Письма высокопоставленных особ генералы передавали друг другу. К этому узкому кругу принадлежал и мой тайный друг. От него я узнал об отношении Кюхлера к Паулюсу. Он отвергал все выдвинутые против Паулюса обвинения: «Нельзя считать человека, который пришел к иным, чем твои, политическим воззрениям, эгоистом и глупцом». Для генералов старик Кюхлер был авторитетом, они считались с его мнением. Некоторые вдруг стали очень мило разговаривать со мной. Но это быстро кончилось. Снова обработала их американская «машина для прочистки мозгов».

Когда из советского плена вернулся бывший фельдмаршал Шернер, все вначале подумали, что он останется в ГДР. Военные преступники Ландсберга без удержу ругали и поносили его. Они видели в нем выскочку – он вышел из учителей народной школы – и считали, что высших званий и почестей Шернер достиг нечестным путем. Один высокопоставленный деятель писал тогда: «Шернер вернулся в момент, когда население все больше склоняется в сторону так называемого движения „без меня“ и настроено против ремилитаризации. Это огромная опасность и для нас. Необходимо все накопившееся озлобление против военных с помощью печати и радио направить на ненавистного Шернера. Пусть тогда все антимилиитаристы отводят душу на

хребте этого старого чудака. Лучшего козла отпущения трудно себе представить. Генерал-полковник фон Типпельскирх уже взял на себя миссию от имени генералитета отмежеваться от Шернера и его милитаристских злодеяний». Вскоре западногерманская пресса действительно последовала этому совету.

Когда Шернер все же вернулся в Западную Германию, воскресла тема Паулюса, окончательно поселившегося в Германской Демократической Республике и обосновавшего свое решение политически. Теперь вдруг вспомнили об «армии Паулюса», которая, по сообщениям гитлеровской пропаганды, якобы была сформирована в Советском Союзе из немецких военнопленных. Так как американцы поддерживали в тюрьме дух гитлеризма, эти бредни беспрепятственно распространялись. Цель одна – портить отношения Запада с Востоком и подводить «базу» под ремилитаризацию.

Американцы понимали, как опасно для них установление хороших отношений между Западом и Востоком. Они видели, что число противников американской политики и раскола Германии непрерывно растет. Они старательно следили за высказываниями по этому вопросу даже в Ландсберге.

3 июня 1954 года я написал своей жене дословно следующее: «В США вызвала большой шум новая книга фон Тетенса. Я читал только рецензию на нее. Т. утверждает, что Германия дает Соединенным Штатам возможность вооружать себя, чтобы позже – в 1960 году – сговориться с Кремлем. Такие пророчества я слышал неоднократно. Ты знаешь, я не выношу никакой фальши. Ни к чему хорошему она не приводит ни в личной, ни в политической жизни».

Это место цензура подчеркнула красным карандашом. Мне вернули письмо с обычной пометкой цензора: «Написано неразборчиво». У американской цензуры были две мерки: полная свобода для военных преступников, послушных американцам, и строжайший террор для инакомыслящих. Я решил аккуратно переписать письмо заново. Его снова вернули, на этот раз с личной припиской американского офицера службы безопасности капитана Ларджа: «Прошу на будущее воздержаться от политических прогнозов. Это письмо идет в восточную зону, и так как по-прежнему продолжается „холодная война“, предсказания на 1960 год недопустимы!» Оказывается, дело не в неразборчивости почерка, а в запретных «политических прогнозах»!

Почему письмо не должно попасть в восточную зону? Капитан Лардж ясно ответил: «Холодная война».

В это время папа римский публично выступил против принятого в «свободном мире» ведения судебного следствия с применением пыток. В Си Ай Си почувствовали себя в затруднительном положении и поручили американскому ученому доктору Феликсу, директору Национального института психогигиены, найти другие, более действенные методы. «Полнейшая изоляция более действенна, чем применявшиеся до сих пор пытки, угрозы, шантаж и „пилюли правды“. Психика заключенного выводится из строя. Изголодавшийся ум перерабатывает без всякой критики любую данную ему пищу, то есть любые нужные для следствия признания. Угасает сопротивляемость», – вот дословная цитата из «Дер Шпигель».

Эти научные откровения «западной христианской культуры» стали достоянием Си Ай Си. Новый метод испытали и на мне. Под предлогом заботы о моем здоровье меня почти полностью изолировали, лишив возможности работать вместе с другими заключенными. В этой тактике постепенного изматывания и уничтожения неугодных американской разведке лиц активно помогали военные преступники.

Знатные нацисты решили игнорировать меня, а их подручные спровоцировать какой-нибудь скандал и затеять со мной драку. Я старался держаться подальше и своей сдержанностью обезоруживал их. Вокруг меня становилось все пустынное. Так тюремщики думали доконать «красного полковника».

Не легко было сохранять ясность взглядов. Выдержу ли я? Обязан выдержать. Надо думать только о том, как противостоять интригам и не опуститься. Нужны сила воли и способность владеть собою.

Я погрузился в книги. Но обнаружил, как и все, кто долго находится в заключении, что, читая, не могу сосредоточиться. Часто я ловил себя на том, что думаю о другом и читаю механически. Бывает, человек задумается и смотрит сквозь собеседника, не видя его. Так и я: уткнувшись в книгу, но ничего не понимаю. Чтобы заставить себя читать внимательнее, я кратко записывал прочитанное.

Американцы и военные преступники видели, что изоляция не оказывает желаемого действия. Огорченные неудачей, они возобновили клеветнические наскоки в духе допросов, проводимых в подвалах Си Ай Си. Правда, теперь этим занимались немцы, лишняя раз подтверждая свое тесное сотрудничество с американцами. Из председателя грейфсвальдского районного правления Национально-

демократической партии Германии меня вдруг превратили в «коммунистического крейслейтера». Я узнал, что в Си Ай Си допрашивают всех вернувшихся из советского плена, требуя доказательств моего «сотрудничества с Советами». «Доказательством сотрудничества с Советами еще в 1941 году» оказался вдруг следующий эпизод.

К концу лета 1941 года, захватив военный аэродром возле Днепропетровска, мы взяли в плен несколько сот советских солдат, среди них много раненых. Эвакуировать их мы не могли. Я предоставил в распоряжение пленных медицинских работников несколько домов на окраине города для размещения раненых и приказал обеспечить их из трофейных запасов. Когда мы спустя две недели отправились дальше, советский врач в присутствии раненых и медицинского персонала поблагодарил меня. Я ответил, что это естественный акт рыцарства. Теперь это рассматривалось как опасное «сотрудничество с красными»!

Мое поведение в Советском Союзе военные преступники считали прямым доказательством того, что я уже давно «покраснел». Они не принимали в расчет, что все годы войны я безукоризненно выполнял свой долг солдата и офицера.

Однажды в зале меня с провокационной целью спросили во всеуслышание:

– Как это вы, кавалер «Рыцарского креста», без боя сдали Грейфсвальд красным ордам?

Все выжидательно глядели на меня. Я принял вызов:

– Именно мои ордена помогли мне принять это решение.

Многие удивленно вытаращили глаза и навестили уши. Я продолжал:

– Никто не сомневался в моем мужестве и готовности вступить в бой. Это освобождало меня от тщеславного стремления к военным лаврам. Я сумел понять главное стремление измученного немецкого народа: мир. Мне открылся путь к высшему мужеству. Жаль, что его не нашлось ни у господ за зеленым столом, ни у тыловых вояк!

Тыловые вояки смолчали, но не собирались оставить меня в покое. В поисках нового материала военные преступники затеяли целую переписку, во все адреса посылали запросы. Обычно письма, в которых упоминался кто-нибудь из заключенных, цензура возвращала. Но эти письма беспрепятственно проходили американскую цензуру. Цель оправдывала средства!

– Полный провал! – торжествовал мой госпитальный друг. – Ваши товарищи сообщили только хорошее, ничего отрицательного, хотя некоторые из них не согласны с вашими политическими убеждениями.

Военные преступники с прежним недоброжелательством смотрели на «красного полковника».

* * *

Как-то я заметил, что генералы сияют, шепчутся, радостно хлопают друг друга по спине.

– Вы уже читали письмо? – окликнул кто-то Гота, лежавшего в госпитале.

– Да. Меня разбудили и с утра преподнесли этот сюрприз, – ответил Гот в окно.

– Ну, разве это не очаровательно?

Гот был растроган:

– Нет, это больше! Это доказательство того, что наша Германия бессмертна! – Гот вытер глаза. – Я никогда еще не был так горд. В письмах из тюрьмы мне удалось убедить бывших офицеров в необходимости ремилитаризации!

Даже умиленным генералам такой вывод из письма показался невероятным преувеличением. Смущенно улыбаясь, они повторяли:

– Очаровательно! Мы уже собираем для него посылку.

Надзиратель вежливо попросил генералов прекратить разговор.

На другой день мой тайный друг показал мне письмо, которое так растрогало генералов. По детскому почерку я сразу узнал отправителя: генерал Рейнгард. Как всегда, он писал длинно, хвастал, что его рвут на части как оратора на солдатских слетах, у солдатских могил. И вот однажды, когда он уходил на такое собрание, его маленький внук потребовал: «Дедушка, если ты идешь к своим солдатам, надень шлем!» Вот эта фраза и вызвала такой шум. Жирно подчеркнутая, с комментариями на полях, она привела генералов в экстаз. Это ли не трогательное доказательство того, что воинственный дух наследуется! Это ли не гарантия того, что Германия бессмертна!

* * *

Политические события определяли атмосферу в тюрьме, как погода – показания барометра. Военные преступники, так называемые «благородные заключенные», под контролем и режиссурой американцев издавали информационный бюллетень. Вместе с американцами они сеяли злой ветер против Востока и

распространяли такую гниль, что подчас даже некоторым исполнителям становилось тошно. «Самая низкопробная антикоммунистическая травля а ля Геббельс, ничего общего не имеющая с правдой!» – ругали бюллетень некоторые умеренные, а иногда и шпики.

Большинство, правда, поддерживало эту пропаганду и давало мне это почувствовать. Сидя в тюрьме Ландсберг, я, как «коммунистический крейслейтер», отвечал за «нехватку продовольствия в восточной зоне», за «рост» беженцев из ГДР – словом, за любую утку, пущенную бюллетенем. Теперь в столовой места вокруг меня пустовали.

Склоки и ссоры были обычным явлением. Но теперь охрана не решалась делать замечаний военным преступникам. Зато ко мне без конца придирались, хотя я строго соблюдал распорядок дня. Вдруг наступила перемена погоды: бундесрат не утвердил законопроект о «Европейском оборонительном сообществе». По этому случаю Зепп Дитрих удостоил меня приветствием в стиле гостиничного коридорного: «Честь имею!» Этой сомнительной честью я обязан Национальному собранию Франции, которое окончательно провалило законопроект. Стоило слегка померкнуть серебристой полоске на горизонте, маячившей перед генералами новой армии, – и тотчас, как поганки, выскочили на свет божий перестраховщики. Вечером в темноте эти слизняки пробирались ко мне и, шепнув: «Пароль и гуд тайм вынуждают нас улыбаться американцам и ругать Восток», тут же исчезали. Я не хотел связываться с теми, кто поворачивал туда, куда ветер дует.

Другие открыто проклинали своего «исконного врага» – Францию. Больше всех бывший фельдмаршал Мильх. В Нюрнберге он был осужден за преступления против человечности, но в Ландсберге продолжал твердить:

– Мы были слишком гуманными. Особенно по отношению к французам, к этому народу, развращенному коммунистическими идеями. Теперь ошибки дают себя знать. Но в будущем мы их не повторим.

Как и Зеппа Дитриха, этого любимца американцев его коллеги не принимали всерьез. Маленький, толстенький человечек меньше всего был похож на солдата.

– Этот болтун в лучшем случае может сотрясать воздух, но уж никак не командовать армиями. Прямо-таки неприлично! – ворчал Варлимонт.

Мильха за угодничество возвысил Геринг. Из капитана авиации в отставке он произвел его в генерал-полковники. А когда чересчур ретивые расисты обнаружили, что Эргард Мильх –

какое подозрительное имя! – полуеврей, он заставил свою мать поклясться, что она согрешила с арийцем и Эргард – плод этой связи. Впрочем, Геринг, упиваясь своей властью, заявил: «Кто у меня в министерстве еврей, решаю я сам!»

Одну «ошибку» Мильха расхлебывала не только авиация, но и армия. Как «специалист» он безответственно гарантировал, что обеспечит снабжение окруженной 6-й армии по воздуху. Слова своего Мильх не сдержал и все же остался маршалом.

Когда в Ландсберге ввели прежде запрещенный для военных преступников «пароль», Мильх сначала высокомерно отказался от него, заявив, что ждет справедливости, а не подачек. В связи с введением «пароля» военных преступников по отдельности стали вызывать к американскому чиновнику мистеру Гернанду. Тот сладко преподносил им это предложение. Сидя в приемной, Мильх подговорил одного из рядовых нацистов демонстративно отказаться от «пароля». Вдохновленный стойкостью маршала, нацист высказал американцу все, что думал об этом американском подкупе, и в итоге очутился в карцере, на хлебе и воде. После него к американцу вошел Мильх. Разумеется, он безоговорочно подписал все, с той же покорностью, какой отличался при Гитлере. Уж он-то оказался не в карцере, а на свободе. Проездной билет он получил еще в рождественские дни.

В Ландсберге ежегодно широко праздновали рождество. Что ж, мышей приманивают салом. И американцы не скупились на затраты. Благо это шло в счет оккупационных расходов. В центральной башне устанавливали деревянный помост, как во время концертов. Там располагался городской оркестр, окруженный мужским и детским хорами. Жажигали елку, пели старинные, милые рождественские песни.

Одна юная девушка таким серебристо-чистым сопрано спела соло «Спи, моя радость, усни», что завоевала все сердца. На время все забыли о тюрьме. Вдруг на помост поднялся Мильх. Раздались недовольные голоса. Кто-то крикнул:

– Погляди на этого беременного клопа! Неужели придется слушать эту бочку?! Он испортит весь праздник. Подкинули нам ами своего преданного деда-мороза!

Последнее замечание попало в точку. Вместо речи о рождестве этот «дед-мороз» стал сыпать дешевыми, затасканными фронтовыми анекдотами, рассказывать о «встречах» с господом богом на передовой линии, хотя все знали, что на фронте Мильх никогда не был. Затем, повернувшись к оркестру, он обратил внимание, что музыканты впервые надели одинаковую синюю форму. Это зрелище осенило его:

– По вашей великолепной форме я вижу, что европейская

армия будет создана. Она уже приняла зримые очертания. Для нас это самая большая рождественская радость!

Бравые музыканты опешили. Они жертвовали своим свободным временем ради «раскаявшихся грешников», а не для того, чтобы неисправимые военные преступники праздновали возрождение немецкого милитаризма. Но Мильх продолжал фиглярничать. Для певички он приготовил вознаграждение – поцелуй. Бывший фельдмаршал, по-видимому, считал, что он, старый, обрюзгший от пьянства военный преступник, своим поцелуем окажет девушке честь.

В большие праздники в уходе за военными преступниками с американцами состязался Бонн. Некоторые министерства (например, по «общегерманским вопросам») за счет населения присылали в тюрьму для военных преступников тысячи посылок. В них непременно вкладывали открытки с «сердечным приветом от федерального канцлера доктора Аденауэра». А не тот ли канцлер Аденауэр заявлял, что военные преступники – «опасные для общества убийцы»?! Теперь он передавал им привет, присылал кофе и гушиное сало. Ландсбергских детей заставляли петь и плясать перед этими «опасными для общества убийцами». Социал-демократический бургомистр на каждом таком празднике торжественно объявлял, будто в глазах немецкого народа военные преступники – это военнопленные. Толстый аптекарь подтверждал его слова от имени Красного Креста. Эсэсовских убийц развлекали и артисты. Даже госпожа профессор Элли Нэй несколько раз играла перед военными преступниками. Эсэсовский генерал Франк благодарил ее в таких душещипательных выражениях, что седовласая артистка прослезилась. Жалуясь на свою судьбу, он закончил словами:

– Навеки прокляты! – как бы намекая на один из романов Джеймса Джонса.

Он «забыл» о тех, кого сам отправил в вечность.

Однажды австрийский оркестр из Зальцбурга исполнил «Баденвейлеровский марш». Раньше его разрешалось исполнять только в присутствии Гитлера. Что ж, в Ландсберге он прозвучал символично: здесь витал дух Гитлера. Военные преступники бесновались от восторга. Американцы торжествовали.

На рождество, как всегда во время больших церковных праздников, появилось объявление: «17.00 – выдача подарков от лютеранского комитета вспомоществования». И под этим подчеркнутая приписка: «Только для осужденных военных». В Ландсбергской тюрьме для военных преступников метка заключенных «ВП» (военный преступник) постепенно превращалась в «ВО» (военноосужденный). Информационный

бюллетень «Пароле» печатал по этому поводу целые трактаты. Без различия – атеист ли, христианин ли – церковь раздавала подарки всем поджигателям войны, а они злорадствовали, глядя на «красных» защитников мира.

Последствия таких односторонних симпатий церкви вскоре сказались. На «политических» набрасывались даже во время богослужения:

– Что нужно здесь этой швали с Востока?!

Военные преступники видели в церкви свою вотчину и, к сожалению, не ошибались. Я пожаловался пастору на их поведение. Но он не пожелал вмешиваться в «личные ссоры». Я заявил пастору, что церковь оправдывает свое существование до тех пор, пока люди хотят посещать ее. Я против политического злоупотребления религиозными чувствами.

Из политических заключенных лучше других держались чехи и поляки. Немцев с их расколотым на две части отечеством легче было настроить против ГДР. Американцы ловко использовали авторитет продажных генералов. По их примеру некоторые «политические» предпочитали выгоды и преимущества в тюрьме верности родине и своим былым прогрессивным воззрениям. Самым гнусным представителем породы ренегатов оказался бывший студент Берлинского университета имени Гумбольдта Андреа Андреас. В Советском Союзе его осудили как эсэсовца. Он притворился раскаявшимся и прозревшим и сумел добиться некоторых преимуществ. В Ландсберге он вдруг стал истым богомольцем. Желая выслужиться, Андреас заявил, будто знает меня по выступлениям в советских лагерях военнопленных. Я во всеуслышание назвал его «завравшимся мальчишкой».

На следующий день ко мне пришел пастор – вступить за черную душу своего верного прихожанина. В церкви Андреас всегда сидел на передней скамье и радовал священника невинным взглядом. Рядом с ним обычно располагался эсэсовец доктор Зандбергер. Когда в церкви травили заключенных с Востока, никто и не думал их защищать. Но вот за друга американцев и доносчика пастор Леттенмайер охотно вступился. Им руководили только политические соображения. Теперь я понял это.

Генералитет высоко ценил всех ренегатов. Нацистские генералы охотно приглашали на кофе молодых предателей даже с уголовным прошлым. Зато старого сослуживца, который извлек из прошлого урок, они предали анафеме.

Андреас немало заработал на своем предательстве. Он не был болен, но получал санаторный паек с жирными добавками, единственный из «политических» состоял в дискуссионном

кружке на английском языке – туда приняли только избранных девять человек из всей тюрьмы. Кружок был махрово реакционный, антисоветский. Андреаса зачислили по рекомендации доктора Зандбергера в расчете, что он как бывший стипендиат восточноберлинского университета сможет свежим материалом оживить клевету на Восток. Эсэсовский полковник доктор Зандбергер за деятельность в карательных отрядах был приговорен к смерти, затем помилован и стал «ПЖ». Пастор считал его самым умным человеком тюрьмы и подослал ко мне. Зандбергер прихватил с собой отчеты о последних заседаниях Евангелической академии. Мне они показались продукцией ведомства Бланка. И в них речь шла о ремилитаризации. Дискутировался вопрос не о том, стоит ли, а о том – как... Я предложил доктору Зандбергеру переименовать это американское учреждение в «Евангелическую военную академию для американской ремилитаризации». Больше он не приходил ко мне. Кстати, в гитлеровские времена Зандбергер отрекся от церкви, а теперь вместе со своим дружкой Андреасом так громко молился, что раздражал окружающих. Зандбергер был доверенным лицом американского полковника – директора тюрьмы, точнее, его адъютантом. И все же оставался «ПЖ». Удивленный, я спросил пастора Леттенмайера, почему Зандбергера не освободили. Он ответил:

– Нельзя. Зандбергер вынужден был признать свое участие в убийстве шестидесяти тысяч человек. Сейчас ему худо было бы на свободе. Его семья живет в довольстве. Она пребывает в лоне церкви.

Пастор прав. Зандбергер достаточно умен – он знает, когда и куда надо причалить.

Его праздник наступил 6 сентября 1953 года, в день выборов в бундестаг. Он заказал в столярной мастерской большую доску, на которой графически изобразил перспективы победы христианско-демократического союза.

– Это наша победа! Мы достигли цели! – гордо твердил он.

Другие военные преступники поддержали его:

– Теперь с нами ничего не случится!

Для них победа западногерманского ХДС означала торжество вожаемой идеи ремилитаризации. Жизнь доказала их правоту.

И американцы расценивали итоги выборов, как свою победу. В те дни я вспомнил о миллионах долларов, о которых мне рассказывал Бэр. В честь победы Христианско-демократического союза на выборах американцы выдавали военным преступникам фрукты, мороженое и кофе.

Служители церкви в тюрьме все больше попадали под влияние военных преступников и других фашистов. Католический священник Моргеншвайс заработал от боннского правительства крест. Его коллеги из евангелической церкви, не желавшие быть подручными политических дельцов, оставались тут недолго. Только Леттенмайер прижился. Он симпатизировал военным преступникам и старался образумить их лишь в еврейском вопросе. Впрочем, и от этого он вскоре отказался.

В тюрьме для военных преступников сидел профессор медицины Катценэлленбоген. Семидесятилетнего старика, человека редкой эрудиции, третировали как еврея. Генеральская шатия называла его только «Катценбуккелем» или «Катценкнигеленком»{50} По поручению военных преступников пастор Леттенмайер, не говоря о причине, предупредил меня, чтобы я воздержался от общения с Катценэлленбогеном. Леттенмайер и тут стал слугой фашистов: половинчатость к добру не приводит.

Стоило выйти на свободу кому-нибудь из крупных военных преступников, газеты начинали трубить: «Приговоренный к заключению за мнимые военные преступления генерал N за хорошее поведение досрочно выпущен из тюрьмы Ландсберг». Но когда вышел Катценэлленбоген, западногерманская печать подняла злобный вой о «страшных преступлениях еврейского профессора в концентрационных лагерях».

Политический барометр стоял на «переменно». Что-то носилось в воздухе – ведь военные преступники обо всем узнавали раньше других. Перемену я почувствовал и на себе: один со мной здоровался, другой захлопывал перед носом дверь, третий напевал в умывальной: «Ты не видел маленького Кона?», при этом весело подмигивая.

Дело в том, что доктор Отто Йон{51} переселился в Германскую Демократическую Республику – факт, послуживший предлогом для начала травли участников покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.

В Ландсберге эту травлю возглавил генерал Герман Рейнеке. До войны он служил в отделе снабжения министерства рейхсвера, а во время войны стал начальником управления по делам военнопленных военного министерства. Рейнеке был идейным вдохновителем приказов о бесчеловечном обращении с военнопленными. Его приказы касались в первую очередь советских людей. В 1945 году за это он заработал у американцев веревку, но казнен не был, а теперь по той же причине был у них

в чести.

Население Германии впервые услышало о Рейнеке после 20 июля 1944 года: фюрер назначил его заместителем пресловутого Фрейслера, председателя так называемого «народного трибунала» и первым членом этого «суда». Рейнеке оправдал доверие Гитлера. С садистским старанием он безжалостно преследовал и терроризировал каждого, кто «потерял веру в фюрера». Недаром его звали Рейнеке{52}. Да, это хитрая лиса. В 1944 году он сделал карьеру на кровавой расправе со своими товарищами по вермахту, а теперь на этой же палаческой славе зарабатывал капитал у американцев. Чутьем хищника Рейнеке раньше других учуял, по какому пути пойдет Западная Германия. Поэтому он оставался «твердокаменным нацистом» и завоевал популярность среди военных преступников в Ландсберге.

Заключенных Ландсберга чрезвычайно волновала статья 131. После краха 8 мая 1945 года союзные власти прекратили все платежи личному составу вермахта. Союзный Контрольный Совет еще раз подтвердил это законом № 34 от 20 августа 1946 года. Закон касался всех, даже инвалидов войны. Но политический курс изменялся, и в 1948 году оккупационные власти Запада неожиданно восстановили в своих зонах выплату пособий бывшим военнослужащим. В июне 1949 года в западных зонах вразрез с Потсдамским соглашением вышел закон, согласно которому все военнослужащие, вступившие в вермахт до 30 сентября 1936 года, получали право на пенсию, исключая 1) лиц, потерявших это право по постановлению суда, и 2) лиц, приговоренных за преступления против человечности.

После создания ФРГ на основе этого закона в боннскую конституцию была внесена статья 131, которая вначале не давала этих прав военным преступникам. Но Бонн тут же поспешил успокоить находящийся в заключении генералитет.

Время – лучший советчик. И время помогло бундестагу. После пятидесяти заседаний удалось найти лазейку и для военных преступников: «Ущемление части служащих в их правах является нарушением основного права всех граждан на полное равенство перед законом». Плотины были прорваны. Военным преступникам гарантировали равные права на материальное обеспечение. Затем последовал ряд поправок и дополнений к статье 131, все в пользу военных преступников. Был поставлен знак равенства между понятиями «находящийся в плену» и «находящийся под арестом в иностранном государстве». Низших чинов эти поправки не коснулись. Зато для высших чинов сделали все. Даже гестаповцы и эсэсовцы были обеспечены после принятия пятой поправки к статье 131.

У лисы Рейнеке появилась масса хлопот. Как специалист по снабжению он вычислял, на какие суммы может рассчитывать каждый военный преступник. К пенсиям и дополнительным оплатам, начисляемым с 1951 года, теперь добавлялась еще компенсация за каждый день пребывания в тюрьме, установленная для гитлеровского офицерства Бонном. Кроме того, при освобождении из тюрьмы военные преступники наравне с отпущенными из плена в течение года получали оклад, равный их последнему жалованию в вермахте. Рейнеке помнил наизусть все суммы, положенные высшим военным преступникам: от сорока до шестидесяти тысяч марок одновременно и от полутора тысяч до двух с половиной тысяч марок пенсии в месяц. В Ландсберге началась эпидемия проектирования особняков. Здесь это были не бумажные мечты, как когда-то в Моршанске, а реальные планы на твердой материальной базе.

Гоп-ля, мы живем... на средства немецкого народа!

Рядовых военных преступников, особенно бывших кацетников, Рейнеке вынужден был разочаровать. Боннское сословное государство не без умысла «на законном основании» исключило их из этой категории. Им была положена только компенсация за отсидку в тюрьме.

Еще одно всполошило финансиста Рейнеке. Подсчитав срок выслуги офицеров, вышедших из унтер-офицеров, он установил, что им перепадет слишком большой куш.

– Так не пройдет! Что им делать с такой массой денег! Нужно что-то менять! – причитал этот генерал-финансист. – В конце концов Федеративная республика не благотворительное учреждение для каждого встречного и поперечного!

И с чего он так волновался? Ему была гарантирована высокая пенсия и компенсация в размере сорока двух тысяч марок. Статья 131 была изменена так, как этого хотел Рейнеке.

Когда статья 131 со всеми поправками вступила, наконец, в силу, молодые офицеры, унтер-офицеры и рядовые почувствовали себя обманутыми.

– Почему генералы получают такие невероятные суммы, а те, кто вынес все на своем горбу, – шиш? – спрашивали они.

Генералы оправдывались:

– На нас лежало тяжкое бремя ответственности. Начались ожесточенные споры.

Перед лицом суда верхи гитлеровскню государства отказались признать свою ответственность за войну и зверства. Один только «редактировал» приказы, другой лишь выполнял их как «солдат», и все они – «уже давно были против». Этих извергов сами же американцы заперли в тюрьму, а немецкий народ

проклял. Теперь из кармана немецкого народа преступникам выплачивали огромные суммы.

День рождения пастора Леттенмайера и Рейнеке совпадал. В 1954 году он пришелся на воскресенье. В честь Леттенмайера на богослужение пришло больше заключенных, чем обычно. Пастора ждали минут двадцать: в это время он отправился с визитом к атеисту Рейнеке.

Итак, Рейнеке был в чести. В один прекрасный день в связи с усилением ремилитаризации кандидат на виселицу был отпущен на основании «пароля». Западногерманскому населению внушали, будто лишь в Советском Союзе немецких солдат судили за военные преступления. В пограничном Фридланде затевали настоящий балаган вокруг возвратившихся из Советского Союза военнопленных. Зато из Ландсберга военных преступников отпускали так тихо, что даже ближайшие родственники не сразу узнавали об этом. Отпущенных по «паролю» обязывали первым же поездом покинуть Ландсберг, чтобы избежать огласки. Им запрещали рассказывать о своем процессе и жизни в тюрьме. Свобода передвижения на родине ограничивалась определенной территорией: для крупных военных преступников была более широкой, для менее значительных – соответственно меньшей.

Каждого освобождаемого вызывал к себе мистер Гернанд на инструктаж. В тюрьме это называли «американской конфирмацией», поскольку во время инструктажа американский чиновник внушал освобожденным веру в «свободный мир». Они считали эту процедуру унижительной, но все же давали подписку.

– Все равно наша подпись не действительна – она вынужденная, – утешали они себя. – Во всяком случае, теперь мы обеспечены до конца жизни, и недурно. Ремилитаризация тоже движется. А дальше... Время – лучший советчик!

Рейнеке чувствовал себя настолько уверенно, что в тот же день, когда его выпустили из тюрьмы, нарушил первое требование «пароля». Свой выход на свободу он отпраздновал в ресторане «Петух» с одним генералом, постоянным жителем Ландсберга. Во время пьянки Рейнеке послал открытку в тюрьму. Для каждого выпущенного на свободу, писал он, в «Петухе» всегда найдется глоток вина, притом бесплатно. Эта выходка не прошла даром: теперь американские военные полицейские всех освобождаемых за «хорошее поведение» сопровождали до вокзала и покидали перрон лишь после отхода поезда.

Когда началась амнистия военных преступников в Советском Союзе, многие в Ландсберге пришли в недоумение. Даже преданный американцам доктор Зиккель заявил:

– Пора и с нами что-то делать!..

Теперь у центральной башни шли бесконечные споры.

– В Советском Союзе военные преступники разве что свернули голову какому-нибудь цыпленку или с голоду украли свеклу! – говорил толстый, килограммов на полтораста, американский сержант и показывал «Нью-Йорк таймс», где черным по белому так и было написано.

Раздался хохот заключенных. Американец сердито продолжал:

– А вы убийцы!

Оскорбленные, все отошли от американца и потом долго бранили его. Впрочем, статья 131 действовала, как пластырь. Она затыкала рот недовольным, и они снова становились преданными слугами американцев.

Раньше в Ландсберг для душеспасительных бесед с военными преступниками приезжали архиепископы и прочие высокие церковные чины. Теперь сюда толпами устремились представители «землячеств», «Стального шлема» и других солдатских союзов. Они чествовали преступников, как «героев» и «мучеников».

По радио созывали то силезцев, то померанцев, то мекленбуржцев.

– Разве ты померанец?

«Померанец» расхохотался:

– Во всяком случае, однажды я проезжал курьерским поездом через Померанию.

И он получил пакет с подарком «для померанцев».

Меня никогда не вызывали. Их «братьями и сестрами» могли быть только фашисты.

Чтобы завоевать сердца тех заключенных, которые все еще придерживались точки зрения «без меня», в тюрьму явилась княжеская пара Шаумбург-Липпе из Гамбурга. Высокие господа приехали без подарков, уверенные, что военные преступники будут счастливы просто лицезреть представителей княжеского рода.

– Вы, очевидно, не понимаете, кто перед вами! – набросилась ее светлость на бывшего унтер-офицера, который не пожелал ее слушать.

Но этого берлинца не легко было смутить.

– Дорогуша, Шаумлиппе! – ошарашил он княгиню. – Послушайте меня, катитесь-ка лучше в свой Гамбург. А на деньги, что вы просадили в поездах и гостиницах, вы бы лучше преподнесли нам посылочку, да побольше! – он раздвинул руки как можно шире. – Куда приятнее вашей болтовни об отечестве и госпде богe!

Разумеется, он не получил ни посылки, ни «пароля».

Однажды по радио объявили: в комнату посетителей вызываются Мильх, Дитрих и другие знаменитости. Через некоторое время перечислили военных преступников рангом пониже. Так продолжалось весь день. Полковник в отставке Рудель прибыл из Южной Америки и считал своим долгом нанести визит коллегам, сидящим в тюрьме для военных преступников. Накануне он выступал в городе Ландсберг и как ультрафашист отжившим уже гитлеровским жаргоном поносил «выродившуюся демократию Запада». Перед встречей с Руделем каждый военный преступник беседовал с офицером американской разведки. Там они получали соответствующую зарядку.

– Рудель еще не усвоил, что такое германо-американское боевое содружество, – поучал американец своих подопечных. – Мы великодушно разрешили ему прибыть в наше заведение, повидаться со своими старыми коллегами. Вы обязаны разъяснить гостю его ошибки и направить на верный путь.

Все знали, что в помещении для свиданий установлены аппараты для подслушивания. Разговору с единомышленником американцы не мешали, но подслушивали. Поэтому разговаривали в строго «национальном» духе, в рамках американской политики. Иначе – угроза лишиться «пароля» и благ, предусматриваемых статьей 131. Никто из «патриотов» не желал рисковать своими благами.

Вскоре и меня вызвали к башне. Сказали, что я могу получить пакет с фруктами. На нем стояли сердечные слова приветия. По почерку я узнал генерала в отставке фон Габленца. Я взглянул на американского сержанта. Он понял мой немой вопрос.

– Здесь вам не гостиница, куда каждый может приходить, когда вздумается, – проворчал он.

Понятно! Фон Габленц – не Рудель, а я – не Зепп Дитрих!

Военные преступники нагнали с каждым днем. Теперь их, видите ли, оскорбляло совместное заключение с «красной швалью». Осенью 1954 года они инспирировали выступление на эту тему на первой полосе «Франкфуртер альгемейне цейтунг». Эта газета, обычно озабоченная своей репутацией, напечатала наглейшую передовицу. Всех политических заключенных, «за немногими исключениями», газета называла «отбросами человечества». Военные преступники читали эту статью вслух, вызывая громко, чтобы все слышали.

– Никто из нас не осужден за преступления против человечности или за убийства, как вы, военные преступники! – не вытерпев, сказал я группе, где упивались этой статьей.

Вскоре в тюрьме появилась комиссия для проверки того,

«насколько обстановка тюрьмы политически и морально опасна» для лиц, осужденных за массовые убийства.

– Почему вы все еще «ПЖ»? – спросил американский офицер долговязого Хорста.

– Я расстрелял семнадцать комиссаров Красной Армии, господин майор! – гордо ответил эсэсовец, вытянувшись по стойке «смирно».

Американец сказал, глазом не моргнув:

– Теперь за это вам следует дать орден!

Но Хорст остался в тюрьме: кроме советских комиссаров, на его совести был еще американский летчик. А уж это «наш парень»!

Американская комиссия сочла военных преступников настолько благонадежными, что отвергла всякую опасность для них коммунистического влияния. Но администрация тюрьмы под влиянием заключенных поддерживала требование военных преступников об удалении «политических».

И от американцев и от военных преступников нам все чаще приходилось слушать угрозы: to be sold down the river. Сперва мы не понимали, что это значит. Мой чешский друг Михола, читая какую-то книжку, вдруг наткнулся на это выражение. Оказывается, оно значит «быть проданным вниз по реке». Родилось оно во времена работорговли в Америке и для негров было равнозначно смертному приговору, потому что чем дальше вниз по Миссисипи, тем бесчеловечнее отношение к черным.

Впрочем, нас вряд ли собирались переводить: в Ландсберге и без того было мало заключенных. Администрация тюрьмы все чаще нанимала рабочих извне, чтобы поддерживать роскошный режим жизни военных преступников. Расходы на содержание заключенных росли. Конечно, за счет оккупационных средств, то есть за счет самих немцев. Прислужники американцев в Западной Германии восторгались этой щедростью как верхом гуманности. Правда, в это же время в американских тюрьмах вспыхивали и кроваво подавлялись голодные бунты, сообщения о которых то и дело проскальзывали в печати. Ясно, американцы меньше всего думали о «человечном обращении с заключенными». Их цель – привлечь заключенных на свою сторону за счет немецкого народа. Кто этому сопротивлялся, для того жизнь в Ландсберге становилась адом.

В Ландсберге все труднее было выражать точку зрения, отличавшуюся от официальной. Лишь изредка в темноте, когда показывали кино, возникали стихийные демонстрации. При свете у людей не хватало мужества.

«1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – десять минут в Америке» – так

называлась кинохроника, которую показывали перед каждым американским фильмом. Хроника пропагандировала американскую жизнь в превосходных степенях: в США все самое большое, самое быстрое, самое красивое, самое богатое, самое свободное на земле. О самой большой преступности в мире тактично умалчивалось. Но судя по фильмам, так и было. На экране преуспевали воры, убийцы и мошенники. Бюллетень «Пароле», рекламируя гангстерские фильмы, писал: «Не забудьте посмотреть „Короля налетчиков“! Горы боеприпасов и многочисленные трупы – гарантия прекрасного времяпрепровождения!»

Кое-что делалось и для «перевоспитания». Этой цели служили милитаристские фильмы. В «серьезных фильмах», например «Роммель» или «Операция „Цицерон“», реабилитировались руководители „Третьего рейха“. Примирить массу с ремилитаризацией должно было огромное число веселых военных комедий. Среди них: „Микоша призвали“, „Операция „Эдельвейс“, „Отпуск под честное слово“, «Вот когда смеялась вся дивизия».

В Ландсберге шутили: «Ни одного дня без дряхлого коня!» Речь шла об Аденауэре, которого показывали в каждом выпуске кинохроники. Стоило ему появиться на экране, в зале раздавался хохот и крики: «Федеральная кляча номер один!» А когда появлялся Хейс, кричали:

«Номер два!» Или наоборот. По поводу рангов не было единого мнения.

Когда на экране показали атомные пушки, предназначенные для Западной Германии, под лозунгом: «Все для твоей безопасности», в зале раздался смех. Так иногда прорывался протест. Впрочем, заключенные в Ландсберге были достаточно послушными.

* * *

Изредка я разговаривал с врачами Фишером и Беккер-Фрейзингом. Они держались свободнее других, хотя избегали политических тем. Если я все-таки заговаривал о политике, они отвечали набившими оскомину трескучими фразами из ежедневной западной прессы. Они не желали или не умели самостоятельно мыслить.

Исчерпав в каком-нибудь споре весь арсенал примитивных аргументов, оба собеседника ни с того ни с сего обрушивались на ГДР и прежде всего на Вальтера Ульбрихта, который, по их мнению, желает истребить мелкую буржуазию.

– Никто, а тем более Вальтер Ульбрихт, и не думает истреблять или исключать из жизни такую важную часть немецкого народа, как мелкая буржуазия. Она многого достигла в самых различных областях жизни, – говорил я.

– Ну вот, видите! Почему же так много говорят о руководящей роли рабочего класса?

– Буржуазный мир, и не только немецкий, угодил в тупик. В двух мировых войнах он потерпел крушение.

Мне было нелегко заставить этих врачей задуматься о роли рабочих в современном обществе. Сначала я указал им на численное превосходство этого класса и на его решающую роль в экономике. Доктор Фишер подумал и сказал:

– Знаете, вы здесь единственный, кто выступает за это. Вы морально и физически погибнете. Большинство тех, кто находится на свободе, тоже думает не так, как вы. Лучше бы вы встали на сторону буржуазной Федеративной республики – ведь это большая часть Германии.

– Дело не в том, какая республика больше и что выгоднее для меня. Надо думать о том, что лучше для всей Германии.

– Что у вас там может быть лучше? – насмешливо спросил он.

Фишер заговорил об «экономическом чуде», пытаясь доказать, что жизнь «без капитала невозможна».

– Это утверждают капиталисты. А разве у нас нет доказательств, что без капиталистов очень хорошо жить?! Возьмите, к примеру, Советский Союз и...

– ГДР, вы хотите сказать? – прервал меня Фишер. – Я вижу, вас многому обучили в советском плену и в так называемой Германской Демократической Республике.

– Конечно. А правильность того, чему меня научили, я испытал на собственной шкуре здесь, в Западной Германии.

– Боже, как вы ослеплены! Представьте, что у вас там сцапали бы человека с таким же поручением. Что бы с ним сделали?

– Его приняли бы с распростертыми объятиями, как борца за мир. Но, к сожалению, к нам приходят люди, натравленные против нашего мирного строительства! К нам засылают шпионов и диверсантов.

– Вы говорите так, будто в Западной Германии живут одни милитаристы, капиталисты, фашисты и еще черт знает кто.

– Чепуха! И здесь и там живут порядочные, честные люди, которые хотят трудиться в мире. Но здесь людей толкают на путь войны, а в Германской Демократической Республике мы боремся против войны.

После долгих размышлений он заявил, что географическое положение Германии требует сотрудничества с Востоком. Такой

поворот удивил меня: в нем заключалось признание.

– А что же, по-вашему, препятствует сотрудничеству с Востоком?

– Внутриполитические последствия! – ответил Фишер после некоторого колебания.

Его представления о «внутриполитических последствиях» были расплывчаты, неопределенны. Он боялся изменения нынешних социальных условий в Западной Германии, хотя понимал опасность западной политики «с позиции силы». Сидя в тюрьме, он определил будущие профессии своих детей, чтобы в случае войны они могли находиться дома или хотя бы подальше от линии фронта.

И все же перемены общественного строя он боялся больше, чем войны.

– Но ведь ваши дети и в демократической Германии могут стать врачами?

– Я слишком мало разбираюсь в политике, чтобы правильно судить об этом, – закончил он наш последний разговор.

Фишер избегал таких острых тем. Чтобы спокойно жить, он предпочитал голосовать за ХДС, посылать детей на конфирмацию, сохранять для них все преимущества в «свободном мире» и выбрать им профессию с учетом будущей войны. Вот основные пункты его противоречивого мышления и поступков.

Доктор Фишер инстинктивно чувствовал, что в его воззрениях «что-то не так», но остался им верен. Нельзя же перепрыгнуть через собственную тень! На прощание я поблагодарил его за доброе отношение ко мне. Когда его выпустили, я почувствовал себя более одиноким.

* * *

– Вас хотят застрелить! – взволнованно предупредил меня однажды мой тайный друг.

Он разозлился, когда я искренне рассмеялся. Дело в том, что я уже слышал об этом от моих славянских друзей. Один офицер польской роты сказал им, с чем это связано. Американцы разработали план на случай «нападения красных» на Западную Германию, точно распределив, кто какого «политического» убивает.

– Ну, знаете, у вас нервы, как у лошади! – удивился мой тайный друг.

– К сожалению, нет. Просто я уверен, что Восток никогда не нападет на Запад!

Мой друг не верил этому. Но в человеческом и политическом развитии он настолько продвинулся, что доверял мне и не участвовал в травле. Когда его выпустили, он подарил мне, «политическому», все свои пожитки.

Однажды он увидел, как из моей камеры вышел заключенный Аален. Это ему не понравилось:

– Что у вас делал этот предатель?

Вопрос уместный. Аален не впервые попал в тюрьму и был шпииком. Перед очередным освобождением он попросил у меня автограф как у «знатного заключенного из восточной зоны». Я, естественно, отказал ему.

– Но ведь другие давали!

Уголовник протянул мне красивую книжечку в сафьяновом переплете. На одной из первых страниц изящным почерком было написано довольно длинное стихотворение, затем подпись: «Моему другу Аалену преданный ему...» Я не поверил своим глазам: Гот, генерал-полковник в отставке!

О темной связи бывшего командующего армией с уголовником Ааленом я рассказал во всеуслышание. Военные преступники, постоянно шпионившие за мной, создали «следственную комиссию», чтобы доказать, что я «клевету на заслуженного старого генерала». Но они спасовали перед фактами. Тогда они придумали оправдание:

– Генерал-полковник уже того... слишком стар.

Я возразил:

– Доктор Аденауэр на полтора десятка лет старше!

Военные преступники подговорили рецидивистов-уголовников спровоцировать драку. Главным организатором нападения был майор-эсэсовец Швейцер. Для подкупа он использовал подарки, поступавшие в тюрьму. Позже, вечером, некоторые уголовники признались мне, что они вынуждены были подчиниться. Однажды Швейцер сам перешел к действиям. Я обратился за защитой к надзирателю Доттервейху. Тот в отчаянии сказал:

– Что я могу сделать? Все равно он меня не послушает!

Мои польские и чешские друзья предупредили:

– Не сопротивляйтесь. Пусть лучше вас избьют. Иначе они вас окончательно доконают, а ами еще запрут вас в карцер.

Пришлось смириться. И это было очень горько.

По медицинской линии я теперь зависел от доктора Пура. Он без осмотра направил меня на работу в сад. Там мне поручили мыть цветочные горшки: занятие при моей астме не менее вредное, чем чистка картофеля в подвале.

Однажды Пур послал меня сгребать снег. Когда у меня пошла

горлом кровь, он и глазом не моргнул. Я заявил Пуру, что он обращается со мной, как в свое время с узниками кацета, а ведь именно за это его приговорили к смерти...

– Что же мне прикажете делать? Так требует американская администрация!

* * *

Заклученных в Ландсберге становилось все меньше. Камеры были заняты лишь на нижних этажах. Боннской юстиции срочно требовалась тюрьма: во-первых, возросла преступность, во-вторых, некуда было сажать борцов за мир и так называемых «красных».

«Великих» в Ландсберге осталось совсем немного. Это были главным образом те, которых спасали от немецкого суда, или те, которые опротестовали приговоры. Всякий упрек в несправедливости американцы воспринимали как оскорбление. Они дали почувствовать это даже подопечному ландсбергского генералитета штандартенфюреру дивизии СС «Адольф Гитлер» Пейпперу. В свое время он по конъюнктурным соображениям перешел из армии в дивизию СС «Адольф Гитлер» и дослужился до должности адъютанта Гиммлера. Но теперь он снова именовал себя полковником, обращался к генералам в третьем лице, кокетливо и подобострастно улыбаясь. Генералы вознаградили его, инспирировав появление в газетах нескольких реабилитирующих статей. В них доказывалось, что Пейппер не виновен. Но такой защитой генералы ничего не добились: пожизненное заключение не было отменено.

Из осужденных за военные преступления женщин в тюрьме оставалась только доктор Флоккен. Во времена Гитлера ее как врача привлекли к осмотру заключенных кацета для определения, кто «неработоспособен», кто «ограниченно работоспособен» и кто «работоспособен». Из сострадания и по доброте характера она многих заключенных зачисляла в «неработоспособные», не зная, что тем самым подписывает им смертный приговор. «Неработоспособных» тут же отправляли в газовые печи и сжигали – «выпускали в трубу», как это называлось на страшном языке нацистов. Приговоренная к смерти женщина клялась, что не знала о страшных последствиях своего медицинского заключения, и требовала справедливости, а не милости. Поэтому ее не отпустили. А убийцы сотен и тысяч людей, признавшие свои преступления, хотя и вовсе не раскаявшиеся, давно были на свободе.

Трагичен и вместе с тем забавен случай с Йозефом Унрехтом. Однажды мистер Гернанд собрал военных преступников, рассказал им об условиях «пароля» и предложил задавать вопросы. Унрехт спросил:

– Меня обвиняли в том, что я, будучи надзирателем в кацете, убил одного еврея. Но мой адвокат точно установил – этот еврей живет в США. «Мертвец» даже сам написал мне оттуда.

Военные преступники хохотали до упаду. Лишь мистер Гернанд был серьезен – он позаботился, чтобы Унрехта оставили в тюрьме.

Не прекращались разговоры о закрытии Ландсбергской тюрьмы. Куда же денут заключенных? Об этом думали все. Самый простой выход нашли военные преступники: «Нас, наконец, отпустят. А красную сволочь переведут в какую-нибудь каторжную тюрьму». Местные знатоки законов доказывали, что такие пересылки противозаконны.

– Федеративная республика сейчас получила полный суверенитет, и она не допустит этого. Всех нас осудил американский суд по оккупационному статуту. С введением суверенитета оккупационный статут аннулируется. Значит, аннулируются и все приговоры, связанные с ним.

Эти соображения не лишены были логики, а политика и логика должны быть тесно связаны. Впрочем, это не касается американской политики.

* * *

В рождественские дни 1954 года ко мне впервые и единственный раз приехала жена. Встреча наша была и радостной, и горькой. Мы радовались, что оба так крепки духом. Моя жена не могла не заметить, что я держусь уверенно и спокойно, а я убедился в ее непоколебимой вере в скорый счастливый конец нашей разлуки. Я почти не знал о ее упорной борьбе за мою свободу и мало надеялся на успешный исход.

В отличие от поверхностного надзора при свиданиях посетителей с военными преступниками нас охраняли строго. Приходилось долго ждать в административном здании, пока офицер службы безопасности капитан Лардж сформирует отряд охраны из американцев и поляков.

В течение года мне ежемесячно полагалось два часа свиданий и, кроме того, свидания на рождество. Всю «задолженность» сложили, и это определило продолжительность наших встреч. Я избегал всего, что было против правил. Американцы вскоре

ограничили охрану одним человеком. Чаще всего это был шпик.

Но вдруг на очередном свидании появились американские и польские офицеры:

– Вы без разрешения разговаривали на иностранном языке.

Я протестовал – это была ложь. Американский офицер вежливо извинился, но заявил, что обязан исполнить свой долг. Три или четыре охранника буквально не спускали глаз с наших губ, чтобы не пропустить ни слова.

По тюрьме разнеслась сенсация: «Гостя из восточной зоны!» Никто не верил, что человек с Востока может быть хорошо одет, – настолько укоренилась клевета о жизни в ГДР. Говорили:

– Она одолжила себе это пальто у кого-нибудь здесь, на Западе.

Комнату для свиданий убирал и отапливал заключенный Йозеф Мюллер. Раньше он был социалистом. В кацете его заставили топить печи, в которых сжигали людей. Это стало для него роковым. Среди жертв были и иностранцы. Американцы приговорили его к смерти, затем заменили ее пожизненным заключением. Позже Мюллер узнал, что среди жертв был в Эрнст Тельман. Мюллер тяжело переживал это.

Он был настолько заботлив, что жена решила отблагодарить его и принесла ему на рождество передачу. Посылочку полагалось предварительно предъявить контролю. Этим занимались заключенные из высокопоставленных. Они тут же распространили слух, что жена «красного полковника» симпатизирует «старому коммунисту» Йозефу Мюллеру. Одежда, которая, по их мнению, была слишком роскошной для женщины с Востока, превратилась теперь в «типичное расточительство красной деятельницы», в то время как «остальные ходят в лохмотьях».

Викарий Килиан, преемник Леттенмайера, сказал как-то моей жене, что от Евангелического общества вспомоществования ей, как и женам всех заключенных, полагается пособие на проезд. Жена отправилась к викарию за пособием. Перед его домом стоял тяжелый американский броневедомоцикл, в кабинете сидели американские офицеры. Викарию было неудобно сообщать, будто пособие отменено боннским правительством. Он предложил жене пособие из средств прихода, но она отказалась. Килиан ни разу не навестил меня. Зато у заключенных, не имевших с церковью ничего общего, но шпионивших для американцев, он бывал часто.

В скромной гостинице жена сняла маленькую неотапливаемую комнату. Здесь ее встретили сердечно, и она чувствовала себя куда удобнее, чем в холодно-комфортабельном «Петухе», где обычно останавливается вся знать.

Жена скоро поняла, что население Ландсберга не желает

иметь дело с американцами. Когда в гостинице появился американский шпик, жену тотчас предупредили. Шпик заявил ей, что готов для меня сделать все, если... Но так как для жены не существовало никакого «если», он тут же исчез. Оказалось, что жители Ландсберга знают о моей борьбе против американской военной политики и сочувствуют мне.

– Мы хорошо изучили этих гангстеров в вытуженных брюках, – говорили они.

Жену предупреждали, чтобы она не ходила одна, особенно за городом. Когда после моего возвращения домой жена рассказала мне об этом, я невольно вспомнил тех, кто голосует за ХДС, чтобы «спокойно жить». Для таких расчетливых «оптимистов» я собирал газетные вырезки об уголовных преступлениях американских оккупантов. Я находил их в провинциальных газетах – центральные «тактично» умалчивали об этом, но зато рьяно клеветали на Восток. К сожалению, эту ценную коллекцию вместе с одной небезынтересной американской брошюрой у меня изъяли при очередном обыске. Брошюра, изданная самими американцами в 1945 году, содержала обширный материал о зверствах военных преступников. Теперь американцы старательно уничтожали подобные документы: преступников надо было перекрасить в героев, чтобы они могли снова толкать немецкий народ на преступную военную авантюру.

Среди почты, которую жена привезла из Грейфсвальда, было письмо от Брейера, вернувшегося из Советского Союза после амнистии. Он благодарил меня за хлопоты о его жене и подписался: «Ваш преданный друг и союзник». Теперь я попросил его позаботиться о моей жене. Больше я не слышал о нем. Из члена Антифашистского актива в Красногорске он превратился в верноподданного «сто тридцать первого», – так отныне именовали покорных Бонну офицеров вермахта, купленных благами статьи 131.

На рождество жена подарила мне подписку на выходящий в Гамбурге журнал «Дер Шпигель». Ландсбергская библиотека не выписывала его. Но мою радость омрачала цензура: журнал приходил изрезанным, изорванным, с опозданием, да и то только после моих жалоб. Представители «свободного мира», американцы злились на меня за такую настойчивость. Но все эти мелкие огорчения не поколебали ни меня, ни жену. Расставаться нам было мучительно тяжело.

Весной 1955 года учебные пожарные тревоги следовали одна за другой. Видимо, год предстоял «горючий».

По сигналу «Пожар» распахивались двери камер и заключенные занимали места, положенные по тревоге. За действиями заключенных наблюдали все американские офицеры, в том числе и сам полковник – «начальник тюрьмы».

27 апреля 1955 года была объявлена очередная тревога. На этот раз открыли только камеры военных преступников, а наши камеры остались на замке. Мы не понимали, в чем дело. Наконец каждому вручили приказ, подписанный офицером американской службы безопасности: по договору с ФРГ нас передают германским властям. Американцы, очевидно, специально избрали этот момент, чтобы под шумок вручить неприятные извещения беззащитным заключенным.

Во втором приказе офицера американской службы безопасности все подробности нашего перевода, начиная от сдачи вещей и кончая умыванием, были разработаны с тщательностью, которой мог бы позавидовать немецкий генеральный штаб. Даже мыться нам полагалось под присмотром надзирателя-поляка, чтобы перед отъездом мы, боже избави, не встретились с другими заключенными. Еду нам стали выдавать через окошечко, чтобы заранее приучить к режиму других тюрем.

Угроза «быть проданными вниз по реке» осуществлялась. Из Ландсберга нас действительно отправили вниз по реке Лех до Штраубинга на Дунае. В Ландсберге остались только военные преступники.

Польскую роту сократили с двухсот пятидесяти до ста шестидесяти человек, но все равно осталась нелепая разница между числом охранников и преступников. Все, разумеется, за счет западногерманского населения.

Позже «Дейче зольдатен-цейтунг» в статье «Ландсберг в цифрах» писала, что к 31 января 1956 года в тюрьме для военных преступников, рассчитанной на тысячу человек, находилось тридцать четыре военных преступника. Для охраны этих тридцати четырех заключенных немцев держали сто шестьдесят поляков, двадцать шесть американцев и сорок три вольнонаемных из местного населения. На содержание этой тюрьмы немецкие налогоплательщики ежемесячно выкладывают из своего кармана сто тысяч марок.

Но ни одна из газет не сообщала, кого же из военных преступников во времена ремилитаризации все еще держат в Ландсберге. Это была «мелкая сошка», исполнявшая приказы начальников. А сами начальники уже были на свободе и получали высокие пенсии. И ни одна из газет не писала, почему военных

преступников продолжают держать в тюрьме.

Американцы давно и в открытую обсудили это со своими знатыми заключенными.

– Наша общественность была бы вне себя, если бы мы объявили, что тюрьма Ландсберг распущена. Пока мы не можем пойти на это.

Вот почему в тюрьме оставалось тридцать четыре мелких преступника, о которых в Федеративной республике никто и не вспоминал.

По данным «Дейче зольдатен-цейтунг» получалось, что каждый военный преступник обходится западногерманским налогоплательщикам в три тысячи марок в месяц. Сюда надо приплюсовать еще пенсии, компенсации, возмещение убытков, пособия родственникам. Затем бесконечные подарки от землячеств, церквей, солдатских союзов в боннских министерств и, наконец, жирные гуси, посылаемые к рождеству самим федеральным канцлером.

«Гоп-ля, мы живем за счет оккупационных расходов!» – написала одна иллюстрированная газета «свободного мира» о роскошной жизни оккупантов и была тут же конфискована.

На основании Германского договора всех лиц, осужденных по оккупационному статуту, Бонн обязан был содержать за счет своего бюджета. Американские приговоры по делам немцев и иностранцев автоматически превращались в немецкие приговоры, хотя ни один немецкий суд в глаза не видел этих дел.

Так и я 28 апреля 1955 года стал заключенным Федеративной Республики Германии.

* * *

Нас перевезли (вернее, передали) из Ландсберга в Штраубинг в автобусах, которые отличались от обычных рейсовых только тем, что на окнах были решетки. Нам оставили ту же, похожую на эсэсовскую, одежду со штампом Ландсбергской тюрьмы. Охраняли нас пограничники. Они быстро поняли, что мы вовсе не преступники. В пути мы мрачно шутили, удрученные неизвестностью. Мой чешский друг Михола уже побывал в Штраубинге в начале своего срока. Он много рассказывал об этой тюрьме, но мы и не предполагали, что когда-нибудь попадем туда вместе.

Мы слышали о голодном бунте в Штраубинге в 1949 году. Тюрьмой тогда управляли старые нацисты, которых во время бунта назначили на должности для «проверки», на основании

статьи 131. Кровавая расправа с участниками бунта «реабилитировала» их.

– Значит, все по-старому, как в Ландсберге: «Хайль Гитлер»? – ядовито произнес кто-то.

Все громко расхохотались, даже пограничники.

Рядом со мной в автобусе сидел доктор Эмиль Свертния, журналист из Праги. Этого чешского патриота нацисты шесть лет продержали в концлагере. Теперь американцы осудили его на срок «четырежды по двенадцать». Не удивительно, что он был подавлен и зол.

– Скоро они забудут, что такое смех! – желчно сказал Эмиль.

Когда мы проезжали по Мюнхену, все, кто помоложе, жадно разглядывали девушек. Да, мы давно были лишены женского общества. Затем нас повезли вдоль Изара – «вниз по реке»! Слишком быстро приближались мы к старинному, возникшему еще в XII веке городу на Дунае Штраубингу, Нижняя Бавария. Вскоре мы почувствовали, что тюрьма уже близко. Навстречу шли босяки – в Германии их называют «штраубингские». Увидев тюремный автобус, они мгновенно скрылись. Не успел шофер в городе открыть рот, как ему тотчас указали дорогу к тюрьме: решетки яснее слов говорили, куда следует автобус. Я разглядывал город. Скоро ворота тюрьмы закроются, в все будет кончено.

В тот же день нас повели к начальнику тюрьмы. В мрачной комнате за барьером сидел старший советник юстиции Вебер. Он равнодушно листал какие-то бумаги. Справа, в глубине, сидел его заместитель советник юстиции Вагнер, субъект злобный и, по-видимому, опасный. Здесь его прозвали «серое преосвященство».

– Что вам надо было в Мюнхене? – завел старую песню Вебер.

Но он никогда не спросил бы инвалида, потерявшего руку или ногу на фронте: «Что вам надо было в Советском Союзе?» Я обрадовался, когда смог, наконец, покинуть «святая святых», где вынужден был терпеть подобные расспросы, стоя под конвоем.

Нас, бывших ландсбергских, поселили во флигелях для новичков. Камеры в Штраубинге – тесные и грязные. Здесь, правда, была уборная, запущенная, с вечно открытыми крышками. Разница между Ландсбергом и Штраубингом во всех отношениях была огромна. Впрочем, это понятно. В Ландсберге преследовалась своя цель: недопустимой роскошью подкупить преступников. Американцы не убеждали – они подкупали. Делай вид, что ты убежден в правильности приговора и американской политики, и получишь свободу. Делай вид, что ты снова стал ортодоксом, участвуй в клевете на Восток, – и будешь любимцем американцев, проживешь, как бог. В отличие от Ландсберга

Штраубинг – настоящая каторжная тюрьма. Свирепый режим должен был предостеречь преступников от повторных преступлений. Здесь не воспитывали, а карали.

* * *

Мы сдали ландсбергскую одежду с клеймом тюрьмы для военных преступников и получили взамен здешнюю: синие спецовки для работы и коричневый суконный костюм на воскресенье. На брюках широкие желтые лампасы, на рукавах такие же поперечные полосы.

«Десять лет назад меня должны были произвести в генералы. Теперь, с некоторым запозданием, я получил лампасы», – иронически писал я жене. Рубашка в синюю полоску без воротника, черная шапка блином – издевка над человеком. В этой одежде заключенный переставал быть человеком и превращался в номер. Я, например, стал номером 4662. Одежду выдали чистой, в большинстве случаев даже новую. Переодевались на вещевом складе, которым ведал пожилой, выдавший виды надзиратель и его помощник из заключенных. Помощник, родом из Лейпцига, был разбитной парень. Отнеслись они к нам сносно, хотя возни было много: в Ландсберге у каждого скопилась масса вещей. Личные вещи регистрировали и аккуратно складывали. Когда я сдавал вещи, рядом со мной стоял польский студент Король. Он грустно разглядывал свое распятие, пытаясь закрепить на кресте отставшую ногу Христа. Толстый надзиратель регистрировал вещи в таких же толстых, как он сам, книгах. А его помощник, парень из Лейпцига, от нечего делать утешал Короля:

– Это все же лучше, чем рука. Иначе нельзя было бы повесить.

Толстый охранник оторвался от книг:

– Возьмите клей.

– Зачем? – сказал парень из Лейпцига, хитро улыбаясь. – Лучше попроси у священника другое распятие: сразу станешь его лучшим другом.

В карантине мы торчали около недели и не работали. Но покоя нам не давали. То врачебный осмотр, то снятие оттисков с пальцев, именуемое на тюремном жаргоне «игра на рояле». Ежедневно на сорок пять минут нас выводили во двор. Ландсбергские гуляли отдельно. Все стали крайне раздражительными. Особенно те, кто в Ландсберге записался в американские шпики. Эти считали, что их предали, и подговаривали остальных протестовать против нарушения конституции, писать жалобы, даже подбивали на голодную

забастовку. Возглавить это провокаторы предлагали мне, поскольку я, мол, «имею связи».

– У меня действительно крепкая связь, связь с моей родиной. А связи с влиятельными американцами у вас. Американцы вас осудили и загнали сюда. На вашем месте я бы к ним и обращался.

Честные люди из политических заключенных понимали, что требовать соблюдения законности бессмысленно. А я тем более не мог ни на что надеяться, да и не хотел путаться с американскими шпиками. У американцев все – бизнес. Только продажей чести можно было чего-нибудь добиться. Некоторые в Ландсберге пошли на это – совершили гнусное предательство. Но затем американцы, не задумываясь, бросили их: в Штраубинге они не нуждались в шпиках.

Нас опять заставили писать автобиографии. Некий Папе, известный всем как шпик, пытался спровоцировать нас на отказ от автобиографий. Во время прогулки он зачитал нам следующее: «Я, Ганс Папе, рождения и т. д. 29 апреля 1955 года по распоряжению боннской юстиции превратился в номер 4661 и перестал существовать как человек. Поскольку у номеров нет автобиографий, то я могу лишь составить некролог на вычеркнутого из жизни Ганса Папе. Если это не требуется, то номер 4661 сожалеет, что не может выполнить приказ тюремной администрации. Номер 4661, в прошлом Ганс Папе».

При тюрьме Штраубинг был институт криминалистики и психологии, в котором служил доктор Гальмейер, психолог. Говорят, что во времена Гитлера Гальмейер занимал ту же должность. К нему нас вызывали по очереди. Внешне он был похож скорее на художника или писателя, чем на тюремного чиновника. Вопросы он ставил четко, без подковырок. Прежде всего он хотел выяснить, кому какая работа подходит. Я попросил, учитывая состояние своего здоровья, направить меня на работу в сад. Он поддержал меня, и позже я действительно работал в саду. Но до этого нас еще обследовал врач терапевт. Как и в Ландсберге, лазарет находился несколько в стороне от основного тюремного корпуса. В Ландсберге оба здания были связаны коридором, а здесь – подземным ходом длиной в триста метров. В дождливую погоду сквозь потолок и стены туда просачивалась вода, под ногами хлюпали лужи. Больные ждали вызова в конце хода. Отсюда их вели в приемную на первом этаже. Движение регулировал охранник по фамилии Ауэр. К исполнению своих обязанностей он относился так же серьезно, как и к себе. Он требовал, чтобы каждый перед кабинетом врача снимал ботинки. В противоположность тюрьме, в госпитале была идеальная чистота, не хуже, чем в Ландсберге. Врач,

медицинский советник средних лет, установил, что у меня больные легкие и сердце, и прописал лекарство, которое принесло мне облегчение. Насколько я знаю, больные в случае необходимости получали медицинскую помощь. Мне показалось, что к нам, «политическим», относятся лучше, чем к уголовникам, хотя вообще порядки в тюрьме были суровые.

Пищу тут называли «помоями». В день на заключенного отпускалось восемьдесят три пфеннига. Конечно, на такую сумму не разъешься. В Ландсберге на каждого заключенного полагалось две с половиной марки, кроме бесчисленных подарков и дополнительного питания из подсобного хозяйства. К еде я нетребователен, и даже штраубингские «помои» казались мне сносными. Но люди более привередливые быстро сдавали. Настроение уже во время карантина было подавленным, а ничегонеделание усиливало его. После Ландсберга трудно было привыкнуть к новому режиму. «Духовная пища» состояла из трех книг, которыми была снабжена каждая камера: библия, псалтырь и еще какая-нибудь духовная книжонка. В моей камере третьей книгой был дневник некоего католического священника под заглавием «Смятение души».

Однажды нас согнали в большой зал и заставили стоя выслушать грубую речь советника юстиции Вагнера. С его стороны это было психологической ошибкой: многие из ландсбергских заключенных никак не могли привыкнуть к новым порядкам, и командный тон Вагнера был совсем не вовремя.

Избалованный американцами шпик по фамилии Мюллер перешел в контрнаступление:

– А вы, собственно, кто такой? Какой-то неизвестный гражданский позволяет себе командовать. Вы бы лучше сперва представились, как это полагается в приличном обществе.

Такого Вагнер еще не видывал. У него перехватило дух. Он раздраженно приказал:

– Взять этого на заметку!

Папе и Мюллер угодили в «бумажный цех» – так называли изолятор, где изо дня в день по восемь часов подряд заключенные в одиночестве клеили бумажные пакеты, выполняя установленную норму. И это – на годы; для пожизненно заключенных «бумажный цех» в Штраубинге обычно считался первым этапом каторги.

Остальных ландсбергских распределили по рабочим местам и тем самым изолировали друг от друга во всех отношениях. В отличие от Ландсберга рабочее место здесь находилось в камере, а камера всегда была на замке. На работу в сад назначали только осужденных на малые сроки и тех, в ком были уверены, что он не

убежит, хотя побег и тут был делом сложным. Бежать же с других работ было вообще немыслимо.

Тюрьма состояла из трех корпусов. Третий корпус считался здесь лечебным. Заключенные побаивались его, называя «желтым домом». Туда попадали либо осужденные по статье 51{53}, либо преступники-симулянты, надеявшиеся получить преимущества или даже освобождение. Нормальные люди долго там не выдерживали. Попав в третий корпус, узник не только оставался за решеткой, но и зачислялся в разряд «не отвечающих за свои действия». А это значит, что он терял даже те минимальные человеческие права, которые сохранял каторжник. Осужденный по статье 51 считался невменяемым, бесправным существом. В третьем корпусе его словно заживо погребали.

Как известно из сообщений прессы и жалоб пострадавших, этой статьей западногерманская юстиция пользуется двояко: от инакомыслящих, политически неугодных с ее помощью избавляются, а «своих» из числа власть имущих спасают от законного наказания. Однажды газеты сообщили, что какой-то епископ, потерпев на своей машине аварию, задавил человека. На основании статьи 51 его оправдали: он лишился только шоферских прав, а церковный пост остался за ним.

– Хотел бы я быть епископом или сумасшедшим! – богохульствовали с тех пор уголовники.

В Ландсберге «шопы» были созданы с единственной целью чем-то занять заключенного. Здесь же приходилось работать по-настоящему. У нас, «садовников», было известное преимущество – мы хоть видели поверх тюремной стены зеленые отроги Баварского Леса. С болезненной тоской любовался я этим пейзажем.

Как и в других тюрьмах, в Штраубинге тюремные священники навещали вновь прибывающую паству. Лютеранского пастора Меркта, спокойного, уравновешенного человека лет шестидесяти, все любили. Хорошо, что здесь священники не распоряжались никакими финансами и не могли, как в Ландсберге, стать кормильцами пенкоснимателей. В Ландсберге преступное злоупотребление деньгами порождало ханжество. Некоторые из заключенных в тюрьме для военных преступников преподавали в учебных «шопках», куда, естественно, все стремились попасть. Один из таких преподавателей – специалист по торговому праву, этакий показной богомолец, при освобождении из тюрьмы прихватил с собой купленные лютеранской церковью учебники и письменные принадлежности тысячи на три марок. Леттенмайер оправдывал этот воровской поступок тем, что преподаватель унес, мол, то, что ему необходимо для работы. Если так рассуждать,

каждый мог бы прихватить с собой инструменты, которыми он работал. Нравы там были крайне развращенными. Фон Позерн, ниже которого, по мнению его же коллег из числа военных преступников, пасть было невозможно, через католического священника заказал однажды книгу с китайским названием, стоимостью двадцать марок. Вскоре он получил ее, но в канцелярии епископа, где проверялись заказы, кто-то из сведущих священников знал эту книгу: непонятное другим китайское название скрывало порнографическую дрянь «Евнухи императрицы». По этому поводу в тюрьме много смеялись, а «Евнухов» конфисковали.

В Штраубинге церковные пасторы не имели такой власти и не могли участвовать в подобных делах. Пастор Меркт в 1942 году во время боев на излучине Дона потерял ногу. Я участвовал в том же бою. Мы быстро нашли общий язык и хорошо понимали друг друга. Меркт извлек кое-какие уроки из прошлого. За активную деятельность в организации «Приверженцы церкви» его едва не арестовало гестапо, но он, как это бывало в «Третьем рейхе», бежал на фронт. Нас, «политических», пастор одобрял и похвально отзывался о деятельности борцов за мир. Его богослужения отличались серьезностью и торжественностью и никогда не содержали политических намеков или выпадов против Востока.

Иным был католический священник, который выступал перед своей споткнувшейся паствой, как моралист, грозя перстом. При этом он не стеснялся в выражениях. Наш старший садовник поведал нам, кое-что об одном визите его преподобия:

– Внезапно открывается дверь: «С нами бог, мой дорогой Ганс. Пастырь божий навещает и заблудших овец». Не успел я слова вымолвить, а он начал: «У тебя, – говорит, – такая хорошая профессия, а ты оказался здесь. Черт побери, тебе должно быть стыдно!» Я пытаюсь объяснить ему, как подло поймали меня американцы, но он и слушать не хочет. «Да ты, – говорит, – гроша ломаного не стоишь, Ганс. Ты бродил по всей округе, как бездомный пес, и нажил себе триппер»...

Все расхохотались, и надзиратель напомнил, что разговаривать запрещено. Говорить перестали, но продолжали смеяться. Смеяться не запрещали.

Надзиратель накинулся на нарушителя дисциплины заключенного Свободу.

– Что вы тут сказали?

Старший садовник – единственный, кто не смеялся, подумал, что надзиратель все слышал и интересуется его ответом священнику. Он завершил рассказ:

– Ваше преподобие, говоря, это случилось двадцать лет назад!

Мы не выдержали, и даже надзиратель смеялся вместе с нами.

Ненавидистные нам надзиратели не только следили за порядком и дисциплиной, но и подгоняли заключенных во время работы. Для вскапывания земли выстраивались колоннами. Головные задавали темп, отставать запрещалось.

– Я молод, у меня много сил, и я привык к тяжелой работе, – сказал однажды Михола, – но о таком каторжном труде я еще не слышал.

Учитывая мой возраст и инвалидность, мне дали более легкую работу – полоть и окучивать. Но и этим я не мог заниматься восемь часов при любой погоде.

Начальник тюремных мастерских был одновременно и главным садовником. Этот пожилой спокойный чиновник по фамилии Эйхнер умел поддерживать порядок. Ему подчинялось несколько надзирателей, наблюдавших за работой заключенных в саду. Я почти всегда работал один, никто за мной не стоял и не подгонял. Надзиратели охотно говорили со мной. Их возмущало, что «политические», приговоренные американцами, отбывают наказание в немецкой тюрьме наравне с уголовниками. Эти бывшие солдаты никак не могли понять, за что меня посадили. Они тоже были против ремилитаризации и против войны, но вынуждены были служить ради куска хлеба.

«Один в поле не воин!» – такие оправдания я слышал постоянно. Эти низшие чины потеряли бы работу при первой же попытке высказать собственное мнение и отказаться идти за боннскими заправилами.

Чиновники юстиции разговаривали со всеми сурово. Правда, изо дня в день им приходилось иметь дело отнюдь не с ангелами. Из тысячи заключенных тридцать процентов были убийцами, более половины – приговоренными к пожизненному заключению. В таких условиях трудно обращаться с «политическими» лучше, чем с уголовниками.

Многие уголовники были жертвами капиталистической системы с ее социальным неравенством и противоречиями. Иные на войне потеряли всякое уважение к чужой собственности и человеческой жизни. Я припоминаю рассказ одного рабочего.

– Мне пришлось бросить работу, оставить жену и ребенка, чтобы для господ наверху завоевывать чужие страны, нападать на народы, убивать людей, таких же бедняков, как я, бедняков, которые не сделали мне ничего плохого. За это я получил «Железный крест» и даже стал унтер-офицером. Теперь я «ПЖ». За

что? За то, что собственные интересы я попытался защищать так же, как во время войны интересы этих бандитов.

Другой заключенный рассказал следующее. Он сам себе отстроил на чердаке квартиру. У владельца дома на нижнем этаже был большой магазин с хорошей клиентурой.

– Когда мы собственными руками уютно перестроили его чердак, он решил повысить квартирную плату.

Это был образованный и верующий человек. Я думал, с ним можно договориться. Но он стал ссылаться на законы и параграфы, о которых я и понятия не имел. После войны и плена нервы у меня не в порядке. Когда он в воскресное утро прямо из церкви явился ко мне с псалтырем в руках и снова потребовал, чтобы я больше платил за квартиру, я сбросил его с лестницы. Он неудачно упал и тут же умер. Разве я виноват? – Заключенный печально разглядывал свои огромные кулаки.

Несмотря на тяжелую жизнь, в этой тюрьме я все же отдыхал после Ландсберга; здесь меня не преследовали своей злобой ни надзиратели, ни заключенные. С остальными ландсбергцами я встречался теперь только по воскресеньям в церкви или в подземном ходе, ожидая приема у врача.

В церкви надзиратели стояли справа и слева от алтаря и на хорах возле органа. Это не мешало заключенным во время богослужения производить обменные операции и переписываться. Католический священник, услышав подозрительный шум, прерывал литургию и начинал грубо браниться. В одну секунду он менял и тон и тему. Только что он торжественно прославлял любовь к ближнему и милость божию и вдруг начинал грохотать:

– Бродяги, подонки! Вам никогда не видать вашей трети! Уж об этом-то я позабочусь. Это так же верно, как то, что сейчас я стою перед вами!..

Под «третью» он подразумевал треть наказания – примерно то же, что американский «пароль»: при «хорошем поведении» заключенный по отбытии двух третей срока мог просить об амнистии. Специальная комиссия определяла, можно ли освободить его от отбытия последней трети срока. Считалось, что регулярное посещение церкви – первый козырь перед этой комиссией. Но в церковь шли не только из спекулятивных соображений. В тюрьме был хороший хор, и он привлекал многих. Кроме того, посещение церкви сглаживало воскресное одиночество в тесной и мрачной камере-одиночке. Я видел, что многие из убийц искренне молились.

Преодолев первый шок от пребывания в Штраубинге, я снова начал вести записи, чтобы и в этих условиях сохранить душевную бодрость. Высоко над потолком камеры горела

двадцатипятисвечовая лампочка. Освещение слишком слабое, чтобы читать и писать. Я подал прошение, и в камеру поставили новую, современную настольную лампу, выглядевшую роскошно в мрачной, голой конуре. Обмен книг, как и все в тюрьме, был точно регламентирован. Мне никогда не давали каталога, но по моим просьбам часто приносили хорошие книги.

Труднее было с перепиской. Лишь по субботам разрешалось написать маленькое письмецо кому-нибудь из поименованных в списке родственников. Я писал только жене. Все ее письма до меня доходили. Письма от прочих адресатов вскоре перестали выдавать. Если приходило письмо, мне сообщали:

– Господин Вальтер Берс из Кведлинбурга прислал вам письмо. Он не состоит с вами в родстве, поэтому письмо будет подшито к делу, – чиновник держал в руках вскрытое письмо.

Нам не давали читать даже почтовые открытки. Между прочим, письма Берса я и позже не получил: в нем говорилось о единстве и мире, а в таких случаях всякая свобода на Западе прекращается.

По субботам после обеда мы работали до трех часов (в другие дни недели – до пяти). После этого разрешалось купаться, играть в футбол и в ручной мяч в одном из угрюмых внутренних дворов. Двор был посыпан шлаком, и к концу игры все игроки становились похожими на негров. Не лучше выглядели и зрители. В субботу же через дверной люк каждому наливали в таз горячей воды. Раз в неделю – один таз! Надо было точно рассчитать, как ее использовать: сперва вымыть посуду, затем голову, а потом ноги. Не в обратной же последовательности? Но ведь и другие части тела действительно требуют мытья. Как-то я растрянжил весь таз с водой, не сумев толком помыться. В следующую субботу я действовал уже по заранее продуманному расписанию. От этого воды, правда, не прибавилось и она не стала чище. Два раза в месяц мы принимали в подвале душ. Там были и ванны для инвалидов. Мне почти всегда предоставляли ванну, хотя я никого не просил. Это доставляло мне удовлетворение не только физическое, но и моральное, поскольку я видел проявление симпатии к политическому заключенному из ГДР.

В хорошую погоду мы купались на воздухе, в бассейне одного из внутренних дворов. Спортивные игры и плавание, несмотря на всю убогость обстановки, для заключенных были наслаждением, несколько нарушавшим однообразие тюремной жизни.

В субботу вечером от двери к двери ходили уборщики и кричали:

– Воскресное письмо?

Они составляли список на бумагу и конверты. Затем

раздавался новый крик:

– Богослужение?

Кто отвечал положительно, тому мелом ставили на двери крест, чтобы надзиратели в воскресенье знали, кого следует выпустить из камер.

– Лютеранин или католик? – раздавался клич, каждый раз заново.

Слева, справа, сверху, снизу во все камеры доносилась эта переключка. Ответы были большей частью односложные – «да» или «нет». Но иногда опрос вызывал у кого-нибудь из заключенных приступ ярости.

– Воскресное письмо?! Черт бы вас всех побрал! Идиот! Сам знаешь, что мою семью разбомбили! У меня нет никого на свете! Каждую субботу ты меня донимаешь! – заключенный ударял ногой по двери камеры. – Если бы я мог добраться до тебя, я бы навеки законопатил твою жирную глотку!

– Потому тебя и засадили намертво.

– Ах ты, подлец! Сам получил «ПЖ», а устроился тут на теплое местечко! – Снова такой удар в дверь, что грохот разносился по всему зданию. В промежутке – выкрики из других камер: одни требовали тишины, другие проклинали уборщика.

Снова вопрос, у следующей двери:

– Лютеранин или католик?

– И то и другое, – услышал я ответ.

– Такого не бывает!

– Почему нет? Я был ни то ни другое. А теперь решил изведать и то и другое.

Сбитый с толку уборщик позвал на помощь надзирателя.

– Я подам на вас рапорт за грубое нарушение дисциплины! – пригрозил надзиратель.

Но заключенный не сдавался: он всерьез требовал, чтобы священники помогли ему разобраться в этом вопросе. Надзиратель обещал передать его просьбу священникам, но сейчас настаивал, чтобы заключенный ответил, на чье же богослужение он намерен пойти. Торговля шла долго. Терпение надзирателя иссякло. В конце концов этого заключенного так никуда и не пустили. Надзиратель злорадствовал:

– Ты хотел быть умнее всех, разгуливать все воскресенье!

В католических богослужениях участвовал знаменитый певец, приговоренный к пожизненному заключению. Это привлекало многих.

– У него глотка – чистое золото. А глотку своей любовницы он взял да перерезал. Теперь он вовсю старается заработать «треть», – зло шутили заключенные.

Приговоренные к пожизненному заключению получали право просить об амнистии, лишь отсидев пятнадцать лет. Чтобы иметь хоть малейшую надежду, они должны были использовать все. Из дня в день пятнадцать лет держать себя в руках не так-то легко. Многие не выдерживали и погибали значительно раньше.

В немецких тюрьмах редко встречались военные преступники, приговоренные немецкими судами. При мне в Штраубинге уже не было ни одного из них. Мне рассказали о нацистском поэте Цеберлейне и о «самом последнем военном преступнике» – майоре Залинко. Оба как коменданты городов перед самым крахом расстреливали соотечественников, вынуждая продолжать бессмысленное сопротивление. По рассказам, оба военных преступника остались такими же заносчивыми. Они вовсе не раскаялись, как и их старшие коллеги в Ландсберге. Это, конечно, не случайно: те же злодеяния – те же характеры и типы. Любую попытку продумать и осознать свою вину в Западной Германии официально пресекали.

* * *

Как-то меня снова послали на работу в сад, на этот раз плести гирлянды – занятие легкое и приятное. Однажды мы украшали свадебный поезд, потом сельскую ярмарку, а сегодня предстояло украсить главный вокзал Штраубинга. На длинных телегах из лесу привезли много еловых ветвей. Цветы мы собрали в своем саду. Естественно, всех интересовало, для кого украшается вокзал.

– Земляка встречаем! – коротко объяснил надзиратель.

Вскоре мы узнали: ожидают прибытия освобожденного из тюрьмы военного преступника доктора Рата.

Сразу пропала охота плести гирлянды. Я, борец за мир, сижу в тюрьме, в которой военный преступник доктор Рат, работая врачом, совершал преступления против человечности, и плету для него венки славы!.. Старые надзиратели и заключенные немало порассказали мне про этого Рата.

Я попросил вернуть меня на прежнюю работу, предпочитая ворошить навозную кучу.

Позже мне вспомнился этот случай. Выступая в Берлине перед Национальным советом Национального фронта и рассказывая о своей жизни в Западной Германии, особенно о встречах с военными преступниками, я упомянул о происшествии с гирляндами как наглядном решении проблемы – военные преступники и борцы за мир. Узнав о моем выступлении из газет,

директор Штраубингской тюрьмы доктор Вебер послал доктору Каулю{54} опровержение. Он отрицал, что мы плели гирлянды. Сделав несколько выпадов в мой адрес, он пожаловался на мою неблагодарность, что, впрочем, как он подчеркнул, «не удивительно у таких людей». Вызванный доктором Каулем, я под присягой подтвердил свои показания и назвал множество свидетелей. От моего имени доктор Кауль подал на Вебера жалобу за оскорбление и согласился защищать меня, чтобы доказать правдивость моих показаний. Неужели этот Вебер не понимал, как позорно держать немцев в тюрьме на основании американских приговоров, без решения немецкого суда? И он еще претендовал на благодарность!

Как и следовало ожидать, наша жалоба была погребена в делах западногерманской юстиции. Ворон ворону глаз не выклюет.

В Ландсберге заключенным не платили за работу. В счет оплаты за работу на оккупантов летом нам давали мороженое, а зимой кофе в зернах. Как известно, военные преступники получали за свои «заслуги» большие пособия и выходили из американской тюрьмы богатыми людьми. «Политические» же оказывались без всяких средств. Разумеется, это делалось не без цели: считали, что так легче держать «политических» в руках.

В Штраубинге за работу полагалось вознаграждение: от десяти до пятидесяти пфеннигов в день, в зависимости от разряда. Разрядов насчитывалось пять. Обычно заключенный начинал с низшего разряда и с годами, если очень старался, постепенно добирался до высшего, с которого, правда, легко было сползти. Из этих грошей складывалась определенная сумма, которую выдавали в день выхода из тюрьмы. Когда она достигала установленного размера, часть дальнейшего заработка отчислялась на так называемые «домашние» ежемесячные расходы. Деньги, принесенные с собой или присланные, тоже «замораживали» до выхода из тюрьмы. В месяц разрешали тратить от четырех до восьми марок. Почему, не знаю. Эти фокусы напоминают мне арифметические манипуляции на западногерманских выборах. Первым долгом каждый заключенный, курящий или некурящий, заказывал табак, сколько было дозволено, – две пачки по пятьдесят граммов в месяц. Большинство покупало дешевый табак грубой порезки, чтобы оставить еще деньги на свиное сало, маргарин, сахар, патоку и т. п. Табак выдавали в два приема. Это был желанный и дефицитный товар, мерило всех ценностей. Несмотря на запрет и трудности, связанные с изоляцией в одиночках, в тюрьме процветал товарообмен с неизбежными обманами и подлогами.

Но не дай бог нарушить установленные уголовниками понятия о чести: избыют так, что угодишь в госпиталь. Избивающие знали, что за драку их отправят на несколько недель в карцер, на хлеб и воду, и выйдут они из карцера бледные и страшные, как привидения.

Вот с такими людьми мы, «политические», по приказу сверху должны были жить и работать.

Многие из ландсбергских пытались хотя бы «раскачивать цепи», которые мы не в состоянии были разорвать. Я считал, что бессмысленно и даже неверно затевать войну с надзирателями. Их ведь тоже возмущало, что нас, как во времена «Третьего рейха», смешали с уголовниками.

– Но что-то надо предпринимать! Иначе здесь сойдешь с ума и в конце концов подохнешь! – ныли предатели, в Ландсберге покорно служившие американцам.

Они донимали меня при встречах в церкви, на прогулках, в подземном ходе в ожидании приема у врача.

Я считал и говорил своим друзьям из «политических», что жизнь в Штраубинге делает нас сильнее. Мы увидели подлинное лицо «свободного мира». Мы знали, что страдаем за становление нового, лучшего мира. Американским же любимчикам я сказал:

– Меня не подкупила, роскошь Ландсберга, не испугают и здешние «помои».

Потеряв почву под ногами, они чувствовали себя проданными и преданными.

Да, недурной спектакль разыграли американцы со своими шпионами вроде Андреаса, Папе, Тиль-Малека. Покупали, платили, возвышали, награждали, а потом за негодностью вышвырнули вон!

Случалось и не такое. Одному человеку из Лейпцига, попавшему в Ландсберг, американцы показали план казармы, в которой он когда-то служил. Он сразу заметил некоторые неточности в этом плане. Доказывая, что он служил именно в этой казарме, а не в казарме пресловутого 999-го полка{55}, он внес в этот план исправления с собственноручными пояснениями. После этого его с наигранной вежливостью поблагодарили и заявили, что теперь он шпион – предатель ГДР и не может вернуться на родину. Ошарашенному человеку злорадно показали только что составленный им документ. Со мной такие трюки не удавались. За последние десять лет я пережил многое: советский плен, где надо было решить, на чьей я стороне, участие в создании районной организации НДПГ в Грейфсвальде, поучительное пребывание в академии имени Вальтера Ульбрихта и, наконец, американский «университет» в Ландсберге. Опыт

немалый! Он дал мне силы все выдержать и сохранить бодрость даже в тюрьме среди уголовников.

Интриги Си Ай Си остались позади, но тюремная камера не ограждала от нападков фашистов. Все иллюстрированные издания, включая «Дер Шпигель», были запрещены, зато нас бесплатно снабжали христианскими журналами и информационным бюллетенем бывших войск СС «Клич викингов».

* * *

На родине меня не забыли! Какую радость доставила мне телеграмма: «8 мая 1955 года, в день десятой годовщины спасения университетского города от бессмысленного разрушения, городской совет и население Грейфсвальда решили отметить мужественные и решительные действия бывшего коменданта города господина Петерсхагена. Мы просим господина Петерсхагена принять наши наилучшие пожелания, глубокую благодарность и уважение. Мы выражаем надежду и искреннее желание вскоре приветствовать господина Петерсхагена в нашем городе. Городской совет Грейфсвальда».

Эту телеграмму с сердечным поздравлением 10 мая 1955 года переправил мне в тюрьму мой мюнхенский адвокат доктор Свобода. Первый официальный документ, дошедший до меня, политического заключенного! Отправители догадались послать ее через адвоката, почту которого мне всегда передавали. Совет Грейфсвальда даже не представлял, какое значение будет иметь его послание. Каждый из «политических» хотел сам прочесть телеграмму. Значит, родина не забыла нас, хотя мы несколько лет ничего оттуда не получали. Многим этот клочок бумаги принес утешение и счастье, а предателям дал повод для раздумий и запоздалого сожаления.

Я ломал себе голову: как ответить на телеграмму из Грейфсвальда? Из Ландсберга я привез открытку с библейскими словами: «И прежде, нежели они воззовут, я отвечу; они еще будут говорить, и я уже услышу». Михола посоветовал мне послать ее, добавив: «Да будет мир!», но я настоял на своем: «Вперед, за единство и мир!»

Как и в плену, в тюрьме всех волновала раздача еды. Сидя в камере, заключенные не могли контролировать раздачу, и подозрительность доходила до крайности. Одному суп казался слишком густым, другому слишком жидким. Раздатчики передавали порции через дверной люк, под контролем надзирателя. Перед этим на весь коридор объявлялось, какую

посуду приготовить, Посуда хранилась в камере. Ножи и вилки выдавали вместе с едой. В Ландсберге, где было что резать, ножей в столовой не выдавали. Все полагалось есть ложками. Иметь нож считалось преступлением. Даже маленькие ножи для чистки картошки выдавались под строгим контролем. Американцы боялись вооруженного восстания, забывая о характере немцев. Мы же не американские гангстеры! Зато бритвенные приборы разрешалось хранить. По немецким законам, именно бритвенные приборы полагалось отбирать, чтобы предотвратить попытки самоубийств.

Сложно было мыть посуду. Нам давали только холодную воду, да и то очень мало. Некоторые добывали воду в уборной, где она струилась под крышкой.

После очередной кормежки вкруговую разносили знаменитую добавку из остатков. Я всегда отказывался, но каждый раз снова стучали в дверь и предлагали: «Добавка». По воскресеньям чаще всего давали макароны с намеками на соус от гуляша.

– Добавка, – раздался возглас из коридора.

– Давайте, – решил я наконец.

Открылся люк, и мне в миску собрались положить какое-то месиво вместо желанного соуса. Стало так противно, что я отказался, не желая выбрасывать эту гадость в уборную. Возмущенный надзиратель захлопнул люк и выругался:

– Нахал какой! Он думает, что в тюрьме ему будут набивать брюхо коровьим выменем!

– Он не такой уж дурак, – донесся до меня веселый возглас уборщика.

Наш уборщик был старательный, исполнительный человек. Это важно – должность давала ему власть над товарищами по несчастью. В смутное время после краха «Третьего рейха» он совершил убийство и получил «ПЖ». Прошло уже десять лет. Заглядывая через глазок в мою камеру, он видел, что я пишу. «Раз пишет, наверное, кое-что знает», – подумал он и попросил составить ему прошение об амнистии. Но ведь подать его он сможет только через пять лет?.. Он ответил, что «умный человек предусмотрителен».

Вероятно, он остался доволен текстом прошения, тем более что, к его великому удивлению, я с него ничего не взял. В благодарность он поздравил меня с днем рождения. Но вслед за этой первой бумагой хлынул поток других: я приобрел обширную клиентуру, особенно среди водоносов, которые были в подчинении у уборщика. За это они обещали мне приносить больше воды. Так я узнал множество историй, в том числе и трагических.

Заклученных волновала немаловажная проблема: как провести свободное время? Раз в полгода разрешалось вдвоем – троим часа на два собираться в одной камере. Партнеров можно было выбирать только со своего этажа. С кем же и как провести эти драгоценные часы? Мы, из Ландсберга, еще слишком мало сидели в одиночке, чтобы прочувствовать, почему это так волновало заключенных Штраубинга. Передо мной эта проблема возникла на троицу и разрешилась быстро и приятно: меня пригласил к себе Михола, третьим мы избрали Короля. Третий нужен, как свидетель, на всякий случай – в этом смысл его обязательного присутствия. В узкой камере собрались чех, поляк и немец. У меня еще сохранился пирог, купленный к дню рождения, и папиросы. На дворе стояла чудесная весенняя погода. Через тюремные стены до нас долетали звуки жизни воскресного города. Никого из нас раньше не судили. По приказу американцев мы сидели в тюрьме боннского государства, но оно не было нашим государством. Мы не боролись ни против далекого американского, ни против немецкого государства. Мы боролись только за сохранение мира. Это связывало нас и привело в одну тюрьму, где мы стали друзьями. Оказалось, что в Ландсберге немецкие генералы и даже один фельдмаршал неоднократно уговаривали моих коллег-иностранцев бойкотировать меня.

– Это выглядело недостойно и с национальной и с офицерской точки зрения, – вспоминал Михола. – Они не могли вступать с вами в дискуссию – аргументов не хватало – и надеялись победить вас бойкотом.

– Точно так же в большой политике: лишь бы не контакт с Востоком и ни в коем случае «Немцы, за один стол!» – согласился я с Михолой.

Знаток библии, юрист Король сказал:

– Жизнь в Ландсберге всегда казалась мне пляской вокруг золотого тельца. Божество одно: the American way of life! {56}

– Как и во всей Западной Германии, – вставил я, – Ландсберг только ее зеркальное отражение.

Оба моих друга говорили на чистом немецком языке, изучив его за годы пребывания в тюрьме. Со своими соотечественниками они, конечно, разговаривали на родном языке, и это ввело в заблуждение военных преступников. Не предполагая, что чех и поляк хорошо знают немецкий, генералы болтали в их присутствии, не стесняясь, словно с глазу на глаз, за закрытой дверью. Многое из того, что я узнавал косвенно, мои друзья слышали от самих генералов.

– Никогда не забуду разговора двух генералов в

умывальной, – вспоминал Михола. – Я спокойно брился в углу. Я чех и для них словно не существовал. Без малейшего стеснения они спорили о церкви – ходить туда или не ходить. Один кричал: «Я в Третьем рейхе отошел от церкви – и баста!» Другой возражал: «Бог ты мой, на все надо смотреть с более высоких позиций. Важно снова крепко взять в руки народ! – при этом он так сильно сжал в волосатом кулаке губку, будто уже держал в руках весь народ. – Кто бы мог подумать в Нюрнберге, в 1945 году, что нам когда-либо выплатят хоть пфенниг пенсии? Я уж не говорю о том, что нам удалось спасти свои головы. А теперь? Бонн даже слишком старается. Статья 131 принесла нам умопомрачительное благополучие. После краха в 1945 году путь к деньгам, власти и оружию ведет только через церковь. Значит, надо туда изредка ходить, дорогой мой!» «Мне и так выложат на бочку все, что полагается, без этих ханжей! – продолжал кричать второй генерал. – Может быть, в день своего рождения я и схожу в церковь. Мой день рождения совпадает с днем рождения Леттенмайера».

– О, да это был Рейнеке! – прервал я воспоминания Михолы и рассказал, как в день рождения этого Рейнеке-лиса пастор отправился к нему в камеру и заставил всех прихожан прождать целых двадцать минут.

– Современная Каносса навыворот. Над этим следует призадуматься.

Король заговорил о нашем правовом положении, что ему, как юристу, доставляло большое удовольствие.

– Разбирать наше дело с юридической точки зрения бессмысленно. У меня это вызывает приступ морской болезни.

Но не успел Король доказать, что мой случай – нарушение боннской конституции, как страж этой конституции, надзиратель, открыл дверь камеры. Наш праздник кончился.

На второй день троицы состоялся концерт. Снова в необычное время открылись камеры. Изголодавшиеся по развлечениям заключенные выскочили со своими стульями, чтобы захватить места в проходе. Коридоры были перекрыты железными решетками, которые ограничивали свободу общения внутри здания и этажей. Оркестр расположился далеко от нас, в круглой башне. Музыки мы почти не слышали: большинство использовало этот час для болтовни и обменных операций. Накопившаяся в одиночках жажда общения с людьми прорвала все преграды. До нас доносились только отдельные звуки и слова: «Любовь – небесная сила...»

– Уйти бы в камеру, но даже это не разрешается. Наверно, охранники заперли их! – ворчал один из пожизненно

заклоченных.

– Для нас нет небесной силы, – грустно пошутил его приятель.

Стали кричать: «Тише!» Несколько минут слышна была музыка. Но вскоре опять зашумели. Пришлось и нам присоединиться к разговорам.

– Раз в год концерт – и то ничего не слышно. А кино не показали ни разу! – негодовал Король.

Но Михола возразил:

– Много лет назад, когда я только познал сию юдоль, показывали фильм «Лурд». Никогда его не забуду.

Его душил смех, хотя фильм был серьезным. Я знал, что Лурд – местность во Франции, которая славится «чудотворными источниками» и куда совершают паломничество.

– В этом фильме католическая церковь решила показать все чудеса освященных источников. Хромые, прикоснувшись к святой воде, начинали ходить, глухие – слышать, слепые – видеть. В присутствии католического священника и начальства, от которого зависела «треть», заключенные вынуждены были терпеливо смотреть на эти экранизированные чудеса. После фильма несколько слов сказал священник. Вдруг один из перемещенных, плохо говоривший по-немецки, спросил: «Как бы узнать адрес папы римского?» Удивленный священник ответил с достоинством: «Вы же знаете, что святой отец живет в Риме». «Благодарю. А можно мне написать папе письмо сверх моей нормы?»

– Вон он этот хитрец, – показал Михола на заключенного с большими светлыми глазами, в которых бегали озорные искорки.

Ему разрешили написать письмо вне очереди. Ситуация возникла острая. Заключенные посмеивались. Священник, ничего умнее не придумав, спросил: «О чем ты хочешь написать святому отцу?» Тот ответил: «Я читал, что папа очень болен. Хочу ему посоветовать отправиться в Лурд. Он сразу же выздоровеет». «Это ни к чему, дорогой мой. Святого отца пользуют лучшие врачи мира», – ответил старательный священник. Заключенному нечего было терять – ему недавно отказали в «трети», – и он вызывающе ответил: «Ах, вот как! Хорошие врачи для папы, а вода для глупцов!»

Но вот концерт кончился, и снова заключенных загоняли в камеры. Праздник троицы прошел. Разве кто-нибудь вспоминал, думал о его смысле?

Приближалась пятая зима моего заключения. Ее предвестниками были густые осенние туманы.

Зимой в саду только тяжелая работа: переноска земли, уборка снега в сильные снегопады, сортировка лука, картофеля и других семян на огромных нетопленых чердаках. Мне это было уже не по силам. Но я должен выдержать! Пришлось подумать о смене рабочего места. До сих пор я еще не обращался с такой просьбой. Само слово «прошение» отталкивало меня. Сначала нужно часами ждать, затем, когда тебя на мгновение допустят к начальнику, произносишь: «Покорнейше прошу!» Однажды я подавал письменное прошение, когда при обыске у меня изъяли еще не прочитанный номер «Франкфуртер альгемейне цейтунг». Меня вызвали к башне и заявили, что по установленному порядку газеты не являются собственностью заключенного и т. д. Мне так и не вернули мою газету. После этого у меня окончательно пропала охота писать прошения.

В тяжелом раздумье стоял я за парниками и рубил сорняки. Было 21 сентября. Вдруг кто-то выкрикнул мой номер: 4662! Здания тюрьмы надзиратель размахивал бумагой... Рабочий день подходил к концу, и я не мог понять, что случилось: в это время никогда не вызывали ни на склад, ни к башне.

Надзиратель сиял:

– Освобождение! Такую весть и сообщить приятно!

Я не поверил своим ушам. Значит, оптимистические намеки в письмах жены были обоснованы? Но не время для размышлений. Надзиратель сказал:

– Через час вы должны выйти из тюрьмы. А до этого надо успеть побриться, постричься и вымыться.

Он забыл, что мне надо еще собрать вещи, но я-то помнил и попросил разрешить мне уйти утром. Если необходимо, я заплачу за последний ночлег в тюрьме. Надзиратель обещал поговорить с начальством. Меня побрили, но не успели достричь, как он уже вернулся:

– Ничего нельзя сделать. Ровно в восемнадцать ноль-ноль машина идет в Мюнхен. Быстрее в душ.

В душевой я присел, чтобы отдышаться, и сказал:

– Пусть течет вода, я не буду мыться.

Надзиратель согласился, понимая мое состояние.

Когда я сухим вышел из душа, дежурный с башни выкрикнул:

– 4662! Немедленно на склад и затем в управление!

Пошевеливайтесь!

Бюрократическая машина заработала в бешеном темпе, за которым я, после нескольких лет заключения, не мог поспеть. У меня перехватывало дыхание. Я еще рассчитывал провести ночь в

городе Штраубинге.

На вещевом складе все было подготовлено. Позаботились даже о том, чтобы сменить брюки, вконец изорванные в подвале Си Ай Си. В управлении сообщили, что из Грейфсвальда мне звонила жена. Она просила передать, чтобы я обязательно побывал в Мюнхене у адвоката доктора Свободы. Было 18 часов 10 минут. «Значит, таинственная машина отбыла без меня», – торжествовал я. Мне вручили бумаги об освобождении. На лицах низших чинов светилась радость. Советник юстиции Вагнер, напротив, держался холодно и сдержанно.

Итак, в среду 21 сентября 1955 года около 18.30 я покинул тюрьму Штраубинг. К сожалению, я не смог проститься с товарищами по несчастью. Надеюсь, что предназначенные им остатки моего имущества попали по правильному адресу.

На улице перед зданием тюрьмы меня все-таки ждала машина. Попрощаться со мной пришли пастор Меркт и его жена. Они были рады за меня. Я поблагодарил пастора. Мужественный, прямодушный священник, который и в условиях Западной Германии борется за мир, против войны, выделялся на сером фоне однообразной тюремной жизни.

Шофер торопил. Только теперь я заметил, что машина – «зеленая Минна». В кузове лежал заключенный, которого надо было срочно доставить в Мюнхен на операцию. Вместе с ним заперли и меня. Разве я еще не на свободе?.. Да, в этой машине я по-прежнему был заключенным. Даже моя просьба остановиться, чтобы перекусить, была отклонена. В дороге я увидел, что у меня накопилось много багажа. Вряд ли удастся самому донести многочисленные пакеты. Возле Карлсплаца, где находилась квартира доктора Свободы, я попросил высадить меня. Теперь, ровно в десять вечера 21 сентября 1955 года, решетки тюрьмы окончательно позади. Я уже не номер 4662.

Вторичное возвращение

Ослепленный сиянием непривычно яркого света, опьяненный ощущением свободы, которой я был лишен так долго, стоял я чудесной осенней ночью на знаменитом Карлсплаце в Мюнхене. Об этой минуте мечталось много лет. Все эти годы я был освобожден только от одной заботы – о ночлеге.

На Карлсплаце находилась контора доктора Свободы. Но в такой поздний час она уже закрыта. Придется позвонить доктору на квартиру. В подвезде болтали две элегантные дамочки. Довольно робко я попросил их присмотреть за моим багажом. Они согласились, насмешливо улыбаясь.

Я невольно взглянул на брюки: слава богу, на них больше нет желтых полос! Куда девалась моя бывшая уверенность, умение не теряться...

Первый после освобождения разговор по телефону прошел благополучно: доктор Свобода просил зайти к нему в контору завтра в восемь утра. Значит, теперь остается позаботиться о ночлеге.

Я обошел ближайшие гостиницы и всюду получил отказ. Все номера заняты – приближался октябрьский праздник урожая. Вернувшись на Карлсплац, я с ужасом подумал, что багаж исчез. Оказалось, что его загородила группа болтавших дамочек. Отчаявшись, я спросил, не знают ли они, где можно переночевать. Они громко рассмеялись и заспорили: каждой из этих элегантных и красивых, если не очень присматриваться, особ хотелось приютить меня. Только тогда я сообразил, что передо мной обратная сторона «экономического чуда» Западной Германии: ночной уличный товар в таком же изобилии и так же ослепителен, как и на витринах «свободной рыночной экономики». Эти женщины по-своему старались использовать «экономическое чудо».

Я предпочел отправиться в бюро распределения комнат у вокзала. Дамы обиделись на меня, но обещали еще некоторое время присмотреть за багажом.

– Ждем здесь, как гуси на прилавке, когда наконец появится покупатель. На Карлсплаце никогда не бывает недостатка в товарах – ведь у людей мало денег, – поделились они своими заботами.

Перед бюро распределения комнат дежурили мужчины и женщины; они знали, что в гостиницах все номера заняты.

– У меня есть комната, с утренним кофе, чистая, за пять с половиной марок, – шепнула мне почтенного вида пожилая

изможденная женщина.

Договорившись, мы отправились на Карлсплац. Она оказалась разговорчивой и по дороге сообщила, что когда-то знавала лучшие времена, но, потеряв на войне мужа, теперь вынуждена сдавать комнаты.

На Карлсплаце особы, сторожившие мой багаж, встретили нас взрывом хохота. Они чувствовали себя оскорбленными: спокойный ночлег с утренним кофе я предпочел их заманчивым предложениям. Ситуация была не из приятных. Почтенную вдову покорило мое знакомство. Потребовалось немало времени, чтобы успокоить ее. Этому помог и мой большой багаж, уже порядком надоевший мне. Лишь теперь хозяйка призналась, что живет далековато, в Швабинге, и предстоят две пересадки на трамвае.

Комната действительно оказалась чистой, но в ту ночь я так и не сомкнул глаз. Сказались не только пережитые волнения, но и усталость, и мучившие меня размышления о предстоящем возвращении. Ни паспорта, ни межзонального пропуска у меня не было, – только бумажка, что я отпущен из тюрьмы Штраубинг. Вряд ли она распахнет предо мной все двери.

После бессонной ночи я отправился к доктору Свободе и поделился с ним своими заботами. Узнав, что в этом же доме находится бюро путешествий, я решил лететь в Берлин. На самолеты, улетающие во второй половине дня, билеты были проданы. Тогда я взял билет на самолет, отлетающий тотчас же, и на такси помчался на аэродром. Моторы уже были запущены. Самолет оказался американским. Авиационная компания – тоже американской. Только в бюро путешествий под претенциозным названием «Трансатлантические воздушные рейсы» служил немецкий персонал.

Была чудесная летняя погода, лишь изредка низко стелющийся туман закрывал землю. Под нами расстилалось освещенное солнцем море облаков. Сквозь них проглядывала земля. Несколько часов пути пролетели незаметно. В середине дня я уже выходил из самолета. Никто не потребовал у меня документов. Все рассказы западной прессы о трудностях перехода в демократический сектор Берлина оказались чепухой. «Железный занавес» в старой столице государства был истерической выдумкой.

В телеграмме доктору Свободе жена указала место нашей встречи: гостиница на Миттельштрассе, неподалеку от вокзала Фридрихштрассе. Управляющий гостиницей господин Леман встретил меня приветливо, но предупредил, что не может поместить меня без паспорта. Да, в 18.30 21 сентября 1955 года я

перестал быть заключенным, но полноправным членом общества еще не стал. Я существую, но железные законы бюрократии не пускают меня в современный мир, даже в гостиницу. В ближайшем отделении народной полиции мне дали письменное разрешение на право жить в гостинице с 22 по 23 сентября 1955 года. Это великодушно, под собственную ответственность сделал начальник отделения. На следующий день я должен был встать на учет в пункте на Нейе-Кенигштрассе, где регистрировали возвращавшихся в ГДР граждан.

Я внимательно наблюдал за входом в гостиницу, ожидая жену. Вскоре она появилась, не предполагая, что я уже здесь. Поезд приходит позже, и она не думала, что я прилечу самолетом. Трудно описать радость нашей встречи после долгих лет разлуки.

На следующий день я прежде всего отправился на Нейе-Кенигштрассе, но попал не по адресу: там хотели было отправить меня в лагерь для бежавших и возвратившихся в ГДР граждан. У меня не было ровно никакого желания снова попасть в лагерь. Разговор был очень вежливый.

– Вся трудность в том, что ваш случай беспрецедентный, – объяснили мне с улыбкой.

В конце концов полиция удостоверила, что я гражданин ГДР и могу беспрепятственно ехать в Грейфсвальд.

В Берлине я повидался со старым профессором Маурером, с которым был в плену в Красногорске и Моршанске. Он снова стал преподавателем Берлинского университета. Верный товарищ, чуждый политической предвзятости, он взял на себя хлопоты о моем освобождении и проник даже в боннское министерство внутренних дел, к самому статс-секретарю фон Лексу. Еще во времена гитлеризма этот фон Лекс работал в министерстве внутренних дел под руководством главного военного преступника Фрика, приговоренного к смерти. Не удивительно, что услышав мое имя, Лекс увильнул от прямого ответа и только согласился просмотреть мои бумаги. Папка была такая пухлая, что Маурер глазам своим не поверил. Неуязвимый нацистский рыцарь, под которого до сих пор ни одна система не могла подкопаться, перелистал дело и изрек:

– Плохо, когда старый кадровый офицер приезжает в Федеративную республику из восточной зоны с фальшивыми документами...

Маурер был неприятно поражен. Не мог же он знать, что фальшивы были обвинения, а не мой паспорт. На процессе адвокат и я доказали подлинность моих документов. Неизвестно, знал ли об этом фон Лекс, но он одобрил фальсифицированный

американский приговор. И этот старый нацист, облагодетельствованный статьей 131, тоже со всеми потрохами проданся американцам!

Из Грейфсвальда в Берлин за нами на своей машине приехал профессор Байер с женой. Только теперь я увидел письмо, посланное еще в марте 1954 года Грейфсвальдским университетом адвокату Ф. Каулю. Профессор Байер, который был тогда ректором, и ученый совет университета просили известного адвоката похлопотать перед американским судом о моем освобождении. Они сделали это в благодарность за спасение старинного университета в апреле 1945 года. Об этом прошении официально меня не уведомляли. Только жена говорила о нем. Американцы на письмо Грейфсвальдского университета не ответили. Они занимались амнистированием военных преступников, а не освобождением борцов за мир. К тому же они не могли простить передачи Грейфсвальда Красной Армии без боя.

Руководители НДПГ предоставили нам с женой путевки на курорт Бад Эльстер. В нашем распоряжении оставался еще месяц, и мы решили провести его в Грейфсвальде, куда я теперь возвращался вторично. Моему возвращению радовались соседи, друзья, знакомые и незнакомые, и не только в нашем городе. Тайны, связанные с первыми днями моего ареста, теперь раскрылись. Письмо, которое я написал под давлением Си Ай Си в ночь ареста, поверив в фальшивые обещания, до моей жены так и не дошло. Зато она получила фальшивую записку, написанную моим почерком, в которой я якобы просил ее приехать в Берлин. Этот дьявольский трюк едва не поставил нас в катастрофическое положение. Американцы так ловко составили записку, что у жены оставался как будто только один выход, чтобы спасти меня и самой не угодить в еще большую беду: просить на Западе убежища. Все же она тайно связалась с моим другом по академии Артуром Штраусом, который жил в Восточном Берлине. Трудно было что-либо предпринять. Но Штраус и его жена Дорле до конца остались нашими верными друзьями.

Незадолго до рождества с большим запозданием прибыло мое письмо с просьбой уплатить страховку от пожара. Искра упала на подготовленную почву и тут же воспламенилась. Без колебаний жена вернулась в Грейфсвальд – к великому разочарованию своих родственников и американцев.

После того как, несмотря на все ожидания, обжалование в октябре 1952 года не принесло плодов, жена пустила в ход все, чтобы добиться моего освобождения. Это был долгий, утомительный путь, полный разочарований, но все же он привел к

успеху. Американцы вначале давали кое-какие обещания, но не сдержали их. Это разрушило у многих немцев в Западной Германии иллюзии относительно американцев. Энергичные настояния немцев с востока и запада принудили американцев освободить меня.

Мое возвращение в Грейфсвальд было отмечено открытым заседанием городского совета 19 октября 1955 года, на котором мне присвоили звание почетного гражданина города. Празднично украшенный Дом молодежи был переполнен. Бургомистр Мирус напомнил о спасении Грейфсвальда в апреле 1945 года и о моей борьбе за единство и мир. От имени блока антифашистских демократических партий меня поблагодарил за это первый секретарь Грейфсвальдского районного комитета Социалистической единой партии Германии Кроликовский. Председатель районного совета Вестфаль под общее одобрение отметил мужественное поведение моей жены в эти тяжелые для нас обоих годы. От имени ректора университета проректор профессор Тартлер поблагодарил «за сохранение достопочтенной альма матер благодаря мужественной передаче города Красной Армии в 1945 году». Ремесленники вручили мне подарки, исполненные с большим мастерством. После торжественного вручения грамоты о присвоении мне звания почетного гражданина города я, глубоко тронутый, произнес ответную речь:

– Федеративная республика празднует возвращение военных преступников из Советского Союза. Германская Демократическая Республика чувствует людей, порвавших с войной, – так начал я. – Если после нашего торжественного собрания появятся новые патриоты, а ставшие ими еще больше убедятся в своей правоте, это будет для меня самой большой наградой и самой большой радостью.

И я повторил слова, которыми заканчивалась моя телеграмма из Штраубинга:

– Вперед, за единство и мир!

Год спустя Грейфсвальд праздновал 500-летие своего университета имени Эрнста Морица Арндта{57}.

В старинный город прибыло множество гостей со всех концов страны и из-за границы. Лишь боннское правительство запретило своим официальным представителям участвовать в торжестве. Тем сердечнее встречали в Грейфсвальде частных гостей из Западной Германии.

Среди них были и некоторые из моих бывших товарищей, не давшие себя запугать.

Из Москвы прибыл генерал Борщев, который в 1945 году получил приказ взять Грейфсвальд. Теперь, спустя одиннадцать

лет, мы говорили о том, что волновало нас в апреле 1945 года, когда мы стояли друг против друга как враги. Я сказал ему, что тогда для меня существовал один великий неизвестный – «злые русские»!

Смеясь, он потряс мне руку:

– Мы имели приказ использовать все, чтобы избежать бессмысленного кровопролития.

– Если бы я знал об этом, многое было бы куда проще!

– Главное, что теперь становится все больше людей, которые поняли, что мы, «злые русские», друзья миролюбивого, демократического народа Германии! – сказал он в заключение.

Все немцы из Западной Германии, с которыми мне пришлось говорить, независимо от своих политических воззрений, приходили к выводу, что у нас в ГДР все выглядит иначе, чем изображает бессовестная пропаганда на Западе. Не тронутый снарядами город был для них символом мирного пути. Они видели в этом серьезное предупреждение чреватой опасностями политике «с позиции силы» и считали, что надо скорее вступить на путь взаимопонимания и дружбы народов. Только потому, что я боролся за эту цель, американцы бросили меня в тюрьму, а военные преступники, которых они подстрекали, издевались надо мной.

Тем сердечней была встреча в миролюбивой Германской Демократической Республике.

Наш премьер-министр Отто Гротеволь в своем выступлении на торжественном собрании по случаю 500-летия Грейфсвальдского университета сказал, что мир, а с ним и благо всего народа обеспечены лишь при нашем новом общественном строе. Он упомянул и о спасении города с его 500-летним университетом.

Под бурные аплодисменты собравшихся ректору университета профессору Катшу, одному из парламентариев, и мне, бывшему военному коменданту, председатель Национального совета профессор Корренс вручил медаль Эрнста Морица Арндта.

В присутствии премьер-министра и других представителей правительства Германской Демократической Республики немцы с востока и запада единодушно заявили о своей готовности бороться за единство и мир и за девиз великого борца за мир Эрнста Морица Арндта: «Германия должна быть единой!»

Примечания

{1} Такие плакаты висели в гитлеровской Германии во всех общественных местах. – Ред.

{2} Служба безопасности (Schutzdienst) – широко разветвленная шпионско-террористическая организация германского фашизма, собиравшая сведения об антигитлеровских настроениях среди немецкого населения. – Ред.

{3} Военный чиновник в ранге капитана. – Ред.

{4} Золотым значком награждались старые и особо заслуженные члены фашистской партии. – Ред.

{5} Руководитель района от фашистской партии. – Ред.

{6} В бывшей немецкой армии комендант одновременно являлся и начальником гарнизона. – Ред.

{7} Каспар Давид Фридрих (1774—1840) – виднейший немецкий пейзажист, представитель раннего романтизма. – Ред.

{8} Имеется в виду неудавшееся покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. – Ред.

{9} В старой прусской армии было принято обращение к подчиненным в третьем лице единственного числа, а к начальникам – в третьем лице множественного, числа с упоминанием при этом полного чина. – Ред.

{10} Генерал-полковник войск СС. – Ред

{11} Фашистские молодежные группы, созданные в конце войны для подпольной диверсионной деятельности. – Ред.

{12} Крепость Кольберг не сдалась французским войскам в 1806—1807 годах. – Ред.

{13} Автор допустил неточность: парламентариев доставили к генералу С. Н. Борщеву (см. предисловие). – Ред.

{14} Лефлер, Фридрих (1852—1915) – немецкий микробиолог, получивший широкую известность благодаря открытию (1884) возбудителя дифтерии. В 1883—1913 годах – профессор Грейфсвальдского университета. – Ред.

{15} Статья 175 предусматривала наказание за половые извращения. – Ред.

{16} Опера немецкого композитора Густава Альберта Лортцинга (1801—1851) о Петре I. – Ред.

{17} Навязчивая мысль (франц.).

{18} Geschlecht – пол, schlecht – плохой. – Ред.

{19} Высший прусский орден «За особые заслуги». – Ред.

{20} «Приверженцы церкви» – движение сопротивления в среде лютеранских церковников против гитлеровской церковной политики. – Ред.

{21} Эмблема германских монархистов. – Ред.

{22} Широко распространенная бульварная газета с множеством приложений. Выходила с 1828 г. по 1941 г. – Ред.

{23} Эти слова были выбиты на пряжках поясных ремней немецких солдат. – Ред.

{24} Кнейпп, Себастьян (1821—1897) – немецкий католический священник, пропагандировавший водные лечебные процедуры. – Ред.

{25} Первый среди равных (лат.).

{26} В Рендорфе находится резиденция федерального канцлера Аденауэра. Его любимое занятие, как любят писать западногерманские газеты, – разведение роз. – Ред.

{27} Петербург – город, где в 1949—1952 годах находились верховные комиссары трех западных оккупирующих держав. – Ред.

{28} ИРО – филиал американской разведки под фальшивой вывеской «Интернациональная организация репатриантов». – Ред.

{29} «Арийский параграф» – один из параграфов фашистского законодательства в гитлеровской Германии. Он требовал от всех граждан Германии доказательств «арийского» происхождения, без чего человек объявлялся неполноценным. «Неарийцы» (евреи, славяне и другие) подвергались жестоким преследованиям.

Леонгард Шлютер – владелец издательства «Плессеферлаг» в Геттингене, наводняющего ФРГ коричневой литературой. В 1955 году в течение нескольких дней был министром культуры в Нижней Саксонии, но по настоянию западногерманской общественности был отстранен от этой должности. – Ред.

{30} ДРП (Deutsche Reichspartei) – германская государственная партия, весьма реакционная, целиком поддерживающая политику Аденауэра. – Ред.

{31} Свободно-демократическая – вторая после христианско-демократического союза наиболее значительная реакционная партия ФРГ. Образовалась в декабре 1948 года после слияния свободно-демократической партии английской зоны с либерально-демократическими партиями американской и французской зон. Поддерживает все планы и мероприятия американских империалистов в Западной Германии. – Ред.

{32} Прозвище американских солдат (от GI – government issue, что значит «казенного образца»). – Ред.

{33} Ужасный ребенок (франц.).

{34} Он коммунист? (англ.).

{35} В рейхсвере служба длилась двенадцать лет. Солдат, отслуживших весь срок, прозвали «двенадцатигими», подобно

олениям, имеющим двенадцать концов на рогах. – Ред.

{36} ЕОС – созданный в 1952 году в рамках НАТО агрессивный «Европейский оборонительный союз». – Ред.

{37} В то время КПГ еще не была запрещена. – Ред.

{38} Фельдхеррнхалле – «зал полководцев» на одной из центральных площадей Мюнхена. В нем хранятся военные реликвии, напоминающие о захватнических войнах Германии. «Исторический марш к Фельдхеррнхалле» – демонстрация сторонников Гитлера во время антиправительственного военного путча в ноябре 1923 года. – Ред.

{39} Кацет (от нем. KZ) – концентрационный лагерь. – Ред.

{40} Капо (от нем. Kameradschaftspolizei) – прозвище пособников полиции из числа заключенных. – Ред.

{41} Прозвище прусского короля Фридриха II Великого (1712—1786). – Ред.

{42} Прозвище Бисмарка. – Ред.

{43} Приказ «о комиссарах» – преступное распоряжение руководителей гитлеровского вермахта об уничтожении попадающих в плен политработников и коммунистов Советской Армии. – Ред.

{44} «Пароль» – правило в американской карательной системе, по которому заключенные освобождаются на известных условиях досрочно. – Ред.

{45} На Вильгельмштрассе в Берлине находилось министерство иностранных дел гитлеровской Германии. – Ред.

{46} «Мрак и туман» – так гитлеровцы условно обозначали тайное массовое уничтожение гражданского населения. – Ред.

{47} Непереводимая игра слов: рейхсфюрер – предводитель, вождь государства, рейхсферфюрер – совратитель государства. – Ред.

{48} Статья 175 предусматривала наказание за половые извращения. – Ред.

{49} Немецкое выражение, означающее признание заслуг, выдвижение. В средние века золотые шпоры получали молодые люди при посвящении их в рыцари. – Ред.

{50} В немецком языке все три варианта фамилии имеют следующие значения: кошачий локоть, кошачий горб, кошачья коленка. – Ред.

{51} Отто Йон – участник покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. В Западной Германии занимал пост председателя Конституционного комитета. В знак протеста против ремилитаризации страны перешел в ГДР. Вскоре вернулся в ФРГ, где был арестован и осужден боннскими властями за «измену родины». – Ред.

{52} Reineke (нем.) – примерно то же, что по-русски Лиса Патрикеевна. – Ред.

{53} Статья, предусматривавшая наказания за преступления, совершаемые в невменяемом состоянии. – Ред.

{54} Фридрих Карл Кауль – известный западногерманский писатель и адвокат, выступающий на судебных процессах в защиту борцов за мир. – Ред.

{55} Штрафной полк в гитлеровском вермахте, куда направлялись «политически неблагонадежные». – Ред.

{56} Американский образ жизни (англ.).

{57} Эрнст Мориц Арндт (1769—1860) – знаменитый поэт и патриот, поборник единства и независимости Германии. Учился, а затем был профессором в университете Грейфсвальда. – Ред